СКОПИНСКИЙ ПОМЯННИК

Воспоминания
Дмитрия Ивановича Журавлёва



УДК 82-94
ББК 63.3(2)-7
С44

Подготовка текста, предисловие, комментарии
Г.В. Зыковой и Е.Н. Пенской

С44 **Скопинский помянник.** Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева [Текст] / Д.И. Журавлев; подгот. текста, предисл., коммент. Г. В. Зыковой, Е. Н. Пенской ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 384 с. + 16 с. вкл. — 500 экз. — ISBN 978-5-7598-1263-0 (в пер.).

Предлагаемые воспоминания — документ, в подробностях восстанавливающий жизнь и быт семьи в Скопине и Скопинском уезде Рязанской губернии в XIX — начале XX в. Автор, Дмитрий Иванович Журавлев (1901–1979), физик, профессор института землеустройства, принадлежал к старинному роду рязанского духовенства.

На страницах книги среди близких автору людей упоминаются его племянница Анна Ивановна Журавлева, историк русской литературы XIX в., профессор Московского университета, и ее муж, выдающийся поэт Всеволод Николаевич Некрасов.

Книга предназначена всем, кто интересуется прошлым русской провинции и историей повседневности.

УДК 82-94
ББК 63.3(2)-7

ISBN 978-5-7598-1263-0

Содержание

Памяти
Анны Ивановны
Журавлевой

свечи рязанские
их череда череда

и передача

в общем Рязань через Аньку
всё через Аньку

встретили нас

вообще Рязань
дальше

Вс. Некрасов

Дмитрий Иванович Журавлев и его воспоминания

Машинопись воспоминаний Дмитрия Ивановича Журавлева сохранилась в архиве его племянницы Анны Ивановны Журавлевой (1938–2009), историка русской литературы XIX в., профессора Московского университета. Одна из главных работ А.И. Журавлевой, монография об А.Н. Островском[1], открывается посвящением Д.И. и Е.И. Журавлевым. Позднее Анна Ивановна так объясняла неразрывную связь своей научной, академической биографии и житейской:

> Я из незапамятно старой семьи духовенства, со спокойной, неагрессивной верой. Самая мной любимая из моих книг, «А.Н. Островский — комедиограф», совсем не случайно посвящена памяти Дмитрия Ивановича и Екатерины Ивановны Журавлевых — мамы и ее брата, заменившего мне отца от самого моего рождения. Это были люди, у которых вера была светлая, активно добрая, как и у Островского, открывающего своим читателям возможность жить, а не погибать в мире[2].

А вот как она объясняла, почему студенткой пошла в Лермонтовский семинар (творчество Лермонтова навсегда стало одной из главной тем ее филологических занятий):

> Лермонтов был любимый поэт моих воспитателей — дяди, мамы и дедушки, а до того — моей бабушки, которая умерла в 28 лет, когда маме было 4 месяца, а дяде 2 года. Большой ярко-голубой бабушкин однотомник Лермонтова мы возили с собой в эвакуацию. Других книг (кроме, конечно, дедушкиного Евангелия) у нас с собой, как я помню, конечно, не было <...>[3] Дядя <...> заметил мне, что

[1] *Журавлева А.И.* А.Н. Островский — комедиограф. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

[2] *Журавлева А.И.* За нами тигры стоят (Интервью) // Русский Журнал. Ежегодник 2000–2001. М.: Три квадрата, 2001. С. 39–49. См. также на персональном сайте А.И. Журавлевой и Вс. Н. Некрасова: <vsevolod-nekrasov.ru>.

[3] Все купюры здесь и при публикации основного корпуса воспоминаний Д.И. Журавлева обозначены значком <...>.

> в университете надо выбрать для спецсеминара прежде всего руководителя[4]. А тут так счастливо совпало, что и тема была интересная[5].



А.И. Журавлева, 1950-е годы

Свою последнюю книгу А.И. Журавлева назвала «Кое-что из былого и дум»[6], и это, на первый взгляд, странно: явно мемуарного в ней нет (в книгу вошли статьи о русской литературе), и работ, специально посвященных А.И. Герцену, тоже нет. Видимо, в этом выборе названия сказалось, может быть, и не вполне ясным для самой Журавлевой образом, влияние Дмитрия Ивановича, для которого воспоминания были очень важны, а «Былое и думы» он, судя по ряду свидетельств, считал для себя в некоторых отношениях образцом. Среди бумаг Журавлева конца 1970-х годов сохранился листок со словами из «Былого и дум»:

> Письма — больше, чем воспоминания, на них запечатлелась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.

Эта фраза многое объясняет в воспоминаниях самого Журавлева: например, то, почему он часто включает в свой текст документы разного рода — от официальной купчей до писем от близких людей[7]. Слова Герцена о «задержанном и нетленном» прошлом наверняка читались Журавлевым как свои собственные.

В семью Журавлева в то время, когда он писал воспоминания, кроме филолога А.И. Журавлевой, входил еще один человек, чья деятельность осталась в истории русской культуры: зять, поэт Все-

[4] Руководителем Лермонтовского семинара был В.Н. Турбин (1927–1993).

[5] *Журавлева А.И.* Семинар был уже легендарным // Время, оставшееся с нами: Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 61–64.

[6] См.: *Журавлева А.И.* Кое-что из былого и дум. О русской литературе XIX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013.

[7] В настоящее издание некоторые из писем не вошли.

волод Николаевич Некрасов (1934–2009)[8]. Его имя — Сева — встречается на полях воспоминаний, а у самого Некрасова есть стихи о «дяде», с которым он прожил в одном доме 10 лет. Текст Некрасова, которым мы открываем эту книгу, написан после смерти Дмитрия Ивановича.

* * *

Сейчас осталось совсем мало тех, кто знал Журавлева, — университетские друзья Анны Ивановны, ранние ее ученики и ученики самого Дмитрия Ивановича: выпускники института землеустройства. Они запомнили его черты: неподдельную заинтересованность в каждом, независимо от возраста и образования, внимание и сосредоточенную собранность, тонкую ироничность, доброжелательную остроту и цепкость взгляда (что хорошо заметно на сохранившихся фотографиях).

> Семья Ани — это истинная демократическая (не в современном, а в старом смысле слова, включающем происхождение и нравственные ценности) русская интеллигенция <...> Ученый-физик, прекрасный педагог, он любил и знал литературу, историю и философию так, как будто он был специалистом в этих областях знания <...> У них была домработница Нюра, молодая девушка, недавно приехавшая из деревни. Делать (готовить) она тогда ничего не умела, но это никого не раздражало, все старались ей помочь. Мама и дядя направили ее учиться в вечернюю школу рабочей молодежи и внимательно следили (особенно дядя) за ее учебой. Школу Нюра благополучно закончила и встретила там своего будущего мужа, хорошего человека[9].

Дмитрий Иванович Журавлев (30 мая 1901, Раненбург Рязанской губ. — 15 июня 1979, Москва) родился в семье священника Пятницкой церкви города Скопина. Его мать, урожденная Левитова, — дочь протоиерея соборной Троицкой церкви в городе Раненбурге. Семьи Журавлевых и Левитовых хотя и принадлежали к одному сословию, но были очень разными по культурным и бытовым привычкам: дед Дмитрий Журавлев — деревенский дьякон,

[8] Женился на А.И. Журавлевой в 1967 г.

[9] *Жуковская Е.Е.* Вспоминая Аню Журавлеву // Памяти Анны Ивановны Журавлевой. М.: Три квадрата, 2012. С. 28–29.

Левитовы — обеспеченные, «городские». Среди дядьев Левитовых люди с высшим образованием. Замужем Анна Васильевна Левитова прожила всего пять лет: умерла совсем молодой в 1904 г. от брюшного тифа, оставив троих маленьких детей.

Вдовцу не было еще и тридцати; с дочерью и младшим сыном (старший, Сережа, умер в 1913 г.) Иван Дмитриевич Журавлев — о. Иоанн — прожил всю оставшуюся жизнь (умер в 1956 г.). Незадолго до смерти сестры, Екатерины Ивановны, в апреле 1979 г., Дмитрий Иванович вспомнил их общее решение — не расставаться, принятое еще в студенческие годы:

> ...Как бы ее судьба ни сложилась, она всегда будет самым близким человеком. Это ее очень тронуло, и со слезами на глазах, как очень глубокое личное переживание, никому никогда не высказанное, она — не решаясь сразу — открыла мне, что тогда же осознала — и я для нее на всю жизнь останусь самым близким человеком. Так и было...

В начале 1920-х годов брат и сестра уехали в Москву учиться, о. Иоанн остался служить. Но в начале 1930-х годов семья опять соединилась в Москве: оставаться в Скопине о. Иоанну было опасно, его арестовывали (правда, почему-то отпустили), дом и пасеку отобрали...

Незадолго до ареста о. Иоанн был награжден «палицею», наградной документ подписан весной 1930 г. Авраамием, епископом Скопинским, заместителем Патриаршего Местоблюстителя, Высокопреосвященнейшего Петра, митрополита Крутицкого[10]. Сам священномученик Петр (Полянский) с 1925 г. в тюрьмах и в тяжелом изгнании (в августе его опять арестуют, в 1937 г. расстреляют).

Перед отъездом о. Иоанн снял с себя сан. Сохранилось прощальное обращение прихожан к нему, под ним полсотни подписей:

> Оглядывая это долгое время, что вы с нами, мы не вправе не отметить Ваших прекрасных качеств как пастыря и человека. Несмотря на Ваше раннее вдовство, Ваша жизнь была, есть и, надеемся, будет образом нравственности и чистоты. Несмотря на материальное

[10] См. подробнее: *Цыпин В.* История русской церкви, 1917–1997. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997.

оскудение прихода и в особенности в тяжелой памяти 1920–1921 и 1922 годы, Вы показали себя нестяжательным и снисходительным к бедности Ваших прихожан... Взгляните, глубокоуважаемый батюшка, на святое изображение проповедника покаяния пустыни Иорданской, Святое имя которого Вы носите, пусть оно напомнит Вам, какое трудное время переживает ныне церковь Христова, пусть поддержит и вдохновит Вас в твердом стоянии в истинах православия, что к слову сказать, Вами с честью выполнено во время начала печальной памяти обновленчества <...> Смеем уверить Вас, что эти краткие слова не могут выразить и одной самой малой доли Ваших качеств; они навсегда запечатлеются в благодарных сердцах Ваших прихожан...

Учился Журавлев на физмате I МГУ, в 1922–1928 гг., по специальности «вакуум-радиотехника»[11] с 1924 г. работал в лаборатории специальных проектов по электромагнитным колебаниям, с 1928 г. — техник авиационного отдела Научного автотракторного института, потом — лаборант, старший лаборант, инженер физико-химического отдела Научного автотракторного института (НАТИ), в 1930–1931 гг. — руководитель группы физических констант; «занимался вопросами исследования моторных топлив — основные работы по взаимной растворимости топлив и давлению их паров» (из автобиографии). В 1932 г. «по состоянию здоровья в связи с профессиональными вредностями» перешел в физико-техническую лабораторию Всесоюзного научно-исследовательского теплотехнического института им. Дзержинского (инженер, потом старший научный сотрудник); «основные вопросы научно-исследовательской деятельности — исследование свойств водяного пара, новых рабочих тел силовых установок и вопросы, связанные с сепарацией влажного пара». Весной 1940 г. с промежутком всего в два месяца защищает на физическом факультете МГУ кандидатскую («Диэлектрическая постоянная эмульсий и водяного пара») и докторскую («Исследования в области агрегатных состояний») диссертации. В научных библиотеках, насколько удалось выяснить, докторская диссертация не со-

[11] Диплом «Изучение электронных колебаний в катодной лампе при изменении параметров внешнего контура» написан под руководством проф. В.И. Романова, директора Института физики и кристаллографии.



Е.И. Журавлева (вторая слева) и Д.И. Журавлев (крайний справа вверху) среди друзей-студентов. Москва, 1920-е годы

хранилась (кандидатская есть в библиотеке физического факультета МГУ), возможно, из-за секретности темы (топливо), а может быть, из-за того, что архив МГУ во время войны был эвакуирован в Ашхабад и находился в плохом состоянии. Собственный, «единственный сохранившийся»[12], по мнению автора, экземпляр диссертации он, судя по дневниковой записи, выбросил незадолго до смерти (устарела? или дело в том, что главным своим трудом Дмитрий Иванович тогда, видимо, считал воспоминания?). Область научных интересов —технические (инженерно-физические) науки, и защищать диссертации по этой тематике было, казалось бы, более естественно в инженерных вузах вроде МВТУ, МАИ, МЭИ. Но в Московском университете в 1920–1930-х годах этим тоже за-

[12] На самом деле экземпляр есть в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 246 (ВАК). Оп. 1. № 27926 (Журавлев Дмитрий Иванович. 1940).

нимались, и прежде всего — научный руководитель Журавлева, Александр Саввич Предводителев (1891–1973), с 1932 г. профессор, заведующий кафедрой молекулярных и тепловых явлений (позднее — молекулярной физики), которую он возглавлял в течение 40 лет, с 1937 г. декан (сохранял пост до 1956 г.). Предводителев занимался многими вещами, но основные его интересы были как раз в области теплотехники. Сейчас оценки роли Предводителева в истории науки колеблются от прямых и жестких обвинений в разгроме факультета и изгнании крупнейших ученых до полного оправдания. Есть и историки, считающие, что Предводителев, человек талантливый, хотя и не очень образованный, не был ни злодеем, ни послушным винтиком советской административной машины[13].

«В разгар собственных самоопределений и поиска более прочного положения» (слова из дневника Журавлева) Предводителев помогал и покровительствовал молодому специалисту, о чем свидетельствуют официальные лестные характеристики; именно «у Предводителева» Журавлев защитил докторскую почти сразу после кандидатской. Предводителев и Журавлев оба были рязанцы, оба из духовного сословия (правда, Предводителев из совсем бедной семьи); возможно, их общение было не только профессиональным. По крайней мере, Журавлев сделал для себя выписку из неопубликованной еще тогда «документальной повести» Предводителева:

> Настанет время, когда биографии и в особенности автобиографии перестанут быть предметом любопытства, а станут объектом научного исследования с целью отыскания принципов психологического развития человека <...> Автобиографиям нужно доверять и их можно изучать, так как пишущий автобиографию руководствуется не спросом на его труд, а своим внутренним побуждением, желанием раскрыть свое «я» перед собой и другими с целью принести этим пользу... В некоторых местах моей автобиографической повести я с увлечением философствую, и в этом не старался себя ограничивать, потому что некоторые практические вопросы и теперь болезненно тревожат мое сердце и разум[14].

[13] См. подробнее: *Горелик Г.* Физика университетская и академическая, или Наука в сильном социальном поле // Знание — Сила. 1993. № 6. С. 12–16; *Он же.* Москва, физика, 1937 год // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995. С. 54–75. Пользуемся случаем поблагодарить Геннадия Ефимовича за консультации в области истории науки.

Журавлев сохраняет газетную вырезку («Известия», 1965, 27 февраля), где сообщается о передаче «Автобиографической повести» Предводителева в рукописный отдел Ленинской библиотеки и в Рязанский краеведческий музей. К этой вырезке подклеено рассуждение о религиозной природе физики, слышанное от Предводителева. О ком-то из своих наставников Предводителев отозвался:

> Трудно охарактеризовать совокупность интересов *имярек*, не имевших отношение к математике, физике, механике. Он универсал, знает очень многое <...> Вся совокупность его знаний — это единое целое, где главное место занимают память и вера <...> Вера в то, что есть смысл нашего бытия. А вообще, неверующих физиков можно пересчитать на пальцах.

В 1940 г. Предводителев, однако, не оставил своего ученика на факультете, но дал хорошую рекомендацию для участия в конкурсе на замещение вакантной должности заведующего кафедрой физики в Московском институте землеустройства (МИЗ).

Судя по публикациям, вскоре после защиты докторской Журавлев резко изменил характер своих научных интересов и профессиональных занятий. Возглавив кафедру физики в МИЗ (в этом же 1940 г. утвержден в звании профессора), он с этих пор занимается почти исключительно преподаванием[15], а печатает в основном методические пособия, прекратив сотрудничество с теплотехническим НИИ. Немногочисленные научные работы в последующие годы посвящены, с точки зрения неспециалиста, совершенно новой для него теме — «вопросам рефракции в атмосфере применительно к нуждам геодезии» (автобиография). Было ли это естественной эволюцией или Журавлев отказался от работы над засекре-

[14] Опубликовано: *Базаров И.П., Соловьев А.А.* Александр Саввич Предводителев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 3–33, 145–158.

[15] Дмитрий Иванович и до того имел педагогический опыт: с октября 1939 г. по октябрь 1940 г. — доцент кафедры общей физики физического факультета МГУ.

ченными темами и тем самым практически и от работы физика-экспериментатора как таковой, был ли этот отказ связан с тяжелыми переживаниями — свидетельств нет. Если доверять оценкам официальных документов, да и судить, насколько это возможно, просто по количеству публикаций, свои способности к физике Журавлев реализовал именно в 1920–1930-х годах. В характеристике для наградного листа 1952 г., в карьерном отношении итоговой, как главное достижение названы именно ранние работы — хотя, может быть, и потому, что они имели очевидный практический смысл:

> Работы по свойствам моторных топлив вошли в монографическую литературу и широко использованы в промышленности (в частности, разработанный прибор по измерению давления пара был введен в качестве стандартного). Работы по свойствам рабочих тел используются в различных областях техники.

Московский институт землеустройства[16] — один из старейших институтов России (Константиновская землемерная школа учреждена в 1779 г.), необходимый для огромной аграрной страны. Одним из первых директоров был С.Т. Аксаков, наладивший не только техническое, но и подлинное гуманитарное образование (здесь до сих пор проходят Аксаковские чтения). Перед революцией институт получил статус императорского, а вскоре после нее был в очередной раз переименован — в Московский межевой институт (ММИ). Короткое процветание закончилось уже в 1930 г.: ММИ был передан в ведение Наркомзема и тогда же разделен на два вуза: Московский геодезический (МИИГАиК) и Московский институт землеустройства (МИЗ). Некогда сильная и славная школа должна была строиться практически заново.

Возглавив кафедру физики, Журавлев обсуждал с руководством серьезные планы научного развития института, которым не суждено было осуществиться. В октябре 1941 г. началась эвакуация. Студенты-немосквичи, группа профессоров и преподавателей были отправлены в Петропавловск (Казахстан). Выехали из Москвы 1 ноября 1941 г. — до Егорьевска на пригородном поезде, далее до Шатуры на узкоколейных открытых платформах, на поезде до Мурома, от Мурома до Петропавловска в холодных товарных вагонах. Поезд часто останавливался, пропуская эшелоны на фронт, приехали в последних числах декабря. Петропавловск встретил 47-градусными морозами, пронизывающим ветром. В январе пробовали наладить занятия, но в неотапливаемом помещении землеустроительного техникума это было практически невозможно. К весне полностью износилась обувь, не выдержавшая вязкой глины Петропавловска. Местное начальство организовало закупку ботинок на деревянной подошве. Почти голодали: нужно было самостоятельно добывать еду по ценам гораздо выше московских. Между тем к Журавлеву выехала семья — пожилой отец, сестра с трехлетним ребенком и девушка-домработница, находившаяся на иждивении. Дмитрий Иванович несколько раз в неделю отправляет начальству института письма с настоятельной просьбой вернуть его как можно скорее в Москву: физические условия в Петропавловске не пригодны для жизни; из-за отсутствия научной литературы, лабораторного оборудования занятия велись на школьном уровне. Эвакуация продолжалась почти два года.

Готовя к изданию воспоминания Журавлева, мы прошли его обычной дорогой к институту — по Старой Басманной, Демидовскому переулку, к «усадьбе» Демидовых на улице Казакова (бывший Гороховский переулок). Близость Курского вокзала создает оживленную суету на улице, а в старинном здании с двухметровыми стенами — негородское спокойствие, умиротворенность. Подновленное к юбилеям здание, яркий желто-белый фасад, часовня Св. Елены и Константина прямо в парадной части вестибюля за бархатной темно-бордовой шторкой с броской надписью «Вытирайте ноги». Огромный черный бронзовый памятник «Землеустроителю России» во внутреннем дворе... В университетском музее, уже закрывавшемся, нас встретили неприветливо: рабочий день закончился, и меньше всего здесь ждали посторонних посетителей. Но имя Дмитрия Ивановича внезапно поменяло настроение. Подарили книгу, где о Журавлеве сказано:

> Факультет земельного кадастра. В первые годы советской власти в Межевом институте физика не преподавалась: кафедра физики была создана в МИИЗ в 1930 г. <...> С 1940 по 1963 г. кафедру возглавлял талантливый педагог профессор Д.И. Журавлев, при-

[16] С 1991 г. Государственный университет по землеустройству (ГУЗ).



Д.И. Журавлев, 1950-е годы

ложивший немало усилий для создания курса физики для землеустроителей и геодезистов. Им был организован современный для того времени лабораторный практикум, включающий до 50 работ. Под его руководством подготовлены методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов землеустроительной и геодезической специальностей, новые лекционно-демонстративные опыты... Провел фундаментальные научные исследования, основанные на аналогии явлений электродинамики и термодинамики в структуре математического описания процессов. Он модернизировал рефрактометр и сконструировал оборудование для определения кардинальных точек и плоскостей оптической системы[17].

В 1963 г. Журавлев вышел на пенсию: сразу, как только стало возможно. Время и силы нужны были для других занятий. Приведение в порядок своего «умственного хозяйства», архива, впервые за всю жизнь — устройство собственного быта. С этого момента

[17] От землемерной школы до университета. Очерки истории ГИЗ за 1779–2004 годы. М.: КолосС, 2004. С. 394.



Вид из окна квартиры Журавлевых на Зубовскую площадь, 1950-е годы

Журавлев называет себя свободным человеком. Как оказалось, на всю эту деятельную свободу отпущено было не многим больше полутора десятилетий.

Дмитрий Иванович утверждал (хотя и не пояснял этого сколько-нибудь подробно), что начиная с 1940-х годов основным предметом его интеллектуальных интересов стала «практическая философия». К области «практической философии», видимо, относилась, кроме преподавания, работа над воспоминаниями (сохранились также наброски трактата этико-религиозного характера — в отличие от воспоминаний, этот текст, насколько мы можем судить, читателей не имел и в семье не обсуждался).

* * *

Публикуемые воспоминания посвящены в основном семейной жизни духовенства Рязанской губернии в XIX — начале XX в. Они основаны не только на собственных впечатлениях автора, но и на рассказах родных, на хранившихся в семье письменных свидетельствах о прошлом. Последовательно прописанное повествование доведено до 1914 г., когда «болезнь и смерть» любимого

старшего брата Сережи «положила резкую границу между счастливым радостным детством и всей последующей тяжелой жизнью». О последующих событиях Дмитрий Иванович вспоминать был не склонен.

Ценно прежде всего подробное описание повседневной жизни. И в этом отношении воспоминания вроде бы не уникальны: мемуарные свидетельства о провинциальном быте, в том числе быте духовенства, в последнее время обнаруживаются и печатаются все чаще и охотнее. Но воспоминаний именно о Скопине и уезде, хоть сколько-нибудь подробных, кажется, почти нет, по крайней мере, среди опубликованного.

Что касается достоверности, то предлагаемые воспоминания вполне точны там, где автор опирается на собственные впечатления и семейные документы. Там, где передаются чужие рассказы (например, отца о Рязанской семинарии или о жизни в Скопине в 1920-х годах), приходилось встречать довольно существенные расхождения с другими свидетельствами.

Комментируя текст, мы иногда находили случаи — и пока трудно определить их общее число, — когда некоторые сведения, которые сообщает Журавлев, явно точнее сведений из печатных источников. Это связано прежде всего с историей семьи. Среди родни Журавлевых—Левитовых были известные люди, иерархи церкви; и в их опубликованных биографиях есть и ошибки, и пробелы, которые снимает, например, Помянник[18] о. Иоанна[19].

[18] В Помянник записывают имена для поминовения в молитвах, имена как живых, так и мертвых. В семейном Помяннике Журавлевых, заполнявшемся о. Иоанном, указываются даты жизни людей, поминаемых в молитвах.

[19] Например, о наместнике Троице-Сергиевой Лавры о. Павле (Глебове) почему-то обычно сообщается (в том числе и в некрологе), что его отец (прадед Дмитрия Ивановича) был «дьяконом города Скопина». На самом деле Иван Коренев был дьячком с. Корневого. Дата смерти брата о. Павла, архимандрита Феофана, наместника Саввино-Сторожевского монастыря и настоятеля Борисоглебского Дмитровского монастыря, известна именно по Помяннику и приведена в воспоминаниях (некролог пока не найден, а на сохранившейся надгробной плите фрагмент с указанием года смерти утрачен). О происхождении матери Евгении (Екатерины Алексеевны Виноградовой), известной последней игуменьи кремлевского Вознесенского монастыря, родственницы Журавлевых—Левитовых, вообще нигде не упоминается. И это только то, что сразу заметно.



И.Д. Журавлев, 1950-е годы

* * *

Первые завершенные фрагменты (параграфы, главы) воспоминаний датированы второй половиной 1960-х годов, но многое в них основано на старых записях (самые ранние сделаны в 1914 г., когда после смерти любимого брата составлена хроника его болезни, и в 1944 г., в сороковую годовщину смерти матери, по просьбе отца писал о ней). Журавлев писал, пока были силы, — до конца 1970-х годов. Насколько сам автор считал текст завершенным, мы не знаем. Беловая машинопись содержит пронумерованные главы, но есть и рукописные довольно пространные записи, тоже беловые, но почему-то не перепечатанные.

На работу над воспоминаниями, видимо, повлияли историко-литературные занятия А.И. Журавлевой в 1960–1970-х годах: в личных бумагах остались записи, показывающие, как Дмитрий Иванович помогал племяннице собирать, в частности, материалы для комментариев к изданию статей Ап. Григорьева. Сохранилось очень много выписок из самых разных источников: русская и западная классика, история, философия, публицистика; их внутрен-

няя осмысленная систематизация очевидна. Как историк и редактор Журавлев начинает обращаться и с тем, что писал он сам: в рукописях везде заметны следы вмешательства в собственные тексты, написанные в разное время, независимо от их назначения, уточнения, самопроверка. В одной из записок, адресованных племяннице летом 1962 г., он сформулировал свое «кредо» работы над текстом. Записка касается сугубо конкретного случая, но вместе с тем в ней прочитывается некая общая формула:

> Вообще-то мы с тобой пишем по-разному. В начале у тебя дана исходная мысль трактата. Теперь я бы написал от начала до конца развертывание основной мысли без деталировки конспективно. А затем стал бы дополнять, разрабатывать, обосновывать отдельные части. Композиция целого была бы читателю ясна даже в том случае, если до конца не все доведено.

В тексте воспоминаний записи не только датируются: часто «на полях» сообщается, что происходит в семье в то время, когда автор начинает или заканчивает работу над очередной частью воспоминаний. Таким образом события далекого прошлого соотносятся с 1960–1970 гг. Читатель может принять это за технические пометы, случайно попавшие в окончательный текст, но так проявляется, видимо, существенная особенность мышления.

Автор привык вести дневниковые записи, особенно много их осталось именно от 1950–1970-х годов. В основном это «садовые» дневники, компактные «памятные книжицы», практичные и функциональные, по ним можно в самых мелких подробностях восстановить бытовую сторону жизни: чертежи и разметки построек, грядок и клумб, перечни посадок, инвентаря, удобрений, рецепты заготовок, списки диковинных названий, расходы, непременные «сводки погоды» в течение дня, приезды-отъезды родных и знакомых...

Воспоминания Журавлева, при всей их структурной последовательности, психологическом минимализме, отчасти сохраняют характер дневника, в них уживаются и свободно перетекают друг в друга разные пласты исторического времени. В дневниках это ощутимо визуально, выделено графически: красным цветом, как правило, обозначена очередная годовщина смерти, день памяти, и только после этой «настройки» следует повседневный отчет. История личная, малая и большая. Эта последняя присутствует не прокомментированным фоном, безличной сводкой, регистрируется:

> 3 апреля Гагарин полетел в космос; 22 ноября, пятница 1963 г. Умерла Маша Кормильцева, последняя из семьи. Убийство американского президента Кеннеди. Тревожно.

Воспоминания — часть сохранившегося личного архива, включающего семейные документы (самые ранние относятся к XVIII в.), переписку (с начала XX в.), записные книжки Журавлева 1950–1970-х годов, газетные вырезки, выписки из книг и журналов с комментариями Дмитрия Ивановича.

Важная часть архива — фотографии: отпечатки, пленки, стеклянные пластины (1910–1950-х годов) и их полный перечень с датами в особых тетрадях. Снимок — тоже дневниковая запись своего рода.

Припоминание, наблюдение, фотография составляют, наверное, основу внутреннего «записывающего устройства», с которым мы имеем дело. Похоже, оно действовало всегда, не останавливаясь даже в самые страшные минуты, в последние часы жизни близких — смерть отца в 1956 г. и сестры в 1979 г. Журавлев фиксировал во всех подробностях.

Мысленное возвращение к прошедшему событию — родовая черта, которую Журавлев замечает в себе и отце и говорит о ней иногда иронически, понимая, что многократное возвращение способно трансформировать прошлое:

> Результат таких изысканий, слишком по своему существу смыкающийся с тем, что Кони называет «мечтательной ложью», отражен в моей записи.

Отсюда, вероятно, желание опереться на документ, даже прямо включив его в текст воспоминаний, — и тем самым уберечься от «мечтательной лжи».

В воспоминаниях Дмитрия Ивановича есть не вполне обычная черта (может быть, несколько менее явная в сокращенном для публикации тексте): очень много описаний объектов материального мира. Книги, которых в скопинском доме было мало, описываются очень подробно, вплоть до картинок и обложек. При доме в Скопине был сад и пчельник: Дмитрий Иванович приводит не толь-

ко схемы сада с точными измерениями, но и дает историю каждой яблони, с объяснениями, почему выбрали тот или иной сорт, историю каждого улья, тем более что ульи были по большей части самодельными, Журавлевы иногда конструировали их сами. Описывается дом и история каждой комнаты — как она меняла хозяев, что из нее исчезло в голодные 1920-е годы, какие предпринимались попытки сделать жизнь удобнее.

Обилие предметов и их описаний поражает. Конечно, некоторые из этих описаний могут оказаться полезными для историка, допустим, скопинского краеведа. Но больше описаний иной природы — исторически вроде бы незначимого, случайного.

Вот пример, один из множества, но, кажется, очень выразительный. В конце 1970-х годов Дмитрий Иванович обводит контуры топорика, купленного его отцом в начале XX в. при строительстве нового дома. Ничего особенного в этом топорике нет. Но есть сильнейшее желание физически зафиксировать прошлое. Обычно Дмитрий Иванович это делает при помощи фотографий, но фотографии кажутся ему, видимо, чем-то недостаточно осязаемым.

Конечно, этому стремлению вспомнить прошлое до деталей напрашивается естественное объяснение, и его предлагает сам автор. Довоенный мир вспоминается как погибший — и, несмотря на бедность, как мир устроенного, любимого быта. Но дело, возможно, не только в этом. В XIX в. чаще публично говорили про то, что считалось общеинтересным. В XX в. все больше утверждаются права личной, индивидуальной истории.

В дневниковой записи от 16 февраля 1977 г. Журавлев приводит точные сведения о том, за сколько именно (за гроши!) 45 лет назад продавали, убегая из Скопина, скопинские вещи, остатки прошлой жизни (зеркало — за 150 руб., гардероб, книжный шкаф, этажерка, письменный стол и мягкая мебель из зала — два кресла, шесть стульев (в хорошем состоянии, их берегли, стояли в чехлах, которые снимали лишь на праздники) — за 165 руб.).

Работа над воспоминаниями сопровождалась попытками «реконструкции» скопинского пространства в Москве, где сначала ютились в перенаселенных коммуналках с соседями (Лялин переулок, Зубовский бульвар).

География московских адресов семьи сложилась еще в скопинскую пору. Точка отсчета — 1913 г. В этот год Дмитрий Иванович

вместе с отцом навещали в Москве больного Сережу, старшего брата. Евангелическая больница, куда положили мальчика, находилась на Воронцовом поле. Сретенка, Варварка, Мясницкая, Лялин и другие старые московские переулки и улицы исхожены вдоль и поперек.

Именно тогда, может быть, начал складываться и дал о себе знать будущий «писательский почерк» Д.И. Журавлева: он регулярно отправлял открытки домой, а в них тщательно и подробно перечислял все — и городские картинки, и обстановку в гостинице, в мельчайших подробностях, «включая чернильницу и ручку».

> ...Ходили мы с папой по Москве. Были в Кремле: Соборы — Успенский с гробницей патриарха Гермогена, Архангельский с гробницей царевича Дмитрия, в память которого дано мне имя... Памятник Александру II, окруженный галереей; внимательно рассматривал все мозаичные портреты царей на потолке галереи; очень интересовала мозаика: как из кусочков получается картина?
>
> Спасские ворота — чрез них все проходили сняв шапку... Иверская часовня, где историческая Иверская икона Божией Матери и где непрерывно пелись молебны, всегда толпились богомольцы. Теперь эта икона в церкви у Сокольников, близ нас... Ходили по улицам. Сретенка. Лубянка. Немного Тверской. Мясницкая — почтамт, чайный магазин напротив, особенно живо украшенный... Стояли у витрины оптического магазина (на Лубянке?)[20].
>
> Все внимание поглотил школьный телескоп: всю жизнь я любил звездное небо. «Что тебе купить на память? Выбирай!» — говорит папа. Но что можно выбрать? Кроме телескопа я ни на что не смотрел. Я понимал: 25 рублей расход для нас недопустимый. Так и промолчал. Пошли дальше...

[20] Оптический магазин фирмы «Е.С. Трындин и Сыновья», а также производство, располагались на Большой Лубянке, в нынешнем здании № 13. Фирма была одной из крупнейших компаний дореволюционной России, производивших оптические, физические, геодезические приборы, учебно-наглядные пособия и медицинские инструменты. С 1880-х годов в числе продаваемых фирмой астрономических инструментов появились и телескопы (см. подробнее: *Трындин Е.Н., Морозова С.Г.* Трындины // Московский журнал. 2010. № 3. С. 54–67; *Челюканов А.* Краткий очерк фирмы Е.С. Трындина С-вей по случаю 85-летия существования фирмы и 25-летия деятельности ее представителей братьев С.Е. и П.Е. Трындиных. М., 1894).

Много лет спустя, в 1960-х годах, Журавлев тщательно записывал расположение звезд, наблюдаемых из окна городской квартиры и в Подмосковье, сравнивал пейзажи звездного неба в разное время года. На даче в Покровке скопилась и целая коллекция оптических приборов — она стала совместным «хозяйством», которым пользовались сообща, вместе с зятем, Вс.Н. Некрасовым, любившим такие игрушки.

Уже москвичом Журавлев в 1920–1930-х годах не раз бродил тем же детским маршрутом в поисках Евангелической больницы. Так и не нашел. Зато почти ежедневно многие часы проводил в читальном зале библиотеки Высшего совета народного хозяйства, неподалеку на Варварской площади.

> Вечерами высокие стрельчатые окна пропускали густой синий свет, а весной особенно хорошо в сумерках видна Венера.

Эта «звездная картина юности, когда голову поднимал от стола с книгами», возвращается уже в старости, в Сокольниках. Запись от 11 января 1963 г.:

> Святки. Ясно. Морозно. Луна. Иней. Из окон комнат волшебный вид <...> восход солнца за деревьями. Окна совсем не замерзают. Смотришь, как в кино. По утрам с подушки вижу Венеру — яркая рождественская звезда.

В 1962–1963 гг. Журавлевы купили квартиру в кирпичной девятиэтажке в Сокольниках. Окна выходят на зеленый двор, усаженный тополями, березами. Рядом старинный парк. Стромынка близко, но движение транспорта почти не слышно. У Дмитрия Ивановича впервые за много лет появилось собственное отдельное восьмиметровое пространство.

Летом всегда снимали под Москвой дачу. Наведывались в Мещеры, о. Иоанн удил рыбу и размечал в «памятной книге» особые места в Судогде, на Клязьме, на Оке. Сначала, когда перевезли отца из Скопина, дача была в Обираловке. В блокноте Дмитрия Ивановича, среди описаний лосей, зайцев, кабанов, свободно разгуливавших у озера или в лесу, лежит листок, на котором переписана сцена гибели Анны Карениной с комментарием:

> Читаю роман в третий раз. Созвучен настроению. Начинаю свое.

Видимо, именно в 1930-х годах, в Обираловке, а еще во время отпускных поездок в Коктебель (1932) и на Кавказ по Военно-Осетинской дороге (1934) Журавлев записывает первые «подневные отчеты».

После войны дачу снимали в Кратове. Неслучаен юго-восток: путь на Рязань и Скопин, о которых напоминали торфяные запруды, песок и сосны Казанского направления.

В 1960-е годы «кристаллизации внутренней работы» помогло — кроме освобождения от службы и обретения собственного угла в Сокольниках — еще и то, что опять появился свой «сад»: купили участок в Покровке (по Октябрьской железной дороге, несколько станций за Солнечногорском, не доезжая Клина). Как обычно, Дмитрий Иванович точно датирует события: первые смотрины «дачи» — 25 ноября 1962 г.: садовый участок 800 кв м и летний стандартный домик. Покровку приобрели к Новому году благополучно, и сразу «окрестили» — «сад» (не «дача»), в память Скопина, где жили в доме Брежнева на 2-й Мещанской и имели сад на 1-й Новой.

> Какое лето было первым в наших походах в сад? Два пути было: по Соборной — считали дальше, не мостовая, и по Успенской — в сырую погоду очень грязно! Это наши названия улиц, а настоящие — Садовая (вела к больнице) и Ряжская. Теперь их зовут иначе... Катя с 1921, я с 1922 г. жили на Покровке, Лялин пер., шестая комната за ванной. На Зубовский бульвар переехали в ноябре 1940 г. Теперь сад в Покровке. Престольный праздник в Журавинке (Лопатино тож). Покров праздновали у нас в семье, курники, поездки на Покров в Журавинку в детстве...

В 1981–1986 гг. один из авторов этой статьи бывал в Покровке. Дом не совсем обычный по тем временам, двухэтажный, на втором этаже комната с потолком низким и скошенным, зато два окна по разные стороны, что-то вроде балкона.

В ясную погоду сверху видно, как солнце за лесом садится. Крыльцо, вход на террасу не прямо, а сбоку. Там же, сразу от двери слева, лестница. Наверх можно подняться изнутри и снаружи по ступенькам. С террасы — дверь в комнату, внизу единственную. Она вытянута и непропорциональная. Перегорожена буфетом, шкафом, кроватями... Между печкой и простенком получилась

выгородка, а в ней — внутренняя комнатка, совсем маленькая. Кабинет Журавлева. Стол из деревянных досок. Полки самодельные. На них инструмент, старые журналы, книги разрозненные, есть старые детские, тетради школьные, тонкие в выцветших обложках и «общие» в коленкоровых. Календари отрывные. На листах, в тетрадях, на оборотах лабораторных по физике и листов из методичек, рабочих материалов кафедры в институте землеустройства записи рукой Дмитрия Ивановича. На численниках старых особо отмечены восход и заход солнца, фаза луны. Много карандашей, простых, всегда заточенных; лежат по отдельности и стоят в деревянных стаканчиках, раскрашенных красными и золотыми цветами по черному фону. Готовальни — штуки три-четыре. На столе и на полке лампы: керосиновая с пересохшим ломким фитилем, несколько переносных электрических, со шнуром и штепсельной вилкой. Весы самого разной формы, вида и размера — с чашечками латунными, гирьками и без них. Барометры. В комнате и на террасе — два, у входной двери и в дальнем углу, рядом с окном, где стоял набивной диван с продавленными подушками. Барометрам все нипочем: один всегда показывал «ясно», другой — приближение грозы.

Скопинский мир, жизнь прошедшая и жизнь настоящая сознательно и неосознанно соединились в вещах, звуках, цветах, запахах, восстанавливаемых, знакомых с детства привычках, оглядках, внезапных и невольных озарениях памяти. Весь этот оживший скопинский опыт просвечивает, проступает сквозь садовую и городскую повседневность. Возвращение Скопина, его «реконструкция» случились окончательно, когда Дмитрий Иванович и его сосед в Покровке, Арсений Тихомиров, школьный товарищ, снова, как в детстве, занялись разведением пчел. Пчеловодство — всепоглощающее занятие, оно требует особых профессиональных навыков, сноровки, глубокого понимания физиологии и биологических законов пчелиного существа, сосредоточенности и дисциплины. Ошибка в этом деле стоит дорого и оборачивается полной потерей и гибелью роя. Журавлев неутомимо уделял много времени поискам «материалов», изучению специальной литературы, поездкам на выставки. Вдохновенно, педантично и неукоснительно строго строил ульи, занимался очисткой и подкормкой, переносил расчеты в тетради. Покровский подмосковный сад и сад скопинский, замещая друг друга, стали одним целым:

Падают яблоки и стучат, как в Скопине...

чудесный, теплый, тихий вечер. Совсем как бывало в Скопине.

Одна из самых поздних записей сделана весной 1979 г., когда безнадежно болела сестра:

Покровка брошена. Ульи разорены. Конец покровского гнезда.

* * *

Текст, который предлагается в этой книге, — результат редакторского вмешательства. Например, то, что мы помещаем здесь в качестве финала (глава «Пчела. Конец»), строго говоря, нельзя назвать действительным финалом задуманного автором большого текста. Машинописные воспоминания, как уже было сказано, заканчиваются смертью старшего брата. Сжатый рассказ о событиях 1931 г., когда отец автора, протоиерей Иоанн Журавлев, пережив арест, был вынужден бежать из Скопина в Москву, извлечен нами из рукописной тетради под названием «Пчела»: для Дмитрия Ивановича конец его семейного гнезда, скопинского дома, оказывается финальным эпизодом истории пчельника (а не наоборот).

Оригинальная рукопись содержит около 25 авторских листов, и мы были вынуждены иногда сокращать ее, в частности, потому что текст, над которым Дмитрий Иванович работал вплоть до своей тяжелой предсмертной болезни, видимо, не был завершен в чисто техническом отношении (например, он содержит много повторов, которые при подготовке к публикации, по возможности, опущены). Не все, кажется, даже и гипотетически предназначалось автором для чужих глаз, для публичного предъявления (резкие оценки частных лиц, очень детализированное описание болезни и смерти брата).

Журавлев вспоминает прежде всего для самого себя и рефлектирует над собственной памятью, сопоставляя сделанные в разное время записи об одном и том же очень важном событии; не просто фиксирует свои выводы, но показывает, как к ним пришел и, сделав неверное, как кажется ему самому, предположение, не

просто вычеркивает его, а оставляет в тексте и дальше сам себя оспаривает.

Среди неперепечатанных рукописных набросков самый большой — «Павелец», где описывается история семьи близких родственников Кормильцевых, живших в Павельце, одном из древнейших сел под Скопиным. Автор обдумывал этот текст в 1970-х годах, искал материалы. Например, о происхождении фамилии:

> Вот эта легенда. Предок Кормильцевых в голодный год прокормил хлебом все село. И его односельчане иначе не называли, как «наш кормилец». Естественно, его семейные и потомки стали Кормильцевы. Кто же этот предок?.. Этот человек мог быть богатым хозяином, занимать общественную должность в 1830–1840-е, даже 1850-е годы.
>
> Большое село Павелец, искони государственное, помещиков не знало, ибо волостное правление обычно находилось в наиболее крупном селении волости. И вот вопрос: мог ли даже богатый мужик во время голода прокормить большое село своими запасами? Ведь не был же он крупным оптовиком, ссыпщиком хлеба, не был и «епископом Оттоном»[21]. Обратимся к истории <...> Реформа Киселева проведена в 1838–1840 гг. Хлебные магазины устраивались как мера борьбы с голодом во время частых неурожаев. «...Магазины хлебные у нас в исправности... и законное количество хлеба имеется...» — читаем в «Записках охотника» Тургенева, отразивших быт села 1840-х гг. Это из рассказа «Однодворец Овсянников». Однодворцы при реформе Киселева приравнены к государственным крестьянам.
>
> У меня сложилось такое представление: предок Василий как волостной старшина (тогда называли «волостной голова»), возглавлявший волостное правление, ведал киселевскими хлебными магазинами, даже возможно — сам устраивал их. И в голодный год он честно[22] использовал запасы, быть может, добавив к ним и свои собственные. «Кормилец!» — звучит как любовное прозвище благодарных односельчан.
>
> Я подчеркнул «честно», ибо время темное, бесправное, каждый самый мелкий чинуша мужику «начальник». И следствие бюрократизма при отсутствии гласности — произвол, воровство, вымогательства, продажность, взятки... На этом фоне добросовестный человек, конечно, особенно выделялся и заслуживал благодарности.
>
> Так вот, думаю, легенда вполне естественно вписывается в рамки исторического прошлого и сама приобретает черты исторической достоверности (7 июня 1976 г.).

[21] Скорее всего, здесь Журавлев вспоминает Гаттона из «Суда Божьего над епископом» В.А. Жуковского.

[22] Здесь и далее выделено Д.И. Журавлевым.

«Случай Кормильцевых» показателен. В черновиках видно, какой обширный исторический материал привлечен, с каким удовольствием погружается автор в лингвистические разыскания, объясняя не просто значение — этимологию слов, комментируя особенности живой речи. См., например:

> ...Для современных ученых деятелей в области языка наиболее характерные черты — пренебрежение информационным качеством языка и погоня за «правильностью», то есть за соответствием придуманным нормам. Если для живого народного языка характерно стремление сократить (спасибо = спаси Боже, а местные даже — бознть = Бог знает, гыть = говорить...), то для искусственного ученого характерно стремление удлинить, восстановить первоначальное возникновение слова... К этой же категории «правильного» написания относится «двоюродный» вместо «двоюрный».
>
> Кормильцевы мне — двоюрные. И о них я хочу написать немного о каждом в отдельности, что знал и что память сохранила. Порядок — случайный.

В центре главы — портрет Михаила Никифоровича Кормильцева, учителя рисования и чистописания, наладившего в Скопине распространение прописей собственного изготовления, фотомастерскую, в которой показывали снимки с помощью «волшебного фонаря». Немного «артист», надевавший «дворянский костюм», человек увлекающийся (избирался в местную Думу, но не прошел). Предприятия его, столь бурно начинавшиеся, рассыпались. Журнал «Пчельник» за недостатком подписчиков закрылся на втором номере. Не сумел он как следует поставить, сохранить и сберечь свое пчелиное хозяйство:

> Причина неудач Михаила Никифоровича — в его недостаточной опытности, проще сказать — неумелости. Только предприимчивости и размаха мало.

Михаил Никифорович был важен для Журавлева по особенным причинам, как человек писавший:

> …Для «художественной» формы был у меня «образец»: статья М.Н. Кормильцева в его журнале «Пчельник».

В «Двоюрных» есть почти лесковские новеллы. Вот одна из них — история Петра и Леонида Кормильцевых:

> Лето 1914 года — война. Петю забрали в первые же дни мобилизации и отправили в составе Зарайского полка в Ковель <…> В мае у речки Дунаец немцы прорвали фронт. Начался быстрый отход. Наша армия отступала с Карпат. Петя попал в плен. Выстроили немцы пленных и стали распределять на работы. Вызвали: «Кормильцев!» Вышли двое — Петя и Леня, добровольцем ушедший в армию из Оренбурга и служивший совсем в другом полку. Так встретились два родных брата. Не захотели расстаться, оба вместе пошли на работу в крестьянское хозяйство немцев-швабов, колонистов в Венгрии, Темешвар. Лене — электромонтеру, способному человеку, было бы интереснее работать на заводе, там он мог бы приобрести квалификацию, но он не захотел расстаться с братом.
>
> В семье швабов — культ труда, сытости и материального благополучия. Отношение к работникам — самое хорошее. Питание отличное. За обедом лучшие куски хозяин берет себе, потом работникам и уже только оставшееся — семейным, в том числе хозяйке. Посылая на работу в поле, давали работникам с собою свинины и прочей еды в таком изобилии, что те не съедали, остатки пленные зарывали в землю, чтобы не досталось врагам. Впрочем, Петя и Леня на такое обращение с харчем не решались. Ценили швабы и берегли рабочую силу! Весь уклад жизни для наших необычный. Без дела не сидят. Приходят гости, работу не прерывают, но гости включаются в помощь <…> Вернувшись из плена в 1918–1919 гг., добирались целый месяц. В пределах Австро-Венгрии эшелоны пленных на станции получали харч. Переехали границу — на каждой станции шумная встреча, забрасывали их газетами, брошюрами, воззваниями и… никаких пайков! Голодали отчаянно, да и власти по пути менялись <…> По своей земле целый месяц ехали…

Почему-то именно «Павелец» — глава, самая насыщенная преданиями. Журавлев вообще-то не склонен был увлекаться легендами, небылицами, передавать слухи и если обращался к ним, то очень «дозированно», неизменно сопровождая проверкой, доказательством и скептическим замечанием. А в той главе преданий немало. Потенциальная «художественность» просилась на бумагу. Не потому ли автор не перепечатал рукопись?

> В Павельце жил знаменитый человек Максим Синичкин. Это что-то вроде московского «Ивана Яклича»[23], сектант — не сектант, юродивый — не юродивый. В моем представлении — человек умный. Он пользовался громадным авторитетом в народе. К нему шли во всяких трудных случаях жизни за советом, за пророчеством. Его почитали множество поклонников и особенно поклонниц <…> Помню одно его пророчество. В разгар гражданской войны и разрухи он говорил: Россию спасут двое — дворянин и попович. Пророчество исполнилось: одну из двух мировых «сверхдержав» создали дворянин Ленин и попович Сталин…

Это последнее замечание нельзя оставить без внимания. Дмитрий Иванович не противопоставлял себя советской жизни, что особенно заметно в письмах и дневниках. Сравнивая себя и одного из своих ровесников Кормильцевых, Журавлев пишет:

> Разные мы с ним люди. Я смотрел на вещи с точки зрения интересов народа и свою будущую деятельность хотел посвятить служению обществу. Брат оспаривал. Единственный интерес в жизни он видит в служении лично себе, в своей личной материальной пользе <…> И если он сторонник советской власти, то только потому, что на этом пути он сможет построить личное благополучие; до других ему дела нет…

Заметим, что в беловой машинописи воспоминаний — об этом предоставляем судить читателю — есть и другое, иногда резко критическое отношение к советской жизни, причем не к частностям ее, а к общему духовному состоянию («одичание»); впрочем, дореволюционную Россию (особенно официальную идеологию, систему образования) Журавлев тоже не идеализировал.

---

[23] Иван Яковлевич Корейша (1783–1861) — юродивый, почитаемый многими современниками в качестве ясновидящего.

* * *

Публикаторы должны признаться, что они не только выбирали, что печатать, а что нет, но и придумали название книги. Собственного названия воспоминания не имеют (хотя отдельные главы озаглавлены), потому, видимо, что автор не готовил их к публикации. Выбранное нами — «Скопинский помянник», — отсылая к одной из главных для автора семейных реликвий, должно было (хоть слово здесь и употреблено метонимически) давать представление о природе книги, выросшей из разных «документальных» жанров: писем, дневниковых записей, того же семейного Помянника в прямом смысле слова.

Трудно сказать, насколько определенными были представления автора о предполагаемом читателе. Понятно, что о печатной книге в сколько-нибудь обозримом будущем речи не было[24]. При этом некоторым близким людям Дмитрий Иванович давал читать написанное (и иногда наводил у них справки: у Татьяны Владимировны Розановой — из истории Церкви). В воспоминаниях много объяснений старых реалий, слов, т.е. того, что предполагается непонятным читателю в 1960–1970-х годах (например, элементы богослужения). Получается, что воспоминания обращены и к «чужим», к людям другого поколения и советского воспитания, к кому-то вроде его студентов.

Дмитрий Иванович Журавлев умер 15 июня 1979 г., вскоре после смерти своей сестры, Екатерины Ивановны Журавлевой, и похоронен рядом с ней на Долгопрудненском кладбище.

Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская

[24] Первые попытки публикации были предприняты нами только в 2012 г.; см.: *Журавлев Д.И.* Жизнь как свеча // Отечественные записки. 2012. № 2 <http://www.strana-oz.ru/2012/2/zhizn-kak-svecha> (последнее обращение 25 мая 2015).

Глава первая

Родословная



ИСТОЧНИКИ

Источники моих сведений о далеком прошлом:

Рассказы бабушки Настасьи Ивановны. Когда-то я расспрашивал ее о временах прошедших, но не записывал, и многое забыто.

Рассказы тети Анны Дмитриевны о старине. Она любила сопоставить прошлое с современным и часто говорила: «*В старину* делали так...», «*В старину* не так было...». Помню и наш детский недоуменный вопрос: «Тетя, когда старина кончилась?».

Воспоминания папы Ивана Дмитриевича позднего времени.

Родословная таблица. Ее я составил с помощью папы 9 января 1955 г. Годы рождения и смерти поставлены позже.

Бумаги и документы, перешедшие в мое распоряжение после смерти папы. Среди них «Помянник священника Пятницкой города Скопина церкви Иоанна Дмитриевича Журавлева» — книжка в осьмую долю листа, знакомая с детства. Помню: папа сидел за своим письменным столом, тем самым, за которым я в саду в Покровке[1] пишу эти строки (17 июня 1969 г.); Сережа и я у него на коленях; эта книжка и карандаш в моих руках, и я в ней «написал»; «писал», возможно, и Сережа — начеркано на нескольких страницах. В Помяннике перечень имен умерших, в родительном падеже: «Помяни, Господи, души усопших раб Твоих...». Все они прочитывались за Литургией, когда служил сам папа. <...> На полях не всюду — даты смерти и иногда фамилии. Поэтому я знаю время смерти многих мною упоминаемых, но не знаю дат рождения. Большинство имен мне ничего не говорит.

Сохранилась переписка с Сережей, когда он лежал в московской больнице, и мои записи о его смерти. В начале 50-х годов я перепечатал на машинке письма и записи о смерти Сережи, бабушки, тети, последнее письмо дяди Паши.

Старые письма. Их сохранилось мало.

---

[1] Имеется в виду дачный участок по Ленинградской железной дороге, который был у семьи Журавлевых в 1960–1970-х годах. — *Примеч. публ., как везде далее, кроме специально оговариваемых случаев.*

СТАРШИЕ

Вот родословная нашей семьи.

Фома Алмазов — дьячок в с. Журавинка.
Максим (1756–1836) — дьякон в Журавинке.
Федор Журавлев (1797–1877) — дьякон на месте отца.
Дмитрий (1833–1910) —дьякон на месте отца.
Иван 1874 (1956) — священник в г. Скопине. <...>

Фамилия вначале **Алмазовы**. Но в семинарии мудрое начальство вопросило — откуда, и узнав, что из Журавинки, изрекло: ты будешь **Журавлев**. Это рассказывала бабушка. Но о Федоре или Максиме — не могу сказать[2]. <...>

18 ноября 1846 г. указ Синода запретил произвольно менять фамилии лиц духовного происхождения. Обязал сохранять за каждым фамилию отца.

«Чтеца Фомы» — записано в Помяннике. <...> В Помяннике среди старшей родни есть «свещеносец Василий». В родословной таблице его нет, и степени его родства я не знаю.

Фома, дьячок при церкви в селе Журавинка, жил в XVIII в. Каких-либо сведений о нем, даже имени его жены, не сохранилось.

Сын Фомы Максим умер 80 лет 23 июня 1836 г. Значит, родился в 1756 г. Его жена — Пелагея. Он был дьяконом в Журавинке же. <...> Усадьба на том же месте, где жил и его внук Дмитрий Федорович, наш дедушка.

Предо мною рукописная книга «Служебник». Очень изношена. От первого листа обложки осталось только две трети; на обороте

[2] В «Ведомости о числе церковных служителей и их семейств» за 1833 г. подпись: «диакон Федор Максимов руку приложил» ((Государственный архив Рязанской области (в дальнейшем ГАРО). Ф. 636. Оп. 1. № 43. Л. 28), в ведомости 1848 г. — уже «диакон Федор Журавлев», в ведомости за 1851 г. — такая же подпись с примечанием о полученном образовании: «Из Высшего отделения Рязанского училища» (л. 74). Никаких следов Алмазовых в Журавинке-Лопатине в этих ведомостях нам найти не удалось. В списках окончивших Рязанскую духовную семинарию с 1816 по 1840 г. нет ни Алмазовых, ни Журавлевых (кроме какого-то Ивана Журавлева, учившегося в 1830–1932 гг., — семейный Помянник о нем не говорит) (списки см. в кн.: История Рязанской Духовной Семинарии. Составил Димитрий Агнцев. Рязань, 1889).

что-то написано карандашом, не могу прочесть. На 1–4 стр. выцветшими чернилами написаны молитвы заупокойной службы. На средине 4-й стр. черта карандашом и ниже карандашная запись:

Сем рублей 3 руб. 55 к. 3 руб. 50 к. 3 руб. 25
4 руб. 60 к. 3 руб. 50 к. 2 руб. 70 6 руб. 42 2 ру. 37 к. 3 руб. 75 к.
1 руб. 75
2 руб. 30 к. 1 руб. 80 к. 2 руб. 30 к. 2 руб. 2 руб.30 к.
Всех денег получ пятьдесят три рубля.

Я подсчитал: в сумме получается 53 р. 09 к. На пятой стр. карандашом:

диакон Максим Фомич помре 1836 года месяца июня 23-го дня.
Попадья берзнеговская помре 1839 года июня 8-го.

Ниже начеркано детской рукой. Кто писал карандашом? Сын Федор или внук Дмитрий, наш дедушка? Кто это — березняговская[3] попадья, и почему не упомянуто ее имя?..

Написана книга Максимом. Когда? При царице Екатерине. В ектениях перечислены все дети Павла, кончая Марией, родившейся в 1786 г. Позже всюду вставлена Екатерина, родилась в 1788 г. Считаю: написана около 1787 г.

Рукопись Максима у нас самая древняя семейная вещь.

По книге этой служил и он сам, и его сын Федор, и его внук Дмитрий, наш дедушка, — три поколения. <...>

ДЕДУШКА ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Дмитрий Федорович Журавлев родился 22 октября 1833 г. Ему не было трех лет, когда умер его дед Максим Фомич. Быть может, в этом причина — в семье не сохранилось рассказов о далеком прошлом.

Учился Д.Ф. в Скопинском духовном училище. После — в Рязанской семинарии. В Рязань и на каникулы из Рязани ходили пеш-

[3] В селе Березняги, и сейчас существующем под тем же названием, в 1813–1855 гг. служил Илья Максимович Журавлев — видимо, сын Максима Фомича. Не его ли жена тут имеется в виду?

ком — около 100 верст. Однажды в пути бешеная собака искусала его товарища. Шли вдвоем. Товарищ погиб. От семинарских времен у нас сохранился дедушкин учебник догматического богословия изд. 1852 г.[4] Д.Ф. был уже в пятом классе, а всего шесть. На пасхальные каникулы в половодье шел домой пешком и простудился. Вернулся в семинарию с опозданием. Был уже уволен: приезжал из Питера ревизор, распорядился уволить всех, не явившихся после каникул в срок. Уволили, не разбираясь в причинах. Начальство не посмело восстановить. Надо было хлопотать. Дома отец настоятельно рекомендовал бросить ученье с тем, чтобы передать ему свое дьяконское место: четыре класса семинарии давали право занять должность дьякона. А Федору Максимычу очень необходимо было передать свое место одному из сыновей. Только при этом условии он, оставив по старости лет службу, мог жить до смерти в своей избе сам и его семья, пользоваться усадьбой на церковной земле. Пора было подумать об этом: ему уже около 60 лет. Так Д.Ф. и не доучился в пятом классе.

До посвящения в дьяконы надо жениться. Вместе со своей сестрой Ольгой в качестве свахи (значит, она старше Дмитрия, обычно свахи — женщины в годах) Д.Ф. объехал смотреть 12 невест. Выбор пал на Настасью Ивановну Глебову, дочку дьячка в с. Корневом[5], — красивая, умная, с твердым характером. Впрочем, тог-

[4] Видимо, кн.: *Антоний* (*Амфитеатров Я.Г.*) Догматическое богословие православной кафолической церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, составленное ректором Киевской духовной семинарии. М., 1852.

[5] Существует и сейчас под тем же названием. В часто упоминаемой у Дмитрия Ивановича «географии Семенова» о нем сказано: «Самое значительное из сел <...> есть волостное селение Корневое (2300, волостное правление и две школы)» (*Семенов В.П.* Россия: Полное географическое описание нашего отечества. Т. 2. СПб., 1902. С. 487). У И. Добролюбова: «Кореневое <так!> в качестве села с Борисоглебскою церковью упоминается до 1592 г. в числе вотчин арх. Рязанского Митрофана. В окладн. кн. 1676 г. при церкви показано “церковныя пашни двадцать четвертей в поле <...> сенных покосов на тридцать копен, а в приходе 60 дв. драгунских и 7 бобыльских”. По окладу 1676 г. с Борисоглебской церкви дани положено было “рубль двадцать четыре алтына две деньги. А прежния дани было тридцать четыре алтына две деньги”. Вместо упоминаемой в XVII ст. и обветшавшей церкви в 1775 г. поставлена была

да была совсем девочкой, едва минуло 16 лет. Свадьба состоялась в мае 1858 г.

В Журавинку, в новую семью 16,5-летняя «молодая» повезла с собой и свои куклы — для себя, еще не могла с ними расстаться. В числе приданого привезли из Корневого и пчелу, несколько дуплянок. С тех пор Д.Ф. пчеловод. Пчеловодство в дуплянках, пассивное. Каждый рой сажался отдельно, в пустую дуплянку. На зиму — много ульев. Весной — мало. Гибли зимой. Меду *ломали* мало, уничтожая более медистые семьи пред 1 августа — *медовым Спасом.* Считали — в Журавинке плохой взяток.

Мне не известно, когда Д.Ф. посвящен, когда начал служить. Возможно, уже в 1858 г., ибо его отцу был уже 61 год, и он по возрасту мог выйти за штат.

26 августа 1955 г. папа вспоминал журавинскую семью, своих братьев и сестер. С его слов я тогда записал: 70 рублей получил дедушка Д.Ф. за первый год своей службы. А сосед Михалыч (псаломщик М. Камнев) — 35 рублей. Рассказывала это и бабушка, называя сумму 60 рублей. По ее словам, подведя итог, дедушка сказал: «Слава Богу! Можно будет сынка содержать в семинарии». Когда-то, записывая в своей тетради, я стал сомневаться: ведь у них и сына тогда не было, разве лишь дочь Елизавета. Но нет, бабушка права: молодые люди мечтали иметь сына и хотелось очень — дать ему образование.

Этот рассказ наводит на мысль, не Д.Ф. ли вписывал карандашом в «Служебник» Максима. Если он, то понятен смысл записи денежной, с подведением итога: «Всех денег получ. пятьдесят три рубли». Это может быть тот доход за первый год службы, о котором идет речь. Чрез долгие годы забыто точно: 70, 60 или 53. Потому

новая также деревянная и в прежнее храмонаименование, вместо которой существующая ныне каменная Борисоглебская ц. об одном престоле построена в 1872 г. Земли при ней числится 36 дес., но из них 2 дес. находится под большою дорогой, идущей из Скопина в Данков. При 300 дворах в приходе числится м. п. 1009, ж. п. 1071. Школа существует с 1842 г., открытая от Палаты государств. имуществ. По штату 1873 г. в причте при Борисоглебской церкви положены 1 свящ. и 1 псал.» (*Добролюбов И.*, свящ. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. Т. 2. Рязань, 1885. С. 171).

и помнили, что было записано в книге, которой дедушка пользовался. Потому и сыну рассказывали, объясняя запись. Конечно, можно бы сравнить почерк с заведомо дедушкиным. А молитвы вписаны другой рукой. Не Федор ли?

Когда я читаю мемуары того времени, как люди проигрывали в карты сотни и тысячи, как Лев Толстой бросал демонстративно золотой уличному музыканту, я всегда вспоминаю эти 60 рублей в год. Русское православное духовенство! *Благочестивейшие*, самодержавнейшие государи, о которых это духовенство так много молилось! Зимой — лучина, светец у нас сохранился. Когда купили керосиновую лампу? Папа ее помнил, эту первую лампу: пятилинейная жестяная.

Д.Ф. глубоко религиозный человек, ревностный служака, любил благолепие церковной службы, с полной серьезностью и добросовестностью относился к своим обязанностям. И в этом отношении был требователен и к себе и к другим. Сын прошел его школу и наследовал эти качества. По отзывам папы и тети, Д.Ф. хорошо пел, они любили слушать пение в церкви, службу. В школе он был бесплатным учителем пения. Голос — баритон. Никогда я не видел и не слышал его службы, не слышал его пения.

Когда приезжали в Журавинку, обычно в праздники, в церковь нас не водили: многолюдно. Припоминаю, как-то были, но кроме спин я ничего не видел. Ходили раз смотреть свадьбы на Покров. Одновременно венчали в разных местах церкви: свадеб много. Масса ярко разряженной сельской публики. Сутолока. Сам я помню глуховатый старческий голос дедушки в разговоре. Впрочем, беседовать мне с ним не довелось, не помню. Он садился на лавку с краю стола, меня сажали рядом с ним справа. Он угощал меня, тыкая вилкой в лучшие кусочки на общей тарелке, предлагая взять, называл «Ми́тюшка». Помню, как с недоумением и мучительно раздумывал я, смотря сбоку на дедушку, на синюю жилу на его виске: как это может быть, вот это живое, и вдруг будет мертвым, не двигаться, ничего не чувствовать. Очевидно, дома у папы и тети были разговоры о возможной смерти дедушки.

Еще помню: дедушка и бабушка приехали к нам под праздник, все пили чай и ушли в церковь — всенощная. Остались я и дедушка. Почему-то со стола не убрали. Я решил навести порядок и стал

мыть посуду. Папа пил из больших чашек, бокалов, как мы их называли: с большим блюдцем и крышкой, ее, впрочем, не применяли. Стал вытирать — бокал развалился. Я в ужасе: разбил — наказание, не докажешь, что не шалость. Пошел объявить дедушке, а тот меня поразил: принял столь важное известие с полным равнодушием, отнесся к событию как к пустяку, не стоящему разговора. Только всячески успокаивал меня. Когда пришли наши, мне никто ни слова не сказал. Очевидно, дедушка предупредил.

И еще один приезд его в Скопин запомнился. Дедушка слушал впервые наш граммофон и все засматривал в трубу. Мы, ребятишки, думали: хочет увидеть там человека, который поет. Было это в зале брежневского[6] дома.

Но все это уже когда-нибудь около 1906–1909 гг.

Вот хронология основных событий в жизни Д.Ф.

1858, май — свадьба.
1859 — родился первый ребенок, Елизавета.
1877 — смерть отца, Федора Максимыча.
1878 — свадьба дочери Елизаветы.
1879 — смерть матери.
1879 — за шесть дней умерли четверо детей.
1880 — закрыта должность дьякона в Журавинке, Д.Ф. переведен в г. Раненбург, где он пробыл несколько менее года.
1883 — родился последний ребенок, Екатерина.
1883 — сына Ваню отдали в Духовное училище.
1886 — свадьба дочери Ольги.
1891 — смерть псаломщика Михалыча — М.М. Камнева. Его заменил его сын Павел, позже — Алексей.
1895 — сын Иван окончил семинарию и с 1896 г. учитель в журавинской школе.
1897 — 1 сентября умер священник Иван Вышатин[7], с которым вместе так долго служили. Новый — молодой Василий Иваныч Кобозев, женившийся на дочери Вышатина, Варваре.
1897 — смерть младшей дочери Кати. С родителями остались двое детей: Анюта, Ваня, оба взрослые.

---

[6] То есть дома, который Журавлевы снимали у купца Брежнева, старосты скопинского собора (он упоминается и ниже).

[7] Иоанн Козьмич Вышатин — священник Покровской церкви с 1855 г.

1899 — свадьба сына. Его посвящение и отъезд в Телятники. С родителями осталась одна дочь Анюта.
1904 — смерть нашей мамы и переезд тети Анюты в Скопин. Остались в Журавинке вдвоем.
1906 — поздно осенью перевезена пчела в Скопин: *конец* журавинскому пчельнику, 48-летнему.
1908, май —*золотая свадьба* — 50 лет со дня свадьбы Д.Ф. и Н.И. Мы были в Журавинке. Папа привез бутылку шампанского — вино французское, дорогое, бутылка пять рублей золотых. Тетя не смогла выпить, стошнило. Она никогда никакого вина в рот не брала.
1910, 20 апреля, 10 1/2 ч. утра — смерть. Пасха была 18 апреля. На Страстной неделе простудился, получил воспаление легких и умер во вторник пасхальной недели... Я впервые был на похоронах. Трогательная музыка похоронных песнопений, перемежавшихся пасхальными напевами, оставила глубокое, потрясающее впечатление. «Благословен еси, Господи...», «Со святыми упокой...», «Вечная память...». <...>

Здесь, в этом хронологическом перечне, я опустил даты рождения и смерти детей. Всего их было 14. И только четверо дожили до старости. Тетя помнила всех по порядку рождения, я от нее когда-то твердо знал, но забыл. Папа в старости не помнил... <...>

23 июня 1969 г., Покровка

РОДНЯ БАБУШКИ

Бабушка Настасья Ивановна Журавлева родилась осенью (именины 29 октября) 1841 года в с. Корневом, умерла в 10 ч. 10 мин. вечера 10 мая 1922 г. в Скопине. Ее отец Иван Петрович Корнев — дьячок церкви в с. Корневом[8]. О его отце, своем деде, бабушка говорила — был священник. И в Помяннике записано: «иерей Петр». Но сама она его не знала. Настя последний и поздний ребенок в семье. Ее мать Елена умерла вскоре, и девочка росла без матери. <...> Иван Петрович <...> умер в июле 1866 г. <...> Два внука сестры

[8] В «Ведомости о числе церковных служителей и их семей» (ГАРО. Ф. 636. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 7) за 1848 г. «руку приложил» «дьячок Иван Петров Корнев».



Анастасия Ивановна Журавлева

Прасковьи, Николай[9] и Иван Виноградовы, старше папы: в годы поездок в Троице-Сергиеву Лавру к дяде Павлу первый из них уже профессор, второй — врач. Думаю: год рождения И.П. 1785–1790.

[9] Виноградов Николай Дмитриевич (1868–1936; похоронен на Новодевичьем, 4-й участок, 9-й ряд) — историк философии, психолог, теоретик педагогики. Окончил Московскую духовную академию и Московский ун-т (историко-филологический и естественный факультеты). Редактор философского отдела «Критического обозрения» (1907–1909). Преподаватель Московских высших женских курсов, в 1919 г. — декан исторического ф-та МПГУ, впоследствии профессор 2-го МГУ. Труд Виноградова об эмпиризме Д. Юма до сих пор не утратил научного значения (переиздан в 2011 г.).

Он был пчеловодом, наследственным, как считала бабушка. Из Корневого несколько ульев-дуплянок, как их у нас еще с корневских времен называли, привезли в 1858 г. в Журавинку в качестве приданого. Среди них громадная колода «Большак», в 1906 г. перевезенная к нам и бывшая с пчелой и в Скопине вплоть до перехода на рамочные ульи. Имя «Большак» дано еще в Корневом.

У нас сохранилась стеклянная чайница на фунт чаю. Ее из Корневого прислал в Журавинку Иван Петрович с медом. Она была чайницей в Журавинке, стояла в шкафу в горнице, переехала с бабушкой в 1910 г. в Скопин, в ней хранили запасной чай. И сейчас она у нас с запасом чая. Да! Вот более ста лет хранится вещь в нашей семье. А ее хозяина давно нет в живых. Нет и людей, его видевших. Образ его ушел навеки. Портрета нет и не было. <...>

По рассказам бабушки, И.П. выделялся большим умом. К нему и прошедшие курс семинарских наук священники приезжали советоваться в трудных случаях жизни. Это качество по наследству от него получили Феофан, Павел, Настасья...

Как жили? Только один факт мне известен: зимой в морозы при надобности Настя бегала к соседям босиком по снегу.

Взрослых детей было восемь человек; шесть сыновей, две дочери. <...>

Сыновья Феофан и Павел начали самостоятельную жизнь монахами. Позже архимандрит Феофан — настоятель Звенигородского Саввы Сторожевского монастыря, архимандрит Павел — наместник Троице-Сергиевой Лавры[10]. <...>

Старшая дочь, Прасковья Ивановна, вышла замуж за чиновника (в Рязани?) Ивана Иваныча Европина. У нее была одна взрослая дочь Мария. Муж Марьи Ивановны, Дмитрий Виноградов, два ее сына — Николай и Иван — постоянные «гости» у архимандрита Павла в Лавре.

Младший брат Григорий категорически отказался учиться. «Хоть убей — учиться не буду!» — заявил он в семье. Человек с характером, как, по-видимому, и вся семья, он сумел настоять на своем. Дети духовенства, не оставшиеся на службе в церкви и непригодные к службе гражданской, например, по неграмотности, должны были приписаться к податному сословию крестьян, мещан, купцов. Григорий Иваныч под фамилией Глебов[11] приписался к крестьянскому обществу в Новико́ве[12]. Эта деревня, по-местному величаемая Винико́во, — сросшийся с Скопиным пригород. Усадьба Глебовых на правом берегу Вёрды, у самой реки, по большой дороге в Журавинку. <...>

Семья занималась огородами, извозом. Солили огурцы, в дубовых бочках опускали на дно Вёрды. Весной, когда огурцы дороги, продавали. Огурцы превосходные, качество обеспечивал способ хранения. В подарок нам, скопинским, осенью привозили капусты, огурцов для заготовки впрок на зиму.

Глебовы занимались извозом. На моей памяти молодые ребята Миша и Гриша в качестве извозчиков стояли с пролетками в



Старое кладбище в Журавинке, 1954 г.

[10] Подробнее о них см. ниже.

[11] Собственно, фамилию Глебов носили и братья Григория — Петр (о. Павел) и Борис (о. Феофан), следовательно, несколько загадочная перемена Корневых на Глебовых не может объясняться ни решением семинарского начальства, ни сменой сословия. Возможно, «Корнев» воспринималось не как фамилия, а как простое указание на место — «люди из Корневого» — и именование Глебовыми воспринималось как акт не перемены фамилии, а ее первоначального присвоения.

[12] Сейчас существует под тем же названием.

Скопине на бирже. Свободные извозчики, ожидая ездоков, стояли обычно около магазина Черкасова. Случалось, и мы брали их съездить в Журавинку.

Возможно, и теперь в Новикове на берегу Вёрды живет их потомство. Впрочем, столько пережито крестьянами за последние 40 лет, что, может, и никого не осталось. <...>

16 июня 1969 г., день моих именин

БАБУШКИНЫ РАССКАЗЫ ИЗ КОРНЕВСКОЙ ЖИЗНИ

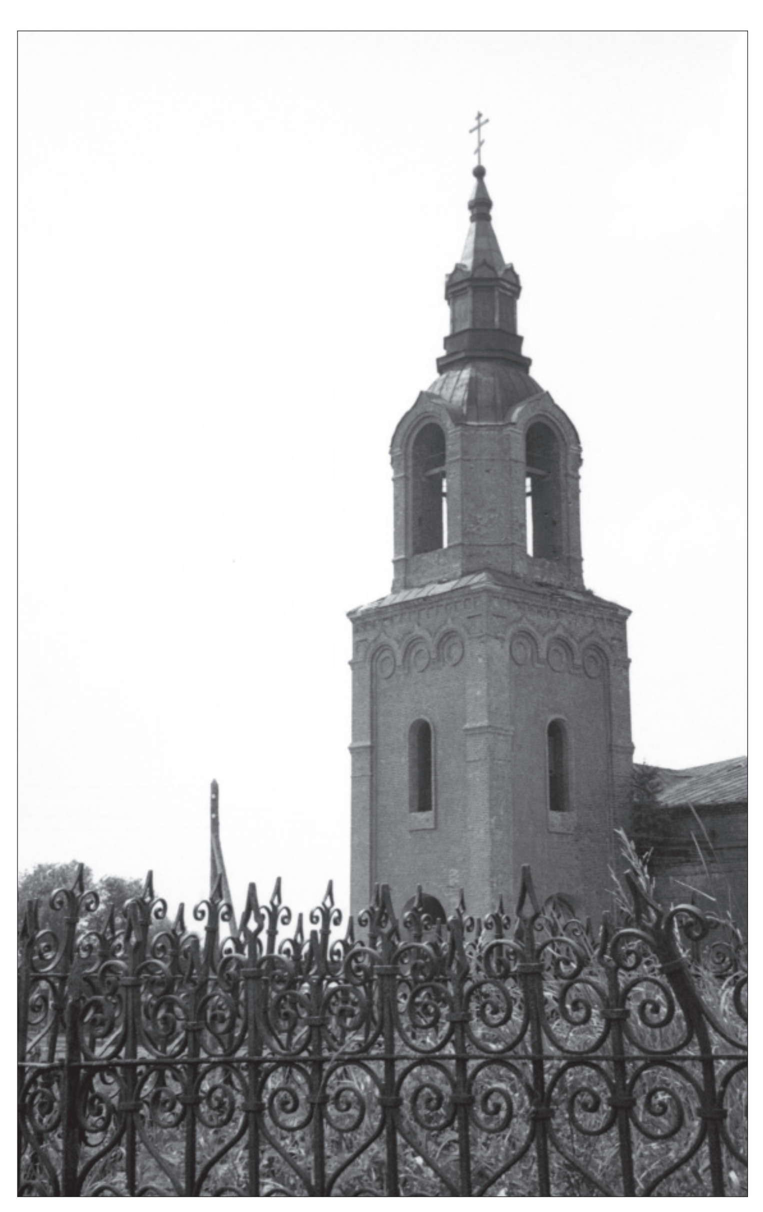
Имярек проснулся ночью, услышав свист. Вышел на улицу и видит: бежит несметное множество крыс, а среди них — старик в белом и на белом коне, едет и насвистывает: он переводил крыс в другое место.

Изымались из обращения медные деньги. Имярек *целый* воз нагрузил медью — обменивали в городе. Так дешевы были эти деньги. <...>

24 нояб. 1969 г.

Глава вторая

Журавинка. Детство Ивана Дмитриевича Журавлева. Духовное училище в Скопине



Колокольня храма Покрова в Журавинке (Лопатино), 1954 г.
Фото Д.И. Журавлева

Журавинка — село Скопинского уезда Рязанской губернии, по «большаку» чрез Новиково — в 5 верстах от города. Волостное правление в Вослебове. В 90-е годы оно называлось Лопатино, Журавинка тож[1]. Теперь только одно имя — Лопатино. Старинное — Журавинка. Бабушка неуверенно говорила: было когда-то два поселка — Журавинка и Лопатино, сросшиеся в одно село — Журавинку. Название Лопатино присвоили ближе к концу XIX в., чтобы не путать с другим большим селом Журавинкой — Ряжского уезда. В нашей семье старинное и родное имя *Журавинка* сохранилось навсегда. <...>

Историю села Журавинка, вероятно, можно было бы узнать по четырехтомному трактату Добролюбова «Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии»[2].

---

[1] Деревня Журавинка при селе Лопатине значится в документах середины XVII в. Считается, что в единое поселение Журавинка и Лопатино срослись к концу XVIII в., название «Лопатино, Журавинка тож» даже в официальных документах иногда появлялось и в довольно поздние годы (см., например, именно такое название в сообщении о награждении камилавкой о. Василия Кобозева: Рязанские епархиальные ведомости. 1913. 15 мая. № 10. С. 365).

[2] О Лопатине-Журавинке там сообщается: «Лопатино, Журавинка тож, находится при р. Вёрде, по правую сторону большой дороги, идущей из Скопина в г. Епифань. В качестве деревни, бывшей в вотчине за боярином Иваном Никитичем Романовым, Лопатино упоминается в списке с Ряжских писцовых книг письма и меры Григорья Киреевского 137 и 138 (1629 и 1630) г., где в нем поименно показано 17 дв. крестьянских. В выписи с Ряжск. переписн. кн. переписи Ивана Румянцева да подьячего Ивана Кондратова 154 (1646) года оно значится уже селом, в котором было крестьянских 62 двора. Находившаяся в том селе церковь по окладн. кн. 1676 г. именуется Покровскою, при ней "церковной пашни было десять четвертей в поле... сенных покосов на тридцать копен"; в приходе, состоявшем из села Лопатина и деревни Журавинки, было "сорок три двора крестьянских, девять дворов бобыльских и всего 53 двора". По новому окладу 1676 г. "дани" с Покровской церкви положено "рубль двенадцать алтын пять денег". На место построенной в XVII ст. и обветшавшей церкви в 1768 г. поставлена была новая деревянная церковь в прежнее наименование, возобновленная в 1825 г. Существующая в настоящее время каменная Покровская церковь с двумя приделами начата постройкою 2 июля 1872 г., за недостатком средств в ней отделан один только придел в честь Сретения Господня, который освящен был в 1879 г. ноября 18. На день Вознесения Господня из Покровской ц. ежегодно совершается крестный ход вокруг полей прихожан, на этот день, по замечанию старожилов, по исстари заведенному



Лопатино, 2014 г. Фото А. Серегина

Село большое — по географии Семенова (том 2, 1902 г.)[3] 2300 жителей. Центр села, но не геометрический, — громадная площадь, покрытая травой и в зеленой части именуемая «па́жа»[4]. На площади единственная в селе церковь. В ней три престола, главный — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, — праздник

обычаю, богомолье вокруг полей совершается во всех селениях Скопинского уезда, принадлежавших некогда к коннозаводской волости. В приходе к Покровской церкви при 352 дв. числится муж. п. 1169, ж. п. 1217. Первоначальное заведение школы в с. Лопатине положено в 1864 г., которая находилась в доме наставника-священника, получавшего за то жалованье от Палаты Госуд. Имуществ. В Покровском причте по штату 1873 г. положены 1 свящ. и 1 псал.» (с. 175–176).

[3] *Семенов В.П.* Россия: Полное географическое описание нашего отечества. Т. 2. СПб., 1902. С. 484. Кстати, здесь село называется Журавинка (Лопатино).

[4] У Даля: «*Тамб., ряз.* пажить, луг или поле, где пасется скот, паства, пастбище; выгон бывает за околицей, и уж всегда вытолочен (откуда *южн.* толока), а пажа, пажить, дальний и кормовой выгон, где обычно скот и ночует».



Площадь и церковь в Журавинке, 1954 г.

1 октября ст. ст. Один из приделов освящен уже на моей еще детской памяти. Причт — трое: священник, дьякон, псаломщик. В церковной ограде густо разросшиеся деревья. У ограды — колодец питьевой воды, помню его еще новым. Рядом с церковью на запад небольшое здание церковно-приходской школы. На моей памяти стояло оно одиноко, без ограды, кругом пусто. Эта единственная школа открыта в 80-е или в начале 90-х годов. На север от церкви «погост» — огороженное старое кладбище, где все наши могилы. Там кирпичная часовня — на месте, где стоял престол старой церкви. На погосте и вокруг него ветлы. Теперь кладбище заброшено, ни часовни, ни ограды, ни дерёв. Лишь кое-где сохранились могилы и кресты. Целы и наши могилы — холмики[5]. Был я около них последний раз 17 сентября 1960 г. Новое кладбище — за селом по дороге на Павелец. Теперь хоронят только на нем.

С северной стороны площади мирская изба — место сельских сходок и пребывания сельских властей, пожарный сарай, кабак «казёнка» — казенная продажа водки, единственная в селе лавчонка Чумихиных.

[5] В 2011 г. это место совершенно заросло бурьяном и различить следы кладбища оказалось невозможно.

От площади идут два основных «порядка»[6], как в Журавинке называли улицы. Один вдоль дороги на Скопин, очень длинный. Бывало, едешь из Скопина по селу в сопровождении лающих собак долго-долго, прежде чем доедешь до площади. Этот порядок приблизительно с юга на север. Второй — с востока на запад, почти параллельно железной дороге. Вечером из вагона долго мелькают огоньки, прежде чем увидишь церковь. Еще два «порядка» мне были известны, но не приходилось проходить их, и не знаю, как они длинны. Все «порядки» имели названия, но я не знал их.

Основная часть усадеб занята под огород. Дворы и избы обычно деревянные, крыты соломой. Печи русские; «по-черному» — с дымоходом посредине избы — на нашей памяти уже не было. <...> Всюду много ракит и вётел. Они давали чуть не основной строительный материал. Были в селе и кирпичные домики, даже крытые железом, но редко.

Кругом села — поля, луга, лесов почти нет. Местность волнистая — отроги Среднерусской возвышенности. С севера и востока село огибает р. Вёрда, берега ее местами болотистые. Селу принадлежали два леса. Один на пути к Скопину по берегу Вёрды — ольховый, небольшой. Второй подальше от села — дубы, березы, осина — стоял на возвышенности, по пути в Павелец. Довольно большой. Миром рубили участки и распределяли среди крестьян. В годы революции ольховый снесли совсем, от второго мало осталось.

Есть под Журавинкой залежи камня известняка. «Ломали» камень и тоже делили. У дедушки на моей памяти всегда пред избой лежала кладка камня — запас. Его перевезли в Скопин на бут при стройке нового дома.

Очень большой вопрос для Журавинки — топливо. Дров нет. Как правило, «кизяков» не делали: навоз шел только на удобрение. Топили соломой, торфом. Добыча торфа велась где-то близ села.

Крестьяне жили только сельским хозяйством. Жили бедно. Своего хлеба многим не хватало. Кустарных промыслов, промышленных предприятий нет. Торговли — лавок, базаров — тоже нет. Всё в близком городе. Впрочем, в наше время была, я уже упоминал, одна небольшая лавчонка Чумихиных (это прозвище) — черствые баранки, ситный из города, сахар, чай, селедки, деготь, соль, керосин (крестьяне его называли *гас* — «купить гаску»)... Но близость города убивала торговлю, да, вероятно, и ремесло, и промыслы: предпочитали за покупками ездить в город — большой выбор, оживленные, многолюдные базары, веселые ярмонки. Поездка в город для крестьян — праздник. Иные заходили в трактир пить чай — дома был не у всех. Иные и водку. Покупали и брали домой как гостинцы ситный, баранки, селедки, летом — арбузы.

[6] Общерязанское слово, обозначающее обычно, собственно, не совсем улицу, а ряд домов, составляющих одну сторону деревенской улицы (см. сайт «Рязанский язык»: <http://rjaz.net/news/porjadok/2011-05-03-2352>); возможно, значение слова варьировалось.

Отхожие промыслы — только один вид широко был принят: уходили на разработки торфа в Московскую, Владимирскую губернии. Подрабатывали поденщиной в Скопине. Уходили молодые люди на заработки и в Москву. Возвращаясь домой на побывку, «радовались»: носили пестрые помочи поверх рубашки, рассказывали, как они по-городски едят на тарелке с ножом и вилкой и, по словам бабушки, *довирались* до того, что будто бы они и кашу в Москве едят вилкой — явная нелепость, с точки зрения бабушки...

Одевались в Журавинке по-крестьянски. У баб панёвы — наряд яркий и живописный... Много кумачу, кумачовые рубашки у ребят, мужиков как праздничные. Овчинные желтые полушубки... Лапти, но встречались сапоги и полусапоги.

ДЕТСТВО ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА

Папа — Иван Дмитриевич Журавлев — родился в Журавинке 16 августа 1874 г. <...>

В 1879 г. в семье семь детей, восьмая — Елизавета уже жила в Павельце в семье мужа. И вот скарлатина за шесть дней унесла четверых: Колю, Саню, Любу и Машу. Ваня тяжело болел, душил нарыв, думали — конец. Но нарыв прорвался и мальчик выжил. Из семи остались трое: Оля, Анюта, Ваня. Все они дожили до старости. С Колей Ваня был дружен; мальчик старше его на три года, уже начал учиться в школе в Павельце. В Журавинке школы тогда не было.

Пусто стало в доме. Я спрашивал бабушку, как она переживала смерть детей. Ее ответ:

— Тяжело было... Но в душе благодарила Бога: что бы с ними делать, всех не вырастить.

Да! Нищета... Как было и пропитать, а вероятно, сказала — воспитать, довести до дела! А дети ее умерли — один шести недель, семь младенцев старше года, два отрока — Коля 8 лет и последняя Катя 14 лет. (Младенец — до 6 лет, отрок, отроковица — от 6 до 16.)

Одна беда не ходит. В 1880 закрыли должность дьякона в Журавинке. Д.Ф. перевели в г. Раненбург. Там он пробыл несколько менее года. Сидели на церковной земле. Жили хозяйством. Доходы по службе — лишь слабая помощь. Переезд семьи в другое место связан с разорением насиженного гнезда, с развалом хозяйства. Ждала полная нищета. Весь год хлопотали о возвращении. Бабушка упрашивала журавинского священника о. Ивана Вышатина помочь согласиться на открытие вновь дьяконской должности, кланяясь ему в ноги: таков был обычай в той среде. В какой-то степени это зависело от священника, и Вышатин помогал. Вернули. Мудрое царское правительство упразднило должности дьяконов в селах в качестве меры борьбы с вопиющим нищенством сельского духовенства. Правдивый рассказ о положении сельского духовенства — у Салтыкова-Щедрина в «Мелочах жизни» (1886–1887) — «Сельский священник».

На всю жизнь осталось впечатление от постройки церкви. Мальчика поразила непомерная, по его представлениям, тяжесть работы: груз кирпичей на спине поднимали рабочие на высоту, казавшуюся столь большой. Когда это было? Журавинскую церковь строили по образцу Николы в Скопине, упрощая архитектуру, уменьшая размеры; а Николу построил банкир Рыков; крах его банка в 1882 г. (см. Чехов А.П. Собр. соч.: в 20 тт. Т. 3)[7]. Думаю — конец 70-х — начало 80-х годов[8]. Освящение одного из приделов было уже в нашем детстве. <...>

[7] У Чехова есть репортаж «Дело Рыкова и комп. (от нашего корреспондента» (1884); кроме того, крах Скопинского банка часто поминается в его юмористических рассказах 1882–1884 гг. («Идиллия — увы и ах!», «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь»).

[8] Точные сведения, указанные И. Добролюбовым, см. выше. Всего престолов в церкви «было три: во имя Покрова Пресвятой Богородицы, во имя Сретения Господня и третий — в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца. На месте разобранного храма была построена часовня» (из исторической справки, составленной о. Максимом Косоруковым, настоятелем храма.

Большое событие — поездки в Скопин. Родители ездили на базар и иногда, похоже, не часто, брали с собой мальчика. Пока они ходили по своим делам, мальчик оставался у лошади. Купили ему воздушный шарик. Торжество! Но подошел кто-то и попросил дать подержать. Взял шарик и выпустил. С тоской смотрел, как улетал. Не мог забыть до глубокой старости. Игрушек не покупали. <...>

Всё это рассказывал папа не один раз. О болезнях — скарлатине, горячке, в другое время сильно сократившей семью, вспоминали и тетя, и бабушка.

Основа воспитания в журавинской семье — послушание и почитание старших. Родителям говорили «вы». Когда куда-либо шли с детьми — родители впереди, дети *обязательно* позади. Бабушке казалось нелепым, что в городе детей всегда пускают впереди, старшие за ними, сзади. Казалось непочтительным. Кстати, парадный костюм мальчика — рубашка, подпоясанная по груди — подмышками... Называли *папаша* и *мамаша*...

Постоянными товарищами по играм, по-видимому, были дети соседа-дьячка. Впрочем, в то время дьячки уже назывались псаломщиками, по-современному. Дети соседа псаломщика Михалыча — Михаила Михайловича Камнева. Он умер приблизительно в 1891 г. Затем псаломщиками были его сыновья Павел, Алексей. На их месте и усадьбе Иван Николаевич Егин приблизительно с 1908 г.[9]

Тетя требовала от нас, чтобы мы ничего про домашние дела не рассказывали посторонним, и в пример приводила папу, когда он был малышом:

— Бывало, спросят его: «Чем вас мать кормила?». А он отвечает: «Ня знаю», — «Что же ты — дурачок, что ли, не знаешь?»

Я очень понимаю вопрос: куча детей и нищета; чем накормить — руки опускались. И хотелось узнать, как выходила из положения умная и хозяйственная соседка... Знаменитое «Не знаю» сохранилось на всю жизнь. Уклоняясь от вопросов, не желая разговаривать, говорил: «Не знаю».

[9] «Исправляющим должность псаломщика» в Покровскую церковь Журавинки И. Егин был назначен в 1906 г. («Рязанские епархиальные ведомости». 1906. 15 июня. № 12), тогда же Алексей Камнев был переведен на место диакона в церковь села Большие Кочуры.

ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ. СКОПИН

16 августа 1833 г. Ване исполнилось 9 лет. А на другой день его отвезли в город — 17-го августа приемный экзамен в приготовительный класс Духовного училища. <...>

Скопинские хозяйки промышляли, как в Скопине и теперь, содержанием у себя учеников как квартирантов-нахлебников. Расплачивались в основном продуктами своего домашнего хозяйства и, конечно, деньгами. Папа жил на квартире на Мяснорядской улице (ныне Лермонтовская) близ дома Суханова. Проверяя, по квартирам ходило разное начальство, надзиратели. <...>

Приезды родителей были праздниками. Привозились знаменитые деревенские пышки, пресные, из ржаной сеяной муки, привозились как запас провизии в распоряжение сынка. Всю жизнь любил папа эти пышки, любил и я. Но с 20-х годов их мы и не видали. <...>

Одним из деятелей, главным по организации училища, был соборный протоиерей Илья Россов[10]. Его дом, около училища[11], стоит до сих пор. Он — дед Виктора Россова, священника Вознесенской церкви в наше время. Новое, современное, здание было заложено летом 1886 г. — папа учился во втором классе. Освящение нового здания — около 1894 г. Сушицкий[12] пишет — священник Стахий Полянский «положил немало трудов для постройки нового здания местного училища и устройства при нем общежития» (стр. 15). Папа учился в старом здании. Оно и теперь стоит рядом с новым. Не знаю, перестроено ли оно после вступления в строй нового. Часть здания — помнится, три окна нижнего этажа с юга — явно более древнего происхождения. В мое время здесь был курятник смотрителя, а в папино — приготовительный класс[13]. Здесь же учился и дедушка Дмитрий Федорыч.

[10] †12.02.1844.

[11] Подробно об истории Скопинского духовного училища, в том числе о его переводе из Раненбурга, см.: *Макарий*, архимандрит. Историко-статистическое описание Рязанской Духовной Семинарии и подведомых ей духовных училищ. Новгород, 1864. С. 109–140.

[12] *Сушицкий И.* Скопин. Краткое историческое исследование. Рязань, 1921.

[13] До недавнего времени в здании располагалось медицинское училище, сейчас возвращено Рязанской епархии. Границы между постройками разного времени отчетливо видны.



Духовное училище в Скопине

Вплоть до закрытия в 1918 г. начальник училища назывался *смотритель*... При папе смотрителем был Пальмин. До него — протоиерей Иван Антизитров (29 авг. 1812 — 6 окт. 1880). Его могила с памятником на скопинском кладбище близ церкви, к востоку, — цела, сбит лишь крест, очевидно в порядке «культурной» революции.

По праздникам учеников к богослужению водили в Собор[14]. Когда учился папа, соборным протоиереем был Андрей Глебов. За ним Стахий Полянский (умер 20 апреля 1911 г.), наш сосед по скопинскому саду и дому. За Стахием — Семен Михайлович Яблонев — вплоть до начала 20-х годов. Последний в соборе. Человек недостойный.

[14] Троицкий; построен в 1806–1833 гг. по плану Будрина; колокольня в 1843–1849 гг., галерея в 1851 г. «Из памятников древности, находящихся в Троицком соборе, достойна особенного внимания древнего письма икона Спасителя, бывшая прежде в Скопинском Троицком монастыре. <...> Ежегодно из Троицкого собора совершается на Духов день крестный ход с иконою Спасителя в Свято-Духов монастырь в память того, что икона некогда принадлежала обители» (*Добролюбов И*. Указ. соч. С. 148).



Могила о. И. Антизитрова, 2015 г.

В Духовном училище папа пробыл шесть лет.

Записная книжка в 1/18 долю листа в самодельном переплете. На первой странице — «Журавлев Иван». Почерк уже сложившийся. В ней переписаны очень мелко записки об уженье рыбы — Аксакова. Любил ловить рыбку удочкой еще с детских лет. На нашей памяти при поездках в Журавинку купался в Вёрде и ловил раков. Рассказывал — засунешь пальцы в нору, он схватит клешней, и тащи! Я поражался: как же? палец отрежет! Любил ловить их, пока жил с родителями. В 30-е годы, когда жил в Москве, продолжил записи в этой книжке, карандашом переписал подмосковные места рыбной ловли. <...> Когда-то она переходила в распоряжение Сережи. Он тоже оставил свои следы.

И вот 1889-й год. 16-го августа исполнилось 15 лет. Начался новый этап в жизни — Рязань, Духовная семинария.

Глава третья

РДС



И.Д. Журавлев во время учения в семинарии

По крайней мере в последние десятилетия в четырех классах духовного училища и четырех классах семинарии проходилась программа классической гимназии с увеличением объема церковных дисциплин. Пятый и шестой классы семинарии — философия и богословие — приблизительно соответствовали двум курсам философского факультета в университетах. Каждый учебный год заканчивался экзаменами, переводными в следующий класс. Экзамены после четвертого класса духовного училища были переводными в семинарию. Никаких особых приемных экзаменов в первый класс семинарии не было. Четыре класса духовного училища давали право занять должность псаломщика, четыре класса семинарии — дьякона, полный курс (шесть классов) — должность священника в селах и провинциальных городах (священник в столицах должен был иметь высшее образование). Выпускники семинарии делились по успеваемости на два разряда. Окончивший курс по первому разряду получал звание «студент семинарии» и имел право поступить в высшее учебное заведение — духовную академию — без приемных экзаменов. Второй разряд такого права не давал. С приемными экзаменами в академию могли поступить все. <...>

В Рязанской семинарии учились и дедушка Дмитрий Федорович, и его отец — Федор Максимыч...

Семинария помещалась в большом здании на Семинарской улице. Имела свою церковь, соединенную коридором с корпусами. Главная улица города — Астраханка — выходит на перекресток: направо — Соборная улица, ведет к Кремлю, налево — Московская, к вокзалам. А прямо — Семинарская, вскоре загибающаяся влево[1]. Улица была более тихой, чем упомянутые главные. Здания целы, с первых лет революции в распоряжении военного ведомства. Были комкурсы. Теперь, говорят, какая-то военная школа[2]. <...> 23 сентября 1969 г. я, Катя и Сева <Всеволод Николаевич Некрасов, муж Анны Ивановны Журавлевой> на «МОТвейке» <«Москвич», вел В.Н.> ехали в Скопин; в одиннадцатом часу пробирались чрез Рязань; улица Каляева, промелькнуло знакомое здание, не успел я сообразить, что это семинария, как уже стояли мы у перекрестка,

---

[1] В постсоветское время Семинарской улице возвращено ее название.

[2] Рязанское десантное училище.



Рязанская духовная семинария

ожидая семафора, чтобы ехать вперед — по улице Ленина. Само собой разумеется — это Астраханка.

Современное здание семинарии построено в 1812–1816 гг. Снимков его в теперешних изданиях нет, думаю — причина в том, что занято оно военным ведомством. Можно лишь прочитать в книжке: «...довольно скучное здание бывшей семинарии (ул. Каляева; 1812–1816 гг.) построено по проекту петербургского архитектора А.А. Михайлова» (*Вагнер К.* Рязань. М.: Изд. «Искусство», 1971. С. 37–38). «Довольно скучное», — пишет веселый Вагнер. А в книге Е. Михайловского и И. Ильенко «Рязань. Касимов» (М.: Изд. «Искусство», 1969) написано: «В 1810-х годах губернским архитектором был Милюков. Им подписан проект тюремного замка города и представлен “роскошный” чертеж для здания семинарии. <...> В первой четверти XIX в. в городе, по-видимому, строил еще один столичный зодчий — Михайлов А.А. (ученик И.Е. Старова). Известны документы, по которым именно Михайлов дал проект для здания Рязанской семинарии (1816). Здесь нет ни портиков, ни ротонд, ни пышных украшений. Но удачные пропорции и смелые приемы обработки фасада, например, противопоставление низкого рустованного цоколя и гладких, высоких стен основного этажа, придают ему черты монументальности, которые присущи столичной архитектуре позднего русского классицизма» (стр. 143, 151). <...>

* * *

Итак, шесть лет: 1889–1895-й. <...>

Ректор семинарии — протоиерей Иван Ксенофонтыч Смирнов[3]. Осенью 1895 г. праздновалось 800-летие Рязани, — он все еще в семинарии. Позже принял монашество и был архиереем <...> в Риге. В 1918–1919 гг. — архиепископ Рязанский и Зарайский. У папы в Помяннике записана дата смерти архиепископа Иоанна — 17 октября 1919 г. «Ксенофонтыч» — звали заочно своего ректора семинаристы. У папы о нем сохранились хорошие воспоминания. Добродушный человек, любовно относившийся к молодежи. Не раз нам в поучение рассказывалось, как он, увидев семинариста, читавшего лежа, внушал ему: читать лежа нельзя — глаза портятся. Но похоже — от повседневной жизни семинаристов ректор был далек.

Основная административная роль принадлежала инспектору — Иван Федорович Перов[4]. Дядя Паша <П. Левитов, брат матери автора> писал нам в письме в 1941 г.: «В марте был бунт в семинарии, а в августе Перова перевели инспектором в Тулу». Речь идет о 1901 г.

21 апр. 1970 г.

Пасмурно, ветер, осенний дождь. Сегодня в Троице-Сергиевой Лавре — похороны патриарха Алексея. <...> С 1906 — архимандрит и ректор Тульской дух. сем. Человек волевой, но мягкий, деликат-

[3] Его послужной список на 1900 г.: «В 1868 г., по окончании в 1867 г. курса учения в СПб. духовной Академии, 6 марта определен преподавателем Св. Писания в Рязанскую духовную семинарию; в 1869 г. утвержден в степени магистра богословия; 1875 г. 3 сентября назначен инспектором Рязанской семинарии; 1883 г. 25 апреля (Рязанские епархиальные ведомости. 1900. 1 октября. № 19. С. 392).

[4] «Рязанские епархиальные ведомости» за 1900 г. сообщают следующий его послужной список: «В 1877 г., по окончании курса учения в Московской духовной Академии, 5 сентября назначен преподавателем словесности и истории литературы в Псковскую семинарию; 12 июля 1878 г. перемещен в Рязанскую семинарию преподавателем литургики и соединенных с нею предметов; с 27 сентября 1878 г. перемещен на должность преподавателя словесности и истории литературы в той же семинарии; в 1882 г. утвержден в степени магистра богословия; 25 апреля 1883 г. назначен инспектором той же семинарии; преподает Св. Писание в V классе. Имеет ордена: св. Станислава 3 и 2 ст., св. Анны 3 и 2 ст., св. Владимира 4 ст.» (Там же. С. 393).

ный в обращении с людьми, высоко интеллигентный, он стремился привить серьезные, гуманные методы воспитания молодежи и встретил противодействие со стороны инспектора Перова. Перова поддерживали извне. Кто?.. Воспитательную работу Перов подменял суммой административных мер и репрессий: основа — устрашение. И вот в 1911 г. архимандрит Алексей переведен тоже ректором в Новгородскую дух. сем. Теперь ясно: этот перевод послужил дальнейшему продвижению Алексея. Но по рассказам пациента Арсения <имеется в виду врач А. Тихомирова, друга автора>, 79-летнего старика, учившегося в то время в Тульской семинарии, впечатление тогда — Перов выжил Алексея.

Рассказ бабушки. В Скопинском уезде был священник, село и имя она называла. Бог не благословил его детьми. Был только один слабый мальчик. Родители берегли и лелеяли малыша, им только и жили. Отдали в Скоп. д. у. Спросит учитель урок — слабосильный мальчик заробеет, молчит. Пороть!.. И опять пороть. Запороли «воспитатели», погиб. В папино время уже не пороли, но метод воспитания — только страх — остался. Папе, пока он учился, это, вероятно, казалось естественным, ибо ничего другого и не знали. И я не слышал от него слова осуждения Перову. <...>

Из учителей семинарии того времени мне известны твердо только три имени: Алфеев, Яхонтов и Сабчаков[5]. И еще вероятный — П.С. Смирнов.

[5] Назовем еще некоторых. Учителем иконописания много лет, в том числе и во время обучения И.Д. Журавлева, был Николай Васильевич Шумов, известный художник, много сделавший для украшения храмов Рязанской епархии (см. о нем кн.: *Сабчаков А.А.* Художник Николай Васильевич Шумов. Рязань, 1915, которую можно посмотреть: <http://artru.info/st/143/>); духовник семинарии — прот. И.А. Солнцев (в РДС с 1885, умер в 1913, некролог: Рязанские епархиальные ведомости. 1913. 1 июня. № 11); учитель церковного пения — Н.Е. Вифляев; словесности и истории русской литературы — вероятно, В.Т. Фортунин, кандидат богословия, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии; математики — И.А. Кирьяков, окончивший физико-математический факультет Киевского университета со степенью кандидата; латинского языка — А.Д. Ряжский, выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия, или С.А. Попов; догматического, основного и нравственного богословия — Николай Васильевич Смирягин (1846–1916), выпускник Московской духовной академии, в 1870–1886 гг. преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, магистр богословия, философ; в РДС перешел в 1886 г.; его любимым учеником был выпускник и преподаватель Рязанской семинарии, выдающийся психолог Н.Д. Левитов (некролог: Рязанские епархиальные ведомости. 1916. 1–15 июля. № 313–14); истории и обличения русского раскола и сектантства и обличительного богословия — возможно, П.П. Добромыслов, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия; общей церковной истории — А.Ф. Карашев, выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия; гомилетики и соединенных с нею предметов — Александр Полетаев (ведомость жалованья за 1896 г.: ГАРО. Ф. 1280. Оп. 1. Ед. хр. 646).

Протоиерей Павел Иванович Алфеев[6] — знаменитый ученый богослов, человек большого ума и знаний, вполне владевший английским, немецким, французским, латинским, древнегреческим, древнееврейским, санскритом и уж не знаю еще какими языками. Живя в Рязани на скромной должности преподавателя семинарии, он был в курсе мировой философской и богословской литературы. Конечно, не мог он пройти мимо и богословских упражнений Льва Толстого. В «Мис-



Павел Иванович Алфеев

[6] Во время обучения И.Д. Журавлева, судя по ведомости выплаты жалованья за 1896 г., преподавал Св. Писание и языки, например, французский.

В 1871 г. окончил Киевскую духовную академию (кандидат богословия), недолго преподавал в Курской, а уже с 1872 г. в Рязанской семинарии; с 1875 г. священник при больничной Александро-Невской церкви; с 1892 г. протоиерей, с 1893 священник Архангельской церкви при исправительном арестантском доме. Активно печатался как богослов и библеист (например, в 1910-х — в «Рязанских епархиальных ведомостях», членом редколлегии которых он был); некоторые работы Алфеева переизданы в последнее время.

сионерском сборнике» (Рязань, 1909. Январь – апрель. № 1–2) его статья: «“Краткое изложение Евангелия” и “Соединение и перевод четырех Евангелий” графа Л.Н. Толстого». Один семинарист послал номер Толстому. Тот ответил в весьма субъективном плане. См. об этом соч. Толстого, том 79, стр. 160[7]. У нас есть некоторые книги Алфеева, изданные в Рязани. Часть купил папа, часть я по его поручению[8].

В мое время о. Павел, глубокий старик, в Рязанской семинарии преподавал древнееврейский и французский. Я его видел всегда в толпе ребят. В моем классе, епархиальном, к сожалению, был другой «француз», понимавший только по-русски. В годы первой войны в Рязань перевели Литовскую духовную семинарию из Вильны. В ней два года учился Арсений. Там состав преподавателей был несравнимо сильнее Рязанской. Алфеев в основном преподавал там.

Семинаристы задавали обычный «ехидный» вопрос: как это — свет создан в первый день, а светила только в четвертый? Большинство законоучителей отвечало грубым окриком, двойкой и проч. А Алфеев хвалил спрашивавшего за то, что он думает, а не просто заучивает, и объяснял электромагнитную природу света.

Один из семинаристов Литовской застрелился. Самоубийцу нельзя хоронить по церковному обряду. В результате и без того тяжелые переживания молодежи переходили в тоску, а дальше недоверие к беспощадному «закону». Алфеев нарушил правило — похоронил по христианскому обряду, сказав поднявшее дух молодежи

[7] Здесь приводится письмо Л.Н. Толстого Всеволоду Смирнову от 15 апреля 1909 г., где сказано: «...Статьи эти не касаются моего понимания христианского учения, а говорят только о моем отрицании тех положений церковной веры, которые, по моему мнению, мешают истинному пониманию христианского учения. Сущность же моего религиозного учения никак не в отрицании церковных догматов, которых я очень рад бы был не касаться, если бы эти догматы не скрывали истинное учение Христа, а в положительной стороне христианства, отвечающей требования моей души (думаю, и души всякого человека), и потому статьи, которые вы мне прислали, не представляют для меня, да и не могут представлять для всякого человека, серьезно относящегося к вопросам веры, никакого интереса».

[8] В домашней библиотеке сохранилось: *Алфеев П.И.*, прот. От Гефсимании до Голгофы. Рязань., 1916. Ч. 1, 2.

поучение. Но сам он пострадал — на 6 месяцев его лишили права совершать церковные службы. Это действительно любовь.

Любили и его ребята — «папаша». Любовно, как к своим детям, относился он к молодежи. Он учил и их отцов, а у иных, быть может, и дедов. Это не редкость в семинарии — в детях старый учитель узнавал их отцов, своих учеников когда-то.

Такого человека нельзя не заметить. И вот его судьба. В первые годы революции он был у сына-священника в Касимове или Касимовском уезде. Во время обедни к нему пришли. Он упросил дать ему закончить. Согласились. Отслужив литургию, он вышел и здесь же убит. Не знаю, в чем формально его обвинили. Возраст расстрелянного — 82 года[9].

Степан Дмитрич Яхонтов (1853–1942) — учитель истории, известный рязанский краевед[10]. <...>

[9] В современных биографических справках даются несколько иные сведения: П.И. Алфеев родился в 1846 г., расстрелян в 1918 г., т.е. 72 лет. Обстоятельства гибели описываются так: «Осенью 1918 г. в с. Санском Спасского у. Рязанской губ. поднялось крестьянское восстание против большевиков. О. Павел был в это время в своем родном селе Дегтяном, соседнем с Санским. Крестьяне упросили его отслужить молебен на “начало дела”. Он их благословил, но сам не участвовал. Когда восстание было подавлено, он был схвачен вместе с прочими и расстрелян. Его отвели вместе с другими к опушке леса. Здесь он помолился и, став на колени, воскликнул: “Господи, в руки Твои предаю дух мой!”» (*Синельникова Т.П.* Жизнеописание священномученика Павла Дегтянского (Рязанская обл.). Машинопись. Свято-Тихоновский институт). А.А. Беляков описывает это немного иначе: «Одним из первых мученическую кончину претерпел протоиерей Павел Алфеев, известный рязанский проповедник и богослов, автор нескольких известных трактатов. Уже выйдя на пенсию, он в столь неспокойное время перевелся из Рязани в родное село Дегтяное Спасского района. Там он и был арестован, после того как сельский народ поднял против большевистской власти восстания. Как это было в те времена, в село пришел карательный отряд. Его командиру донесли всё в подробностях, не забыли и о напутственном молебне. Отец Павел молебен не служил (в селе кроме него был еще один священник), но в число арестованных попал. После чего и был лишен жизни со всеми остальными. По словам человека, чудом спасшегося от смерти во время расстрела, батюшка принял все со смирением. Перед взводом затвора винтовки, он перекрестился и произнес слова молитвы» (Очерк по новой истории Рязанской епархии (История гонений в XX веке). <http://kitovo-tc.narod.ru/Belyakov_AA.htm>).

[10] Выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия, преподавал в Рязанской семинарии с 1883 г. гражданскую историю.

Александр Николаевич Сабчаков[11] — учитель по теории словесности и литературе. Фамилию я слышал от папы не раз. Но только сегодня (2 апреля 1976) узнал, что у него же в 1916–18 гг. учился и Арсений в Литовской семинарии, и до сознания дошло, что о нем следует вписать здесь. <...> Только в марте этого года из книжки Успенского <«Слово о словах»[12]> я узнал, что «ять» и «есть» в XVIII, XIX вв., да и в наше время произносится несколько по-разному (О. Садовская писала неграмотно, но не ошибалась в «яти»). Сказал Арсению. И он вспомнил, что Сабчаков говорил им об этом. Даже примеры вспомнил. Учитель знал не только официальный учебник. <...>

Петр С. Смирнов — автор книги «История русского раскола старообрядства» (Рязань: Типография В.О. Тарасова, 1893). Это солидный ученый трактат, дано 1574 литературных ссылки. Автор, однако, оставляет открытым вопрос, почему же так жестоко, бесчеловечно преследовали старообрядцев. Послесловие подписано: «1892 года августа 27. Преподаватель Рязанской духовной семинарии Петр Смирнов». Думаю поэтому — он был учителем и у папы. Это единственный учебник, сохранившийся от семинарии. Карандашом помечены билеты; пред некоторыми параграфами знак минус, очевидно — надо выпустить. На стр. 217 про § 45 надпись: «Д.С.П. пройдено в V кл.». Несколько заметок на полях частично обрезаны при переплете. Очевидно, книгу переплел Севастьян уже в Скопине.

Папа перешел из СДУ в РДС в 1889 г., и, очевидно, начало занятий 1 сентября. От Журавинки до Скопина 5 верст по большой дороге. А от Рязани надо ехать из Скопина поездом 165 верст, да еще с пересадкой в Ряжске (Скопин — Ряжск 51 км, Ряжск — Рязань 115 км, всего 166 км). Готовились. Приобрели папе тяжелый сундук из 18 мм досок. Размер снаружи 16 × 10, высота 8 вершков (71,5 × 45 и 35 см). На крышке внутри надпись папиной рукой:

Съ 18 авг. 1889 года
И.Д.Ж.

Сундук из Скопина приехал в Москву. Пережил папу. Но изъеден червями и оставлен в 1963 г. в Кратове — сжечь. Я вырезал лишь дощечку с надписью, пропитал ее парафином. Она в письменном столе в саду.

Перед отъездом новоиспеченного семинариста позвал к себе журавинский священник Иван Вышатин, напутствовал и вручил двугривенный (20 коп.). Всю жизнь помнил папа это доброе дело. И сам в свое время сделал то же Сереже Нарциссову, Александру Андросову. <...>

Сохранилась записная книжка в переплете, похожем на самодельный, в 1/8 долю листа, 190 пронумерованных папой страниц. На первом листе надпись:

Памятная книга
На 1889-й, 90-й г.
Собственность воспитанника
Рязанской Духовной Семинарии
1го параллельного класса
Ивана Журавлева
1890 г. 1891 г.
21 янв. 22 янв.
II норм.класс

В эту книжку вложены несколько несшитых тетрадок 1/8 долю листа.

В Рязани папа жил в общежитии. Оно помещалось в семинарском корпусе.

— Гриша! Пуща-а-ай! — кричали водопроводчику семинаристы, пробуя молодые голоса. Он давал воду в умывальники. Много раз вспоминал папа это «Гриша, пущай» и прежде и на дачах в Под-

[11] Сын священника (род. в 1862 г., Ряжский уезд, с. Покровское), выпускник Московской духовной академии.

Получив некоторую известность действительно именно как преподаватель теории и истории литературы в Рязанской семинарии и Рязанском епархиальном училище, Александр Николаевич в годы обучения И.Д. Журавлева в семинарии, однако, был там сначала сверхштатным преподавателем Св. Писания (в 1888–1892 гг.), а с 1892 г. читал русскую церковную и библейскую историю (Рязанские епархиальные ведомости. 1900. 1 октября. № 19).

Уволен со службы 18 авг. 1914 г. (Рязанские епархиальные ведомости. 1914. 15 декабря. № 24).

[12] *Успенский Л.В.* Слово о словах. Л., 1971.

московье, когда имели дело с водой. Еще эпизод с дежурством старших семинаристов на кухне — смотреть, чтоб не воровали. Повар, управившись с делами, заявил папе: «Ну, а теперь я тебя угощу!» — отрезал громадный кусок мяса, сам, конечно, присоединился и помог все уписать.

Обед и прочее — в семинарской столовой. Но чайное хозяйство вели свое. Сохранился папин семинарский чайник для заварки чая на 300 см^3, с приделанным свинцовым кольцом. Папа всегда с особым чувством пил из него. В Москве приходилось случайно, когда большой бывал разбит. В «Памятной книге» на стр. 149 крупно синим карандашом написано: «На память руку приложил твой хозяин Н. Молчанов. *Смотри не ругайся*» (вероятно, написано около 1894 г.). Хозяин — отнюдь не в смысле командир. Папа не был способен кому-либо подчиняться. Молчанов — его приятель. Очевидно, вместе вели «хозяйство» в общежитии — завтраки, чаепития... Хозяйничать предоставлялось Молчанову. <...>

Свои расходы папа записывал в маленькую (1/18 доля листа) книжку. Учитывалось все до копейки. Почему-то книжка перешла в мое распоряжение в качестве игрушки. Осталась в Скопине.

В семинарии каждому воспитаннику первого класса бесплатно выдавалась Библия на славянском языке. Папа хранил ее вплоть до переезда в Москву. Но привез сюда мою. Почему не свою? — спросил я. Думал он, что для меня столь же памятна моя, и хотел сделать мне приятное. Но было наоборот — папину Сережа и я помнили с самого раннего детства, смотрели на надпись «Воспитаннику», на печать и подписи начальства, открывали страницы, еще не умея читать: «Папина! Выдали в семинарии!». И это было полно особого значения. А моя? Пробуждалась мысль. Так хотелось знать. Учителя — Федотьев, Богородицкий — говорили, что здесь, в Скопине, только подготовка, самая наука — в Рязани. Но семинарию я застал в полном развале. Ректор — некий прот. Казанский — человек недалекий, но имевший большие связи, им обязанный своим положением. Здание занято под госпиталь, что очень характеризует истинное отношение царского правительства к делам церкви: помещения в Рязани можно было найти и другие. Учебный год — только четыре месяца. За два года (1916–17 и 1917–18) только один заслуживающий имени учителя — Николай Дмитрич Левитов, позже профессор

Московского университета[13]. Он — двоюродный брат нашей мамы. А прочие? Математик получил образование в Духовной академии и сам не знал математики. По геометрии мы учили теоремы *без доказательств*. Имея «5», я так и не понял у него, что за штука алгебра, и основные уроки алгебры дала мне Катя <сестра>. Мои воспоминания в Рязани — разочарование, тоска не оправданных надежд. Не знаю, как это получилось, что я попал в Рязанскую семинарию, большинство скопинских были в Литовской. Со мной в одном классе, епархиальном, из Скопина никого не было, в нормальном были учившиеся на казенный счет Смарагдов, Зверев (обычно это сироты или дети беднейшего духовенства, способные крестьяне). <...>

О занятиях, круге интересов я могу написать только по «памятной книге» и вложенным в нее тетрадочкам. Вот содержание первой из них. <...>

Темы

По литературе

1) Патриархальность военного быта в прошлом столетии по повести Пушкина «Капитанская дочка».

По Свящ. Писанию

Объяснить ст. 2–11 5 гл. кн. Иисуса Навина.

По Гражданской истории

1) Усиление торговли и мореходства в Западной Европе с Крестовых походов.

2) За что Карл Великий назван Великим.

По Свящ. Писанию

Обет Иеффая.

По литературе

Раскрыть смысл сатиры Лермонтова: «Дума» и указать свойства, по которым эта сатира называется «серьезной».

---

[13] Николай Дмитриевич Левитов (17.04.1890 — 17.02.1972, похоронен на 21-м участке Ваганьковского кладбища), впоследствии знаменитый психолог, основатель научной школы, после окончания Санкт-Петербургской духовной академии (кандидат богословия) с 1914 г. и вплоть до закрытия Рязанской семинарии в 1918 г. преподавал в ней «словесность», историю литературы и французский язык (см.: ГАРО. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 697, 698, 699; в часто воспроизводящихся биографических справках о Н.Д. Левитове эта часть его жизни не упоминается). В «Рязанских епархиальных ведомостях» 1910-х годов есть его публикации.

Книги, прочитанные мною во время года
За 1890–91-й г. «Басурман» Лажечникова, II т. Пушкина, «Скобелев» Домченко, I т. Никитина, «Семейство Шелонских» Тур, «Катакомбы» Тур, 6 т. Островского, Андерсена, II т. Гоголя, «Касимовская невеста» Соловьева, Родник 6–10, Лажечникова 1–4 («Ледяной дом»), «Чекстер» Ж. Верна, Костомарова (Из отечественной ист.), Бичер Стоу, басни Крылова, Русская История Соловьева.

Темы по литературе
Раскрыть смысл басни Крылова «Пруд и река».

По Библейской Истории
1) Значение заветов, заключаемых Богом с Авраамом.
2) Заслуги Самуила для еврейского народа.

По литературе
Один ли внешний мир изображается в эпической поэзии?

По Гражданской Истории
1) Основание государств и распространение христианства у славян VIII, IX, X вв.
2) Что условило возможность завоевать Русь татарами?
3) Владимир Мономах и Людовик (IX) Святой. <...>

Это — второй класс. А в пятом папа подписался на журнал «Нива». Издатель Маркс впервые по совету Сытина (смотри его книгу[14]) стал «бесплатно» прилагать к журналу полные собрания сочинений известных писателей. В 1894 г. — первые шесть томов Достоевского. Получал на почте — «до востребования». Кстати, в семинарии Достоевский тогда —запрещенный писатель[15].

---

[14] *Сытин И.Д.* Жизнь для книги. М., 1962.

[15] Собственно, запрещен Достоевский, конечно, не был. Возможно, что в годы учения И.Д. Журавлева некоторые члены администрации семинарии (например, все тот же Перов) могли не скрывать своего неодобрительного отношения к позднему Достоевскому, например, к «Братьям Карамазовым» (как известно, мнения духовных лиц о романе разделились). Судя по тому, что закупали в библиотеку семинарии, например, в конце 1890-х годов, Достоевский (вместе с Толстым) и на самом деле был несколько «дискриминирован» по сравнению с другими русскими классиками: если творчество Тургенева, Островского, Лермонтова, Гончарова, Лескова и других было представлено в студенческой библиотеке семинарии полными собраниями сочинений, то Толстого и Достоевского в библиотеку закупали только заведомо «безопасные» вещи: Толстого — «Севастопольские рассказы», Достоевского — «Мужик Марей», «Мальчик у Христа на елке» (и другие произведения, которые могли печататься как предназначенные для «школьного возраста»), «Бедные люди» (см., например, Журналы заседаний педагогических собраний правления семинарии за 1897 г.: ГАРО. Ф. 1280. Оп. 1. Ед. хр. 646). Однако уже в 1900–1910-х годах, судя по «Рязанским епархиальным ведомостям», в редколлегию которых входили преподаватели семинарии, Достоевский имел устойчивую репутацию писателя православного и патриотического (см., например, характерное название публичной лекции А.Н. Сабчакова: «Вечно-славной памяти Ф.М. Достоевского как истинного сына Православной церкви Христовой и пламенного проповедника гуманности и самоотверженной любви ко всем угнетенным, униженным и оскорбленным» (произнесена 30 янв. 1911 г. в 30-летнюю годовщину со дня смерти писателя).

Литературу учили, кончая Гоголем[16].

---

[16] Хотя, судя по опубликованной официальной программе духовных семинарий (Программы и устав православных духовных семинарий / сост. Горбунов. М., 1890), действительно предусматривалось изучение новой литературы до Гоголя включительно (последняя фраза программы по истории литературы: «Взгляд на состояние литературы после Гоголя» (с. 63), есть много свидетельств того, что по крайней мере в Рязанской семинарии программа была гораздо более широкой и разнообразной. Не только в библиотеку Рязанской семинарии, но и в библиотеки уездных духовных училищ, как видно из официальных бумаг (Журналы заседаний. за 1897 г. Л. 3 и далее) регулярно выписывались и книги разных авторов вплоть до Чехова (в том числе Тургенев, Гончаров, Островский — в формате полного собрания сочинений). Литературные вечера, которые устраивал А.Н. Сабчаков в семинарии и Рязанском женском епархиальном училище, включавшие чтение студенческих докладов и проч., судя по их темам (см. кн.: Четверть века на службе родной семинарии (К 25-летию службы преподавателя А.Н. Сабчакова в Рязанской Духовной Семинарии. Рязань, 1913)), также поощряли знакомство учащихся с литературой за пределами строго обязательного перечня текстов. Наконец, темы сочинений, предлагавшиеся в семинарии, тоже отнюдь не ограничиваются Гоголем (см., например: «Сравнительная характеристика Хоря и Калиныча»; «Черты купеческого быта по комедии Островского “Свои люди — сочтемся”»; «Обломов, отец его и мать»; «Быт народа по песням Кольцова»; «Характеристика Эдипа по произведению Софокла “Эдип в Колоне”» — Журналы заседаний... за 1897 г. Л. 8) Резкое суждение Дмитрия Ивановича связано, скорее всего, не с конкретными впечатлениями от Рязанской семинарии, а с тем, что от своих родных, и прежде всего от дяди Павла Васильевича, он наверняка мог слышать рассуждения о необходимости изменить принципы преподавания литературы в духовной школе. Когда в середине 1900-х годов началось публичное обсуждение реформы духовной школы, Павел Васильевич писал именно о том, что история светской литературы и даже журналистики должна быть одним из основных предметов для будущих священников (О расширении курса ли-

В каком же невежестве царское правительство держало духовенство! Выходя из семинарии, молодые люди, вскоре пастыри стада Христова, знали службу, обряды, по способностям — церковное пение, церковную историю, да и то русской церкви во времена императоров в искаженном виде. Но не ведали, чем духовно живет это стадо; не знали общественной жизни страны, духовной культуры.

Впрочем, в подобном же невежестве держалось и офицерство.

Современному развитию атеизма мы обязаны «православным» государям императорам и их сподвижникам. <...>

«Памятная книга на 1889-й, 90-й г.» прослужила всю семинарию и даже больше. В ней записаны стихотворения, песни, с нотами по цифровой системе и без нот. Открывается книжка Лермонтовым — «Тростник»[17]. Много стихотворений, особенно в последние годы, Некрасова, любимого папина поэта[18]. Даже портрет его вложен; вырезан из газеты. Между прочим, есть знаменитая студенческая песня «Gaudeamus igitur». Записана и песня рязанского семинариста. Прилагаю ее здесь.

Песнь семинариста

Большой дорогой из Рязани
Тащился тощий порожняк,
Семинарист, уткнувшись в сани,
Домой тащился кое-как.

тературы в духовных семинариях // Левитов П. Об открытии доступа в духовные академии семинаристам, окончившим курс по второму разряду, и другие статьи. Екатеринослав, 1906).

[17] Одно из самых популярных стихотворений Лермонтова: фольклористы фиксируют его бытование в качестве народной песни (за указание благодарим М.Ю. Степину).

[18] Кстати, судя по некоторым свидетельствам (например, семейным воспоминаниям или сравнительной частоте цитирования в тех же «Рязанских епархиальных ведомостях»), Некрасова в духовенстве любили многие (за указание благодарим Ю.В. Лебедева). Одно из объяснений того, почему Некрасов «близок и дорог» духовенству, между прочим, предлагал в своей публичной лекции о Некрасове учитель И.Д. Журавлева, А.Н. Сабчаков, с благодарностью вспоминавший главу «Поп» в «Кому на Руси...» и Гришу Добросклонова (В духовной семинарии (Юбилейный вечер в честь С.Я. Надсона и Н.А. Некрасова) // Рязанские епархиальные ведомости. 1913. 1 апреля. № 7. С. 305–308).

В худом тулупе, не в шинели,
Он едет, едет в дальний путь.
Трещит башка его с похмелья,
И от махорки ноет грудь.

Карман с умом его в разладе,
И дома не в чем уж блеснуть:
Визитка новая в закладе,
И сюртуку указан путь.

Какой-то Плюшкин за полтинник
В прокат бекешу ему дал...
Кляня несчастную судьбину,
Он так дорогою мечтал:

«Рязань, Рязань, приют постылый!
Теперь мне больше свет не мил.
Ах, сколько жизни я и силы
В твоих объятьях положил!

«Лет десять с лишком проучился,
Любил с товарищем кутнуть;
С нуждой и горем я сроднился.
Но сладко будет отдохнуть.

Бывал — последнюю копейку
Отец с слезой тебе дает,
А сам с несчастною семьею
Глубокой чашей горе пьет.

Схвативши пачку ассигнаций,
В Рязань на пегонькой катишь;
Проехав семь иль восемь станций,
В Рязань под вечер прикатишь;

Спешишь запить свою досаду,
Где был отрадный медный крант...

В свои веселые объятья
Кабак с харчевней тебя ждут,
Трактиры все, как свои братья,
За первый стол тебя зовут.

И вот закутишь что есть силы
С утра до полночи глухой;
Не взвидят света ясны очи.
И все пропьешь с себя долой!»

(*записано в стенах Рязанской семинарии в 1891 г.*)[19]

В тексте расставлены даты. Последняя 1896 г. Семинария окончена, но еще ведутся записи. В Петропавловске <в эвакуации в Казахстане> я приносил русские песни из большой серии Библиотеки Поэта. С интересом папа читал ее, находил знакомые в молодые годы песни, переписал «Смерть Ермака» Рылеева, «Фома кузнец» Ершова. Приехав в Москву, вложил в эту свою книжку. <...>

В доме Брежнева в зале на стене от прихожей висела громадная рама, под стеклом — этот картон, фото выпуска РДС 1895 г. С каким вниманием мы, малыши, рассматривали все фигурки — папины товарищи! И центром, конечно, был *папа* в необычном для нас виде. Знали карточку Молчанова, папина друга, как нам говорили. Все остальные для нас — безымянные: фамилии не были подписаны. В своем доме рама висела на том же месте — в зале, стена от прихожей.

Переезжая в Москву[20], папа отодрал снимки, сохранил Ксенофонтыча, Перова, себя, виды зданий — все это выцвело, — а прочие сжег. Зачем? — спросил я и не получил ответа. Было мне жаль тогда, жаль и теперь. <...>

Семинаристы тогда в обращении к товарищу именовали его «барин». Еще в мое время это «барин» иногда слышалось. О.В. Кобозев любил применить это обращение к нам, когда мы — я и его сын — были семинаристами.

---

[19] Один из вариантов этой песни опубликован: Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. 10. 1908.

[20] О событиях 1931 г. см. финальный фрагмент воспоминаний.

Глава четвертая

Последние годы в Журавинке



В саду Журавлевых в Журавинке, 1896 г. Фото М.Н. Кормильцева. Сидят (слева направо) Д.Ф. Журавлев, А.И. Журавлева, Катя Журавлева. Стоит И.Д. Журавлев

УЧИТЕЛЬ

Семинария окончена. Домой, в Журавинку. Заботы о месте. Моложе 25 лет в духовный сан не посвящали. Чтобы получить место священника, надо было поработать учителем церковно-приходской школы. Положение о церковно-приходских школах издано 13 июня 1884 г., и с этого года их открывали во многих селах. Кадры учителей — в основном семинаристы и епархиалки, реже — духовенство. Окончив семинарию в июне-июле 1895 г., только через год папа «Скопинским отделением Рязанского Епархиального училищного Совета назначен учителем церковно-приходской школы села Лопатина. 18 августа 1896 г. по 15 авг. 1899 г.» (из послужного списка).

Почему год дома? Не знаю. Думаю — в своем селе не было места, только обещали; ехать в другие — сложно экономически.

Мало что могу написать о работе учителем. Когда открыта школа в Журавинке, Лопатино тож? — Знаю лишь — после 1884 г. Школа помещалась в маленьком доме близ входа в церковь. Вокруг — ни двора, ни сада, никаких жилых изб. Хорошо была знакома нам, ребятишкам, но только снаружи: «Здесь папа учил». Когда я был в Журавинке в 1954 г., она стояла, кажется, заброшенная. Быть может, она есть на моих снимках в мелком плане.

Но подойти к ней я не мог — около грузили зерно, в церкви — склад, стояла машина приехавшего из района. И не следовало привлекать к себе с фотоаппаратом внимание столь высокого начальства.

Один учитель занимался одновременно со всеми классами. Среди учеников — Михаил Васильевич Лохов, сын папиной двоюродной сестры, прошедший курс наук под его руководством. Выработался писарский почерк. Его письма нам в 50–60-е годы хранятся. Нравятся мне краткостью и выразительностью. Право, есть чему поучиться у него пишущей братии. Окончил с похвальной грамотой. Был рад. Но в глубине души до старости считал — не заслужил ее. Похвальные грамоты в церковно-приходских школах раздавали щедро. Они нравились крестьянам. Это было важно. Выплачивали жалованье учителю, а на содержание школы, часто даже на постройку, отпускали ничтожные средства. Бесплатным заведующим обязан быть местный священник. Он и обеспечивал все необходи-





Медаль за труды по переписи населения 1897 г.

мое у помещиков, местных богатеев, крестьянского мира... Это еще одна иллюстрация к положению духовенства в царской России. Прогрессивная общественность страны считала распространение церковно-приходских школ мероприятием реакционным, захватом клиром воспитания молодежи в свои руки. Пожалуй, верхи власти этого и хотели. Но практически для государства — это самые дешевые школы, для духовенства — неоплачиваемая, многим тягостная нагрузка. А общеобразовательные программы одинаковы с министерскими школами.

Учителем пения, конечно, бесплатно, был дедушка Д.Ф.

В 1897 г. в Рязани провели перепись всего населения. Папа работал переписчиком. Ему выдали портфель и чернильницу. Портфель на нашей памяти служил для хранения писчей бумаги; черный, бумажный с коленкором, он и без носки сам собою развалился. Чернильницу, металлическая коробочка, папа хранил в письменном столе, — без чернил она вся проржавела и сама собою развалилась. За работу полагалось получить или деньги — мало, или медаль. Папа предпочел медаль. Вот она предо мною: темная, медная, кругом вензеля Николая II надпись: «Первая всеобщая перепись населения». На обороте: «За труды по первой всеобщей переписи населения. 1897».

До смерти дедушки землю в поле обрабатывал исполу Михаил Маркин. Когда начали сдавать? Во всяком случае, в конце 90-х годов Михаил Маркин в семье был близким человеком. Исполу — значит, всю работу выполнял Михаил, семена, навоз — хозяина, а урожай делили поровну: ему половина. Своего хлеба крестьянам в Журавинке на год не хватало. <...> Его фамилия Назаркин, Маркин — прозвище, не помню точно — кажется, по отцу. Он умер 23 января 1926 г.

Не знаю, с какого времени держали работника — парня. Звали его обычно малый, Ы произносилось ближе к А, чем к чистому Ы. С родителями заключали договор, и им платили деньги, а парень, лет 16, переходил в нанявшую его семью на полное иждивение. Работа всякая, по поручениям. Когда приезжали мы, ребятишки, его приставляли к нам; обычно было интересно. Впрочем, иногда для этой цели посылали за Яшей Лоховым.

Помогал основной хозяйке — бабушке во всем: принести воды, вынести помои, дать корм скотине и проч. Любили эти «малые» бабушку: хорошо кормила, заботилась как о родном.

Домашнее хозяйство — корова, овцы, свиньи, гуси, куры — полностью на бабушке. Когда-то были и лошади. Думаю — не стали держать, как только начали сдавать землю исполу. Любила бабушка разводить свиней, был хороший завод, поросят у нее покупали на́племя, выручали хорошие по их масштабам деньги. Когда-то в 90-е годы завели цесарок (называли «цыцарки»).

Очень они нравились папе. Одно яйцо он сохранил. Мы помним его с ранних лет. Оно и сейчас у нас. Но цесарки не оправдали себя экономически, да еще забота — летали по верхам.

Кухня — на бабушке. Готовилось не только себе, но и скотине. Хлеб тоже всегда пекли сами. Правда, иногда крестьяне платили хлебом за требы. Но обычно это бывало по праздникам, и хлеб в избытке заваливался и шел скотине. Всегда свой белый квас.

Около дома — огород. Сзади примерно четверть огорода отсекал ручей. На части огорода дедушка развел сад, посадив яблони зернами, и не прививал. Черемуха, вишни... Сад знаком нам. Яблони несортовые. Помню — «высокая», росла как дерево, много выше обычных яблонь, отсюда название. По словам тети — вкусные яблоки. Еще одна запомнилась: росла как привитые, яблоки крупные, размер боровинки, кругом сплошь красные; красивы, по вкусу мне не нравились... Тетя всегда с восторгом рассказывала про сад, увлекалась черемухой. Вишни в деревне глотали с косточкой. Боюсь, и черемуху тетя — с косточкой... По возрасту дерёв я определяю посадку яблонь не позже начала 80-х годов. Быть может, и раньше, по возрасту черемухи — 70-е годы. По-видимому, папа, или с его участием, в 90-е годы купили привитые яблони. Они плохо росли.

Позже их пересадили в наш скопинский сад. Только две стали расти — терентьевка и «кудрявая», остальные чахли, да и сорта плохие, не стоило пересаживать.

Сад огорожен плетнем. В саду — баня. В предбаннике пчелиное хозяйство и все лето спал дедушка: и свободней, и сад приходилось сторожить. В селе был еще только один сад — у крестьянина. Село государственное, помещиков вблизи не было. Очень ребят соблазняли яблоки. Особенно на нашей памяти надоедал Васька — парень соседей. Был у дедушки пистолет, большой, пистонный, чуть ли не от начала столетия. Привезли из Павельца. Заряжал вишневыми косточками и палил.

Где-то в саду Михаил Никифорович Кормильцев сфотографировал в июле 1896 г. семью: дедушка, бабушка, тетя Катя <сестра И.Д. Журавлева>, папа. Папа — четвертый снимок. Все остальные — первый, для тети Кати — единственный. И то, что захватил объектив, осталось на память от всего журавинского сада. <...>

В саду — пчельник. Говорили мне, когда было много ульев с пчелой, стояли и в огороде. Дедушка вел роевое хозяйство в дуплянках. Папа тоже занимался пчеловодством. На всех ульях бледно-голубой краской написал номера, сам сделал два рамочных улья — «желтый» и «красный», столь знакомый по Скопину. <...> В календаре Наумовича на 1891 г. (берегу его) — статья по пчеловодству. По образцу описанного там медомёта сделал папа клетку для медогонки, но не успел довести до конца. Позже ее привезли в Скопин и бросили — не нужна. В 1913 г. приобрели готовую, а раньше не было меду.

Омшаник — летом в нем хранились пустые дуплянки — стоял ближе к дому. А вокруг — заросли хрена. <...>

Район Журавинки — безлесый. Поэтому каждая жердь, бревно, столь необходимые в хозяйстве, ценились дорого, береглись. Печи топили соломой, торфом. Запасные бревна лежали вдоль огорода, по улице. Дедушка любил затесывать колья. Их запас — для сада, починки, плетня, завалинки, к вбитому колу привязывали дуплянки, — стоял на огороде, прислоненный к котуху.

Устраивались семейные походы в лес за вениками. Дедушка взбирался на верхушку березы (он мастер был лазить) и, крепко держась, прыгал. Береза изгибалась до земли, спутницы наламывали ветки.

Тетя Анюта посильно помогала во всех видах хозяйства. На ней больше лежала работа не тяжелая, но кропотливая: сбор ягод, щипать перья и пух для подушек, перин (птицы было много), шитье. Один мужик (Конкин?) где-то в сыром месте развел много черной смородины. Ему платили за ягоды деньги, а рвать посылали тетю. Но главное ее семейное дело — шитьё. <...> Прежде тетя не шила, все только смотрела с полатей, как шьет Оля. Все уехали на свадьбу Оли. Тетя слезла с полатей и взялась шить Лизе какую-то одежку. Получилось. <...> С тех пор семью обшивала тетя. В Скопине шила верхнее нам, ребятишкам, даже папе его домашние полукафтанья и, конечно, все белье, покрышки... Сама сшила похоронную одежду для себя... Когда-то, рассказывая о своей болезненности, говорила, сколько она износила платья, заготовленного на смерть...

Зимой по деревням ходили портные — живут в избе с хозяевами на их харчах и обшивают семью. Приглашали и наши — зимняя одежда, дедушкины и проч. <...>

Постоянные сношения поддерживались с Лоховыми — Марья Григорьевна, племянница бабушки, и Василий Иваныч. Это единственная родня, жившая почти в том же селе. Их дом — в деревне Вороновке, в километре от наших. Там же жил их сын Михаил, а теперь живет с своей семьей внук Николай. Конюхо́вские, ибо поселок прежде назывался Конюхи и Конюшки́. Здесь прежде были государственные конюшни. Их куда-то перевели, а служилый люд остался на месте крестьянствовать. Одевались они по-городски, как мещане. А в Журавинке ходили в панёвах...

Как всегда у духовенства, родня разбросана по разным городам и весям. Общались, приезжая гостить друг у друга. Был обычай съезжаться на престольные праздники. В каждом селе свой праздник. Как только уберут урожай, так начинается ряд праздников: сентябрь — 8-го Рождество Богородицы, 14-го Воздвиженье, 21-го Дмитрий Ростовский, 2-го преподобный Сергий Радонежский; октябрь —1-го Покров... Иные так и кочевали по селам от одного праздника к другому, не бывая дома месяца по два. Думаю — это только не служившие сами.

В Журавинке престольный праздник — Покров, 1-го октября по старому стилю. Интересна история этого праздника. В девятом веке Богородица покрыла своим покровом христиан, избавляя от бедствий, — не праздник установили греки, только поминали в

церковной службе. Так и на Руси в этот день праздничной службы по церковным книгам не полагалось. Но в быту день привился как один из наиболее популярных праздников и вплоть до революции был нерабочим днем («неприсутственный»). Сколько на Руси было храмов Покровских! Сколько на Руси городов и весей с именем Покрова! И наш сад — в Покровке...

На Покров играли свадьбы. В церкви венчали с утра до вечера дня два, три подряд. Право самостоятельно отправлять церковные службы имеют иерей и епископ. Диакон — только помощник. Таинство венчания может совершаться, как и все церковные службы, совсем без дьякона. На долю Д.Ф. выделялось определенное количество свадеб, а он должен был пригласить вместо себя священника со стороны. Позже венчал папа. <...>

В Журавинке обычай — на Покров все варили брагу и пекли курники: ржаной хлеб, в нем запечена курица, помню только из сеяной муки — «коврёжка». Курник подавался целиком. Хозяин благословясь разрезал его, ломал курицу и раздавал. Это — самое вкусное блюдо из курицы. И хлеб от курника очень вкусен. Курники и сами пекли, и получали от крестьян как плату за церковные требы. <...>

Варили, жарили, парили. У дедушки всегда была вишневая настойка — в бутыль клали вишни и заливали водкой без сахару. Бабушка варила брагу — была большая мастерица. И мы, ребятишки, когда ездили на Покров, любили пить бабушкину брагу, особенно пустив туда сахарку. Впрочем, бабушка варила брагу и в другое время, не только на Покров. В течение почти всего года имели свой квас, белый с мятой. Пили за обедом, делали потом окрошку. По крайней мере в 90-х годах в деревне имели самовар и ча́йпили <в воспоминаниях Д.И. это неоднократно пишется именно так, как особый глагол> далеко не все. Но квас варили все. Завтрак — хлеб с квасом... У наших самовар был. <...>

Однажды я спросил бабушку, как она ходила к пасхальной заутрене. Она ответила — кому праздник, а хозяйке он несет столько забот. Редко удавалось. И хозяйство, и дети. Были у бабушки приятельницы в селе. Помогали иной раз ей.

Еще праздники? общие — Пасха, Рождество, масленица. На нашей памяти блины печь приходила Марья Фофаниха (Фо́фан — прозвище ее мужа, умерла в конце 1913 г.). Большая была мастери-



Слева направо: Д.Ф. Журавлев, А.Д. Журавлева, А.И. Журавлева

ца. Пекли из гречневой муки простые и «с кружевами» — на зарумянившийся блин разбивали сырое яйцо, оно растекалось, образуя вокруг блина «кружева», очень нравившиеся нам, детям: и красиво, и вкусно. К блинам подавались топленое масло куском, с воткнутой вилкой, взбитые сырые яйца... Перед блинами — рыбная закуска. Помню — отваривали соленую севрюгу, сома... Обычного обеда на масленицу не полагалось. <...>

Всегда торжественно справлялись дедушкины именины — на Дмитрия Солунского — 26 октября ст. ст. А 29 октября — именины бабушки. Они как бы сливались. Да у меня осталось впечатление — бабушка не хотела своих выпячивать и из скромности, и не желая лишних хлопот. У дедушки была задача: к этому дню сохранить арбуз.

Как протекала жизнь повседневная? Летом привольно. Сад — любимая тетей особенно черемуха, ягоды, яблоки. Пчела — был же все-таки свой мед. Папа и тетя любили купаться — рядом река Вёрда. Папа хорошо плавал, предпочитал «на спинке», не любил «саженями». Тетя уверенно держалась на воде, но плавала «по-собачьи» — очень часто перебирая руками пред собой. Папа любил ловить рыбу, раков... По-видимому, пел песни. Знаю — очень любил русские песни: его тетрадочки с записями песен. В Скопине он покупал и с большим удовольствием слушал грампластинки со знакомыми ему по Журавинке песнями. Тетя совсем не пела. В семье считали — хорошо поет папаша, конечно, он — только церковное и в церкви.

По рассказам Миши Лохова, у Ивана Дмитриевича была гармошка. Когда И.Д. в 1899 г. уехал на службу, ее получил в наследство Миша. Он был музыкален. Уже стариком при наших встречах после смерти папы Миша рассказывал, как, получив гармошку, он с толпой молодежи поздно вечером прошелся под окнами наших — с музыкой и песнями. Дедушке это не понравилось. <...> Было наказано даже близко к дому наших не подходить с музыкой.

Ни папа, ни тетя, ни бабушка никогда не упоминали об этой гармошке. Думаю — считали постыдным для духовного лица. Но папа в Скопине очень мечтал приобрести фисгармонию, и этими мечтами делился с нами, ребятишками. <...> В 1901 г. он приобрел тоненький прейскурант «Юлий Генрих Циммерман». На чистом листке записано им о смерти дьякона Альбова, о рождении сына Дмитрия, о погоде осенью... Хранил его в запертом ящике стола. Цел и теперь. С давних же пор лежал в гардеробе и был доступен нам толстый прейскурант той же фирмы, с картинками. Сколько раз малыши перелистывали его, рассматривая картинки: и рояли, и арфы, и фисгармонии... Иногда по городу ходил музыкант с фисгармонией, носил небольшую на ремне чрез плечо. И такая самая дешевая была знакома нам не только по картинке: видели и слышали...

Выписывали газету, один журнал — «Ниву» или «Родину» (96, 97, 99 гг. — «Родина», 98 и полгода 1900 — «Нива»). У меня остается впечатление: приложения к «Родине» больше нравились. Дедушка прочитывал газеты от первого слова до последнего. <...> Зимой по вечерам, управившись с делами, читали вслух — бабушке. Эти чтения продолжались и когда семья уменьшилась до двух человек, когда и хозяйство сократилось, и досуга стало больше. У бабушки хорошая память, большой ум. В Скопин она приехала знакомая с классической русской литературой. И Достоевский. И Толстой. <...> В Скопине, когда 20-го числа к папе приходило много учителей и ждали его, бабушка выходила к ним поговорить. Поражались, не верилось им, что она неграмотная.

УСАДЬБА

...Журавинские постройки 90-х годов сохранились до конца — 1910 г. Я и Катя помним их. Бревенчатый дом под одной общей соломенной крышей делился на три примерно равные части. Если смотреть с улицы, левая часть — изба, вероятно, 8 ×8 аршин, высота 3,5. Правая — горница. Между ними — холодные сенцы. В избе большая русская печка и небольшая «голанка», две перегородки, не доходившие до потолка примерно см на 40. Они отделяли кухонную часть, куда выходило устье большой печи, и спальную. В большой комнате в переднем углу иконы с лампадкой, по двум стенам широкие лавки, пред лавками к углу под иконами стол. Все простое, некрашеное. Между голанкой и стеной вделан дедушкин шкаф с дверкой и внутренним замком. <...> В спальне широкая кровать родителей работы деревенского столяра, широкая лавка вдоль стены, лаз на печь и на полати. Они почти над всей спальней. Открыты со стороны большой комнаты. Лежали ногами к стене, повернувшись на живот, можно смотреть, что в избе делается. <...>



Вороновка, во дворе дома Лоховых, 1959 г. Фото Д.И. Журавлева

Служила изба круглый год. Здесь все готовилось для себя, для скотины. Здесь же и телята, наседки и гусыни под лавками. Чтобы не промерзала, на зиму устраивали завалинку: снаружи до средины окон стены заваливали соломой, сухим навозом, листьями, оформляя как фундамент. В сильные морозы к вечеру приходилось топить и голанку.

Стены бревенчатые, перегородки дощатые, все не крашено. Проходы в перегородках без дверок.

Горница служила только летом. После Покрова и, вероятно, именин Д.Ф. на всю зиму закрыта. Перегородка делила ее на две комнаты. Стены оклеены обоями. Печка с небольшой лежанкой в маленькую комнату. Мебель в большой комнате — складной стол типа ломберного, но без сукна, диван с «мягким» сиденьем, стулья, угловой стол под образами — все деревенской работы. <...> На стенах большой комнаты фотографии. На окнах цветы.

Сенцы большие. В одном углу громадная деревянная кровать. На моей памяти ее почти не видно: завалена всяким хозяйственным добром. <...> Потолка в сенцах нет, чердак над избой и горницей не отгорожен. Под соломенной крышей над избой вешали ветчину — окорока, лопатки...

Планировка всего жилья не отличалась от общепринятой в селе. То, что мы видели в конце 50-х годов у Лоховых в Вороновке, дает хорошее представление о журавинском гнезде. Такое же крыльцо. Такой же кладки каменные стены надворных построек...

Дом и каменные надворные постройки окружают собственно двор. Разрыв — только ворота. Все крыто соломой. Рядом с избой — погреб, помещение над погребом — погрёбица. Потолок, прочный, только над кладовой; дверь в нее обита железом и крепко запиралась. Хранился хлеб и домашние ценные вещи — одежки и прочее. Расчет — сохранить от пожара и от воров. После смерти мамы, а может быть, и при ней еще отправили на хранение в эту кладовую разные вещи. В Скопине часто бывали пожары[1]. <...> Жилье скотины называлось «котух», слово «хлев» не применялось. <...>

У наших кладовая заменяла мазанку. Частые деревенские пожары полностью уничтожали избы и дворы, чаще тоже деревянные. Впереди дома, подальше на улице делали мазанку — каменное помещение хранить наиболее ценное и хлеб. Летом в мазанках и спали — прохладно. Такие мазанки есть на моих снимках в Журавинке в 50-е годы.

На огороде, подальше от двора, стояла рига, по журавинскому произношению «рыга». <...> Мне казалась огромной. Хранилось сено, необмолоченный хлеб, когда была лошадь — телега и проч. Рядом омёт соломы. В моем представлении стог в плане круглый, омёт — продолговатый. Сено и солому подавали вилами. Обычная обязанность тети Анюты — быть наверху, принимать с вил и укладывать. <...>

Помню, один раз мы были в Журавинке, когда молотили хлеб. Молотилку нанимали. Расположились на улице. Вращали лошади, ходя по кругу. Под зубчатый барабан молотилки пихали снопы. Из нее — зерно, солома. Пыльно! <...>

Дом выходил на громадную площадь, покрытую спорышем. <...> С увлечением тетя рассказывала о своих играх на паже. На пасху бегали по паже — смотрели, «как солнышко играет». И видела восторженная девочка. Лили воду в норы, выползал хрущ,

[1] В 2011 г. такие каменные сараи стояли в Лопатине почти перед каждым домом.

привязывали нитку к лапке и носились за ним по паже. Бегали под дождем и причитали:

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду я во Рязань
Богу помолиться,
Царю поклониться...

Интересно было смотреть на стада коров, овец, возвращавшихся по вечерам чрез пажу. Корова наших сама отделялась от стада и шла домой. Стайка овец — тоже. Гуси сами, без пастухов, уходили на болото, реку и вечером приходили домой. Уток бабушка не любила — они не возвращались. <...>

Дьяконская усадьба была угловой, перёд — север, вдоль восточной стороны большая дорога на Скопин. Рядом, с запада, усадьба псаломщика. Но когда-то церковные земли урезали и со стороны большой дороги поселили крестьянскую семью Лоховых. Однофамильцев, а не родственников. <...>

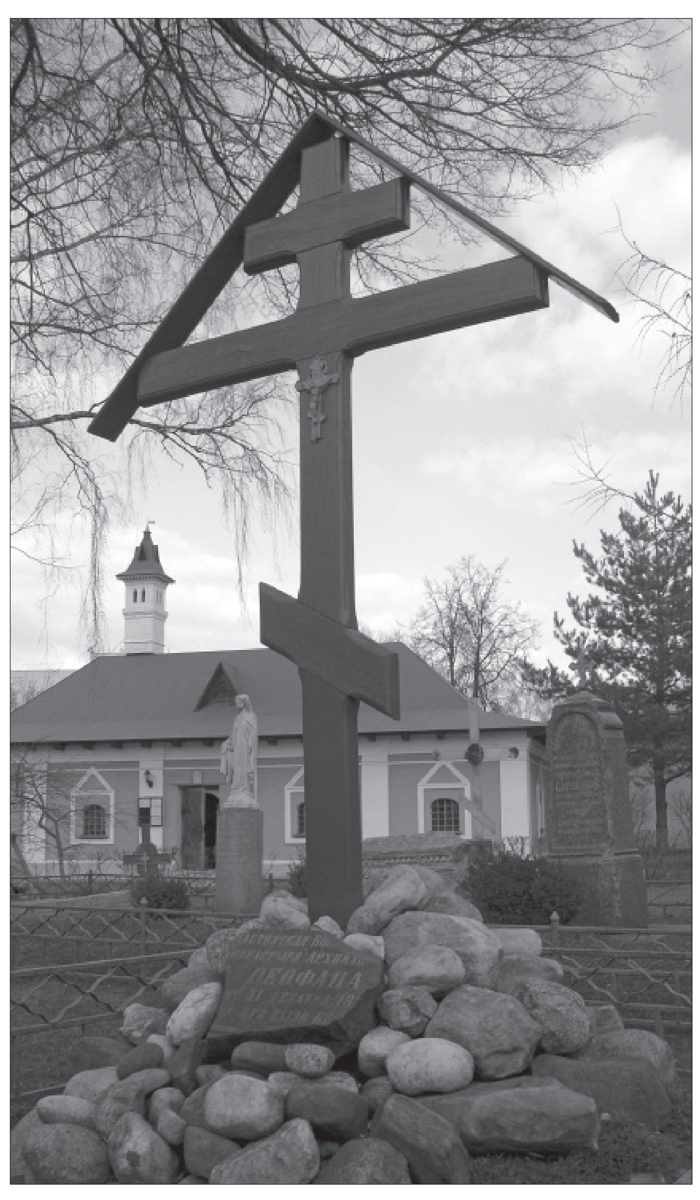
Приехав в Журавинку, любил я возиться в дедушкином шкафу: вверху были книги, а внизу всякое барахло. Все это мне казалось очень интересным. Книги я не трогал, может быть, не разрешалось (хотя помню среди них календарь Наумовича). А среди всякой свалки хранился и этот камень. Не знаю его истории. Вероятно, привезен кем-либо, бывшим на берегу моря, и подарен. Я его сохранил. Опять-таки не помню: кто привез его в Скопин из Журавинки. В Москву он попал, вероятно, с папиными вещами.

Еще одна вещь из дедушкиной свалки: кусок черного дуба. Эту дощечку я еще мальчишкой мечтал приспособить как черенок к ножу. Но до сих пор не сделал, хотя и храню ее. Под водяные мельницы забивались дубовые сваи. За столетие дуб в воде без доступа воздуха чернел. Мельница разрушалась, а черный дуб шел на поделки — домашние вещи. У нас сохранилась ступка из Журавинки. Сколько же лет моей дощечке?

10 ноября 1963 г., Москва. Д. Ж.

Глава пятая

Поездки в Лавру



Могила архим. Феофана в Борисоглебском Дмитровском монастыре, 2015 г.

Поездки в Троице-Сергиеву Лавру и в Ростов — большие события в жизни журавинской семьи.

Два старших брата бабушки А.И. монахи Феофан и Павел[1] начали свое поприще в Звенигородском Саввы Сторожевского монастыре. Оба брата настолько старше, что для А.И. они всегда монахи.

---

[1] 12 июня 1827 г. — 1 марта 1904 г. (некролог: Московские церковные ведомости. 7 марта. № 10. С. 128–129).

Числится в списках окончивших Рязанскую духовную семинарию как ученик 1-го класса высшего отделения 2-го разряда в 1836–1838 гг. (Агнцев. С. XLI). С 17 (или 18: источники расходятся) послушник Саввино-Сторожевского монастыря под руководством своего двоюродного деда, игумена Николая.

О. Николай — наместник Саввино-Сторожевского монастыря в 1845–1856 гг. (см.: *Седов Д.А.* Настоятели и наместники Саввино-Сторожевского монастыря (биографические материалы) // Саввинские чтения 2006. Звенигород, 2007. С. 192). Об о. Николае известно мало, самые подробные сведения, которые нам удалось найти, — в биографическом очерке «О. архимандрит Павел, наместник Свято-Троицкия Сергиевы Лавры», составленном архимандритом Пименом, настоятелем посольской церкви в Риме: «Отец наместник Николай, уже преклонных лет, был старец смиренномудрый и добрый, но нрава довольно крутого и строгий подвижник, который относился к монашеству с большим вниманием и не довольствовался точным соблюдением и исполнением монашеских правил и устава; он еще и добровольно подвергал себя различным подвигам и лишениям, в которых и послушнику Петру приходилось быть постоянным участником. <...> В 1848 г. поступил в Саввин монастырь из Николо-Угрешского монастыря иеромонах о. Галактион, который в непродолжительном после того времени был назначен в казначея, а в 1856 г. был сделан наместником вместо о. Николая, которого перевели строителем в Троицкий Белопесоцкий монастырь, что на Оке, напротив гор. Каширы. Там старец находился настоятелем до самой своей кончины; но умереть пришлось ему не в монастыре, а в Москве в больнице (22 авг. 1862 г.)» (Душеполезное чтение. 1892. № 3. С. 438–439). О. Николай похоронен на кладбище Покровского монастыря в Москве (уничтожено).

В Саввино-Сторожевском монастыре о. Павел стал иеромонахом и был казначеем. С 1876 г. перешел в Ярославскую епархию (эконом архиерейского дома); в 1887–1891 гг. настоятель Толгского монастыря («привел. после сорокалетнего запустения во вполне благоустроенный вид — Московские церковные ведомости. 7 марта. № 10. С. 128). С 1891 наместник Троице-Сергиевой Лавры (занимал эту должность, в частности, во время празднования 500-летнего юбилея Лавры).

Строитель Зосимовой пустыни; здесь был погребен в храме Смоленской иконы Божией Матери, рядом с правым клиросом (в советское время могила разорена грабителями).


Архим. Павел (Глебов)

При пострижении монах получает новое имя, обычно начинающееся с одной буквы с мирским именем; но это не обязательно. Отчества и фамилии монаху не полагалось. Когда я спросил у А.И. имена ее братьев в миру, она не смогла ответить — забыла (может быть, и не знала?). Про Павла сказала неуверенно — Петр.

Старший из них архимандрит Феофан[2] был настоятелем Звенигородского Саввы Сторожевского монастыря. Умер 31 декабря 1897 г. У него наши бывали, но, вероятно, очень редко, и о нем рассказов почти не было. Он устроил мужа своей племянницы из Вороновки В.И. Лохова работать в монастыре — чем-то вроде коридорного в гостинице. Веселый был человек В.И. Привык в избытке пить! Уже после смерти Феофана его пришлось спровадить домой и заменить сыном — Мишей. Поступил Миша туда в мае 1907 г. коридорным в гостиницу, а его жена 17-летняя Еня — горничной. <...>

Наместником Лавры был с 1891 г. архимандрит Павел. <...>

[2] Наместник Саввино-Сторожевского монастыря в «1886–1895 — архимандрит Феофан (Глебов Борис). <...> С юности находился на послушании в Саввино-Сторожевском монастыре. В 1861 г. пострижен в монашество, в 1862 г. рукоположен в иеродиаконы, в 1865 г. — в иеромонахи. Исполнял должность эконома на Саввинском подворье в Москве. <...> Весной 1888 г. ко дню Св. Пасхи пожалован саном игумена. Весной 1892 г. — саном архимандрита. Весной 1895 г. переведен в Дмитровский Борисоглебский мон.» *(Седов Д.А.* Настоятели и наместники Саввино-Сторожевского монастыря (биографические материалы) // Саввинские чтения 2006. Звенигород, 2007. С. 193). Могила с остатками надгробной плиты сохранилась в Борисоглебском монастыре, из надписи на плите следует, что о. Феофан родился в 1831 г.

Павлу бесчисленные посетители вручали много подарков, самых разнообразных. Он не берег их — тут же раздавал. Много пользовались от него внуки старшей сестры бабушкиной Прасковьи Ивановны Европиной. <...> Они же забрали все личное имущество Павла после его смерти. <...> Я составил список известных мне вещей от него. А известны больше — сохранившиеся. Вот его подарки в разное время.

Иконы преподобного Сергия, одна у нас в зале, другая сохранилась в сундуке. И, быть может, другие иконы. Сохранился лишь маленький образок преп. Сергия.

«Служебник» в роскошном переплете, бархатном, с золотым обрезом и вышитым образом Спасителя под стеклом.

Книга в роскошном переплете, вложена в папку: «Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, составленное Горским в 1841 г.». С приложениями, М., 1890.

Альбом «Виды Киева» — папина надпись: «Дар Дяди Наместника Серг. Лавры Арх. Павла. 13 марта 1897 г.». Был ли папа в Лавре именно тогда? учитель, время не каникулярное — Пасха в том году 13 апреля. Или он ошибся, написав не тот месяц, или ездила бабушка и привезла подарки?

Альбом «Виды Афона».

Книга Димитриевского «Золотой век»[3] (с дарств. надп. автора).

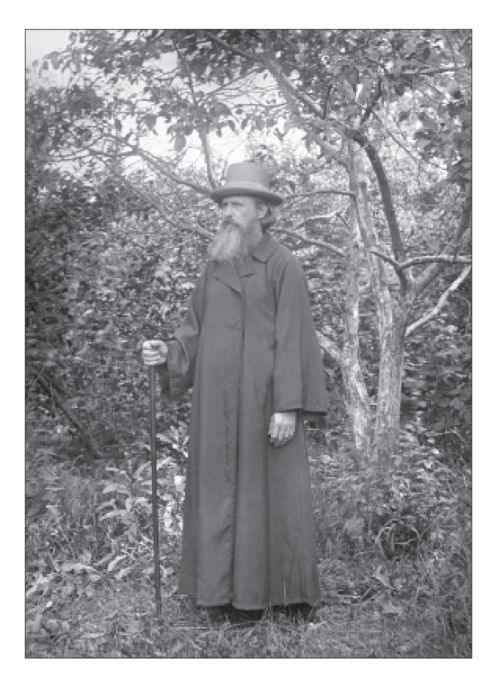
Часы — большие старинные с улиткой, когда-то давно подарил дедушке Д.Ф., тот долго их носил, лежат у меня, давно не ходят. Позже Павел подарил ему хорошие, серебряные, с двумя крышками, «Павел Буре»; в 20-х годах их украли. Папе — тоже очень хорошие, серебряные часы фирмы «Тобиас», лежат у меня, отломилась крышка, нет пружин.

Ложки столовые, серебряные в футляре, 12 штук и большая разливательная, с меткой «П.». Бинокль театральный, фарфоровая банка-яйцо — давно разбилась крышка.

Два посоха иерейских, один с серебряной головкой (см. фото 26 авг. 1927 г.); обоих теперь нет.

Когда папа был уже священником, дядя Павел сшил ему роскошную шубу — «дорожная», мех енота, крыт прекрасным анг-

[3] Видимо, имеется в виду: *Дмитриев С.Д.* Золотой век: исторический роман из царствования имп. Екатерины II. М., 1902.



И.Д. Журавлев, 26 августа 1927 г.
Фото Д.И. Журавлева.
С негатива (пластины)

лийским сукном, большой отложной воротник, узкие рукава, длинная до полу. Папа носил ее в Скопине по праздникам. Лежит и теперь у нас на полатях, так никогда и не послужив по-настоящему. Шуба прислана в Скопин. Папа должен был выплатить за нее сто рублей, по пять рублей в месяц какой-то бедной родственнице как помощь от дяди Павла. Стоимость выше ста рублей Павел оплатил сам.

Я сперва привел эту материальную часть, надеясь найти указания, кто и когда бывал в Лавре. Но тщетно. Лишь одна приблизительная дата.

Сохранилось еще несколько книг духовного содержания; некоторые изданы Лаврой. Вероятнее всего, они подарены папе дядей Павлом. Среди них две с датами:

Троицкий патерик. — 20 июня 1897 г.

Троицкое толковое Евангелие. — 1900 г. марта 10 дня. Вероятно, в эти дни И.Д. был в Лавре. Поездка в марте 1900 г. могла быть связана с просьбой о переводе в Скопин после смерти уже безнадежно болевшего старика Домачевского. Что заранее присмотрели место, видно из той скоропалительности, с какой развернулись события перевода И.Д. в Скопин. Архиерей помнил просьбу Павла. Пасха в 1900 г. была 9 апреля. Значит, 10 марта — пятница третьей недели Великого поста, мог съездить.

Бывали и дедушка с бабушкой, дедушка, похоже, бывал редко и лишь в более молодые годы. Ездила и одна бабушка, возможно, с тетей. Быть может, тетя и была-то всего один раз: она мало про Лавру рассказывала. Бабушка говорила: когда она приезжала, Павел приставлял к ней келейника, который и обслуживал ее, и руководил ей, провожая куда было надо. Папа бывал много раз и один. Когда начал ездить — не знаю. Знаю лишь, что был в июне 1898 г. <...>

Наших поражала материальная сторона — слишком запомнилась роскошь блюд... Например, подавали малиновый кисель с миндальным молоком; миндальное — дело было постом. Папа всегда вспоминал, когда тетя варила малиновый кисель. Мы, мальчики, Сережа и я, очень хорошо знали о миндальном молоке, но никогда не видали и представляли себе, как это особенно вкусно, если даже и с простым молоком очень вкусно. Богомольцы и гости были разные — нищие и богачи, крестьяне и князья. Очевидно, имелся стол на разные вкусы. Понятно, деревенскую родню самого Наместника хотели удивить невиданным. Сам дядя Павел питался просто. Я в детстве любил редиску, и мне все говорили, что и дядя Павел очень любил редиску...

По-видимому, дядя Павел был гостеприимен и хорошо относился к своей бедной родне. Наши его очень уважали и любили. Ему делали операцию удаления катаракты, и когда папу к концу жизни катаракта лишила возможности читать, мысль сделать операцию ему нравилась из-за сходства с дядей Павлом. <...>

Побывать в Сергиевой Лавре, этой святыне каждого русского человека (см. статью историка Ключевского), помолиться у гроба преподобного Сергия стремились на протяжении веков многие и многие тысячи, миллионы людей из всех слоев населения. Богомолье у Троицы-Сергия давало и нашим чувство глубокого удовлетворения и духовной радости. Но для них эти религиозные переживания еще усиливались и внешней стороной.

Жизнь в Лавре, кипевшая как в муравейнике, роскошь храмов, зданий, всей необычной обстановки, угощение и внимание самого Архимандрита, человека, пред которым заискивали епархиальные архиереи, — все это оставляло неизгладимое впечатление у наших, живших в бедном селе, можно сказать, безвыездно, привыкших к тишине и безлюдью, образно выражаясь — дрожавших при самом имени деспота-архиерея.

В Москве жила еще одна родственница, какое родство — не знаю, Евгения, игуменья Вознесенского монастыря в Кремле[4]. Этот монастырь XIV в. сломан в начале 30-х годов (как и знаменитый Чудов). У нее наши тоже бывали. Папа в последний раз в конце 1913 г., когда болел Сережа; она подарила папе книгу «Канонник». Папа писал нам в Скопин:

«Вчера был у Игуменьи, лежит три недели больна. Никого не принимает, меня же приняла, и я поговорил с ней очень немного. Закусывал и пил чай».

Примерно в 1906 г. она прислала нам в Скопин ящик с книгами — больше журнал «Душеполезное чтение» за старые годы. В ящике — подарок Кате: знаменитая кедровая шишка с белкой и золотыми орешками внутри. Стоит она сейчас (10 июня 1969) у Кати в комнате. <...>

---

[4] Мать Евгения, Екатерина Алексеевна Виноградова, «дочь диакона», с 1859 г. послушница в Борисоглебском Аносине монастыре; постриглась в 1872; казначея монастыря; в 1875 г. переведена в московский Страстной монастырь, где была распорядительницей приюта Славянок (1878–1883) и распорядительницей клироских сестер (1883–1886); с 1886 г. настоятельница Флоро-Лаврской общины в Подольском уезде, при ней община была преобразована в монастырь, названный Крестовоздвиженским Иерусалимским (возведена в сан игуменьи в 1887); с 1893 г. — настоятельница кремлевского Вознесенского монастыря (послужной список на 1917 г. см.: ЦГИАМ. Ф. 203. Оп. 763. Д. 143. Ч. 6. Л. 355–358 об.; см. о ней, например: 25-летие игуменства настоятельницы женского Кремлевского Вознесенского монастыря в Москве // Московские церковные ведомости. 1911. 20 августа. № 34. С. 704–708). В августе 1917 г., непосредственно перед Всероссийским Церковным Собором, была жива и исполняла обязанности настоятельницы (см.: Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия, излож. по его рассказам Т. Манухиной. Париж, 1947. Гл. 16).

В начале ноября 1917 г. монастырь пострадал от обстрела очень сильно; по свидетельству «Московского листка», кельи были «разгромлены» (1917. 3 ноября. С. 3). В 1918 г. монахини были выселены (подробный перечень источников по истории монастыря см.: *Меняйло В.А.* Иконы из Вознесенского монастыря Московского Кремля. М., 2005). Дата смерти матери Евдокии неизвестна, могилу найти не удалось (в частности, могила не обнаруживается и на хорошо обследованном Ваганьковском кладбище, где хоронили монахинь Вознесенского монастыря).

Степень родства с Журавлевыми неясна, но Виноградовой была бабушка Дмитрия Ивановича по матери.



Мать Евгения (Виноградова), начало XX в.
Фото дано по книге: Меняйло В.А. Иконы из Вознесенского монастыря Московского кремля. М., 2005

* * *

Перечитал и вижу: мало знаю обо всем этом. Только то, что запомнилось с детских времен. Рассказы слышал в свои детские годы. Понял и запомнил лишь кое-что доступное мне. А позже, в последние годы с бабушкой круг моих интересов по возрасту лежал

в будущем. Еще позднее — я уже писал: папа не любил делиться воспоминаниями, и сам я слишком был занят настоящим. До прошлого руки не доходили.

* * *

Последний раз папа был в Лавре вместе со мной 18 июля 1946 г. Мы жили тогда на даче в Челюскинской по Ярославской дороге. Я не помнил, а папа почему-то не сказал, — это Сергиев день, именины нашего Сережи. После 40 с лишним лет папа не узнал многого, все кругом было незнакомо, не мог указать, где жил дядя Павел, только ориентировочно — «где-то там!». И немудрено: мы застали Лавру в запустении. Разрушено, разломано, кучи... только начиналась реставрация. С историей Лавры в 20-е годы я познакомился лишь много позже по воспоминаниям Т.В. Розановой[5]. <...>

В годы войны возобновилась деятельность Лавры как религиозного центра. И мы с папой застали начальный момент восстановления. Я впервые в Лавре. Были у раки преподобного Сергия. Стояли около паперти Успенского собора. В это время приехал патриарх Алексей, все расступились, и он прошел в церковь в двух шагах от нас. Но в собор папа не захотел войти. <...>

[5] Видимо, воспоминания Т.В. Розановой давала почитать Дмитрию Ивановичу близкая подруга Анны Ивановны Журавлевой, Клеопатра Владимировна Агеева, хорошо знавшая Розанову.

Глава шестая

Свадьба



А.В. Левитова-Журавлева в девушках

Мы жили в Кратове на даче у Зайдмана. В журнале «фото» я записал: «17 июля 1949 г. <...> Ровно пятьдесят лет назад в этот день тоже было воскресенье — праздновалась свадьба папы». <...> Но до золотой свадьбы мама не дожила ровно сорока пяти лет... Папа сидел задумавшись. Я записал его слова буквально, с одной разницей — он сказал: «свадьба... в Раненбурге». <...>

События развивались бурно.

1899-й год, 7 апреля — резолюция архиерея: «Вызвать учителя Журавлева для занятия места в Телятниках». <...>

30 апреля — указ благочинному.

11 мая — день памяти Кирилла и Мефодия: «сей указ читал учитель Иван Журавлев». По вызову папа ездил в Рязань, очевидно — договоренность о сроках посвящения. Получил на руки копию указа. Она написана папиной рукой, а подпись секретаря консистории подлинная.

4 июля — свадьба в Раненбурге.

18 июля — Рязань, посвящен в дьяконы.

19 июля — в священники.

15 августа — освобожден от должности учителя журавинской школы, очевидно — конец каникул. <...>

Свадьба была в Раненбурге в воскресенье 4 июля 1899 г.

Семья Левитовых в то время: глава — Василий Васильевич, священник соборной Троицкой церкви. Есть фотография без даты. Его жена — Евпраксия Ефимовна, до замужества Виноградова. Мало известно мне об их прошлом. <...> Жили в собственном доме на улице Набережной. Дом деревянный с палисадником, двор, сарай — часть его приспособлена спать летом: ребят было много. Скотины не держали. За сараем сразу обрыв и скат к реке; на этом склоне их сад. Ничего в нем не было. Но Левитовы снимали большой сад, с яблонями, на берегу реки Рясы — у «Иван Яклича». Там пристань, лодки, зеленая беседка, где пили чай, — помню я со времени последней поездки с мамой (1904 г.). В этом саду протекала летняя жизнь учившейся левитовской молодежи. Отдых, но не физическая работа. <...>

Родила Е.Е. детей шестнадцать-двадцать. Умерли. Осталось семь.

После смерти старших детей первую оставшуюся живой девочку, оказавшуюся и единственной, лелеяли и берегли до такой



В.В. Левитов

степени, что зимой не выпускали на улицу — простудится. Похоже — боязнь простуды у Левитовых была болезненной, как в крестьянских семьях. Помню приезд дяди Миши в наш скопинский дом летом. Он прежде всего потребовал закрыть дверь на террасу. У нас она оставалась открытой с раннего утра до позднего вечера.

Со слов старших я всегда считал, что Анюта окончила Епархиальное училище в Рязани — среднее женское учебное заведение

духовного ведомства. То же, что и женская гимназия. Было шесть классов, позже — семь. Общежитие. Но вот Катя говорит — мама занималась только дома, и если сдавала экзамены, то экстерном. Это больше походит[1]. Сохранилась тетрадь — поварская книга, куда она записывала рецепты разных блюд. Часть написана папиной рукой. Очевидно, это книга уже молодой самостоятельной хозяйки. Свою переписку с мамой папа сжег при переезде в Москву. Быть может, и раньше: тяжело, если чужие руки роются в интимных делах. Грозили обыски, да и были не раз... Поварская тетрадь — единственный памятник маминой руки.

Лермонтов — любимый мамин поэт[2]. Любила она и Надсона. Ее однотомник Лермонтова до нас не дошел. Остался в Раненбурге, а кто-то из дядей продал его на базаре в 30-е годы. <...> О том, что он был, и о его судьбе мы узнали лишь после войны от дяди Вани. Вероятно, он и продал — похоже на него.

До нас дошла визитная карточка — фото мамы-девушки, без даты. <...>

Родителей звали «папашинька» и «мамашинька». И для нас, малышей, дедушка и бабушка — журавинские. А раненбургские — папашинька и мамашинька. Сохранилось со слов мамы. <...>

Свахой была знаменитая Пелагея Антонна — жена виниковского двоюродного брата папы Михаила Григорьевича Глебова. Знаменитая потому, что тетя была всегда в тревоге, ожидая «Антонну» в гости: она зла на язык, всегда недовольна приемом, угощением, «осудит», «ославит», «разнесет» про вас дурное... <...>

---

[1] В списках учившихся в Рязанском женском епархиальном училище Анны Левитовой нет.

[2] Понимая, что индивидуальные читательские пристрастия вовсе не обязательно должны объясняться нравами среды, тем не менее не можем удержаться от замечания, что лирика Лермонтова входила в обязательный минимум заучиваемой наизусть классики в семинарии и вообще пользовалась любовью в духовной среде. См., например, характерное: «А стишок Михаила Юрьевича Лермонтова “В минуту жизни трудную” часто распеваю своим старческим голосом в моей убогой келейке, даже пред иконой, затеплив лампадочку, пою и плачу, и чую, что с души грешной бремя тяжкое скатывается, всякие сомнения исчезают и легко, дюже легко на сердце-то вдруг станет. Так вот слово-то человеческое каково» (Думы старца Зосимы (К вопросу о свободе слова) // Рязанские епархиальные ведомости, 1906. 1 февраля. № 3).

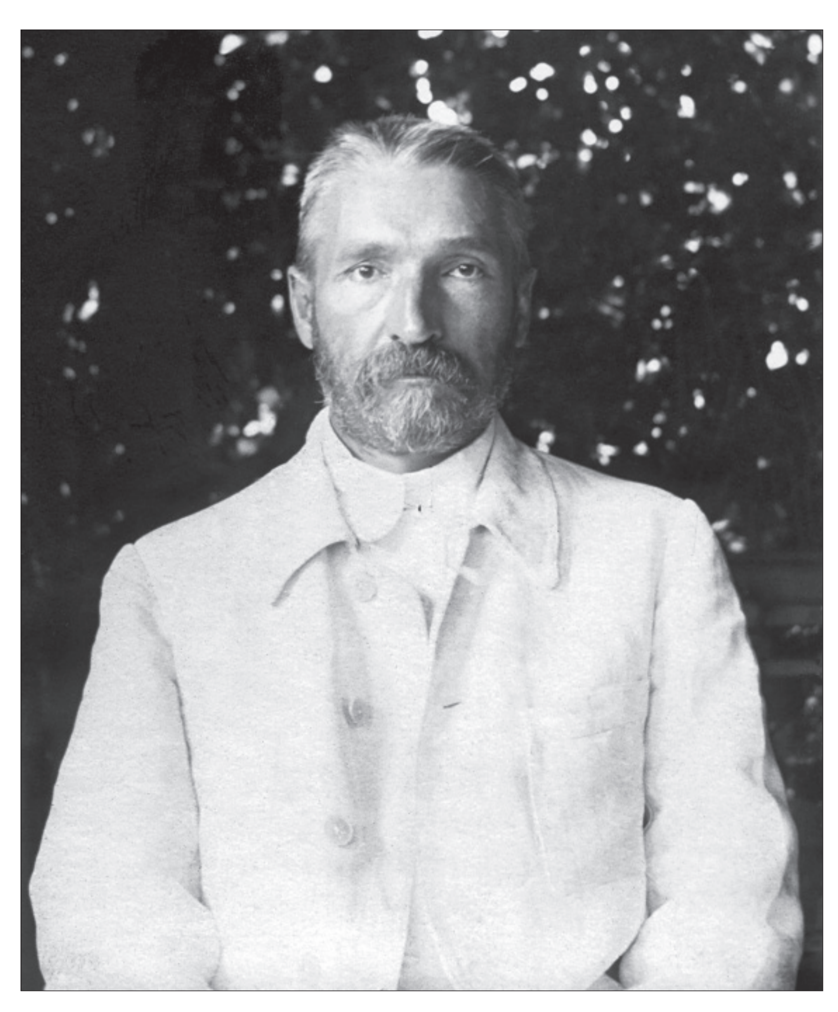
Почему и как она нашла Левитовых, да еще в Раненбурге, мне не известно. Вероятно, сговор был за 1–2 года до свадьбы. Свадьба откладывалась до поступления на «место». Думаю так потому, что получить известие о назначении 11 мая, найти невесту и 4 июля сыграть свадьбу — слишком поспешно и несерьезно. Думаю и потому, что когда-то в Скопине я прочитал часть письма, в котором из Раненбурга упрекали папу, что он недостаточно энергично ищет место. Мне, впрочем, это не совсем понятно: только 16 августа 1899 г. ему исполнилось 25 лет, а моложе не посвящали[3]. Почему согласились? Семьи разные — город и деревня. Привычки, требования к бытовым условиям, общая атмосфера в семье — все это не совпадало. Даже источник материальных средств — в Журавинке основное в хозяйстве (земля, скотина), у Левитовых его не было. Не знаю, на какие средства давали образование детям, могло ли хватить на это дохода В.В. Разве старший сын помогал?[4]

В семье журавинской — атмосфера физического труда, забот о хозяйстве. Умственная деятельность — в пределах чтения духовных книг, беллетристики, газеты. Образование дали только сыну. В характере — склонность посмеяться, пошутить.

В семье раненбургской — атмосфера умственной жизни: все учились, старшие братья Михаил, Павел — люди умные, серьезные, да и отец был серьезный человек, — постоянно обсуждали философские вопросы, вовлекая и младших. Физического труда — никакого. В характере — излишняя серьезность, склонности к веселью, шуткам не было; повеселиться, пошутить они не умели. Ум Левитовых склонен к абстракции. Рассуждения — на основе логических построений... «В нас, Левитовых, заключены были большие умственные силы, в частности — способность к оригинальному мышлению, к самостоятельной творческой работе (выше всех в этом отношении стоял брат Михаил Васильевич)», — писал дядя Павел в письме 1941 г.

[3] Здесь в тексте приписка, по почерку трудно определить, самого автора или кого-то из читателей рукописи: «Да нет! этот срок не был уж столь обязательным».

[4] Приписка карандашом: «родственник епископ Василий?» (т.е. двоюродный дед Анны Васильевны, преосвященный Василий, епископ Пензенский и Саранский; подробнее о нем говорится ниже).



П.В. Левитов, 20 августа 1928 г., Скопин.
Фото Д.И. Журавлева

Строго говоря, все это относится к Михаилу и Павлу. Иван очень любил пофилософствовать, но от него слишком пахло схоластикой, было неглубоко, бессодержательно, походило на способ провождения времени — от скуки. Прочих братьев близко я не

знал, никаких «трудов» от них не осталось. А Миша и особенно Паша много писали. Часть их брошюр у нас есть[5].

По мощи ума папа не уступал Левитовым, но уступал в творческой активности. Склад ума иной — преобладал здравый смысл и рассуждения на почве реальности. Папа мог вполне понять рассуждения Левитовых и по достоинству оценить их. Иногда не прочь был посмеяться над ними. Но только заочно. Я уже писал — они не понимали и не терпели шуток. <...>

Разница осознавалась Левитовыми. Братья внушали маме избегать сближения с журавинской семьей, не дружить с тетей Анютой. Катя думает: очевидно, считали журавинских недостаточно культурными. Я, впрочем, объясняю примитивным эгоизмом: свекор и свекровь, золовка-колотовка со временем сядут-де на шею их сестре. Кто из нас прав? Вероятно, оба.

Но было и сходство: глубокая религиозность, круг духовных интересов, семинария, отсутствие элементов светского воспитания. Я имею в виду прежде всего отношение к женщинам. Молодые Левитовы терялись в обществе девушек, чувствовали себя связанными, не могли найти темы для разговора, жизнерадостного веселья не получалось. И их избегали, и они избегали. Похоже — таким же был и папа. Возможно — это следствие семинарского воспитания, но, конечно, лишь до некоторой степени.

Трудности выйти замуж, выдать дочку замуж, погоня за женихами как бытовое явление показаны Чеховым. Но для духовенства это дело еще более усложнялось. Исторически выработалась кастовая замкнутость духовенства. И после отмены крепостного права, да в деревне и вплоть до революции, считали невозможным выдать дочку за мужика, за мещанина, как и сыновьям считалось зазорным брать невест из этих сословий. Выход допускался или в свою

[5] Вот некоторые из публикаций П.В. Левитова: Красота и христианство // Православно-русское слово. СПб., 1904. № 6; О жизни и смерти // Православно-русское слово. 1905. № 7; О самостоятельном чтении воспитанников семинарии и о руководстве их в этом отношении; О расширении курса литературы в духовных семинариях (все — Екатеринослав, 1906); Тело и его судьба. СПб., 1910; Православная церковь и Л.Н. Толстой. Екатеринослав, 1910; Современный аморализм и его виды. Рязань, 1911; О дуэли. Екатеринослав, 1912; Самоубийство пред судом христианской этики. Харьков, 1917.

духовную среду, или в разночинную. Много детей духовенства перешло в разночинцы за последнее столетие, разрушая кастовую замкнутость.

Наши дедушки и бабушки журавинские и раненбургские — из коренных духовных семей. Когда позже мамин брат Дмитрий женился на раненбургской портнихе, его мать Е.Е. никак не хотела признавать за родственницу «мещанку» — слишком низко. Впрочем, брак был действительно неравный, но в обратную сторону: Дмитрий не был достоин своей жены, прекрасной женщины, содержавшей семью своим трудом.

Возможно, у меня такое впечатление, в журавинской семье, быть может, что под влиянием бабушки Настасьи Ивановны с ее здравой головой, кастовый вопрос не так остро стоял. Старшую дочку Лизу выдали за крестьянина. Брат бабушки Григорий сам отказался учиться и приписался к крестьянскому обществу. Родная и близкая семья Лоховых — крестьяне...

Духовенство рассеяно по городам и весям. Предрассудок крайне ограничивал возможности естественного сближения молодых людей... Как-то случайно в Скопине среди папиных бумаг я открыл старое письмо и начал читать в средине. Кто-то из Раненбурга обращался к папе и маме с просьбой, нет ли у них на примете жениха для его дочери. Желательно академика. Но можно и семинариста, такого, как Иван Дмитрич. «Анюта улыбается,» — добавлено после этих слов. «Академиками» обычно называли окончивших Духовную академию. <...>

Июль 1969 г. Покровка

Вот родословная Левитовых.

Все даты я записал 8 марта 1952 г. со слов дяди Вани. <...>

ПРЕДКИ

Василий Левитов (жена — Евдокия), дед нашей мамы, был дьяконом в селе Боршевое Скопинского уезда[6]. Единственное, что

[6] Историк Илья Николаевич Мухин сообщает о Василии Ивановиче Левитове следующее: «1799 — не ранее 1867. Сын священника Рязанской епар-

вспомнил о нем когда-то в разговоре со мной дядя Ваня, — каждую субботу он порол своих ребят. Провинившихся — за вину, невинных — чтоб впредь не провинились. Это — метод воспитания. Из его детей мне известны только два сына: Василий — отец нашей мамы — и Дмитрий, в какие-то годы бывший протоиереем в Раненбурге. Его сын Николай в молодые годы — мой учитель в Рязани (1916–1918 гг.). Позже он — профессор психологии в Московском Университете. <...>

Наш дедушка <...> был священником сперва в селе и с давних пор в Раненбурге, в соборе. Папа с большим уважением относился к нему: человек умный, серьезный, твердый. Он умер 2 марта 1906 г., в 3 часа утра, после операции — рак желудка. Тетя рассказывала о его мужестве: когда он лежал на операционном столе, и врачи, обрисовав положение, спросили, согласен ли он на операцию, он, севши, сказал им поучение. Операция не помогла. И вот ничего-то о нем я не могу написать. Запомнилось лишь одно: он любил спать на полу, и я очень смутно припоминаю это место в раненбургском доме. Я тоже предпочитаю спать на твердом. Приехав на каникулы в Скопин, я к ужасу Агафьи снял перину и спал на старом одеяле. В Москве по нужде я спал на полу с 1931 г. до переезда в Сокольники, т.е. до 1962 г.

Не помню я и живого дедушку. Только его фотографию. В Скопине она всегда висела пред папиным столом, а теперь в альбоме. Без даты, но позже 1894 г. <...>

хии. Образование — 2-й приходской класс Рязанского духовного училища. В 1814 определен в пономари к собору г. Скопина, 7.02.1843 посвящен в стихарь. 26.10.1820 перемещен во дьячка в с. Старый Келец Скопинского уезда. 23.08.1843 рукоположен во диакона в с. Боршевое Скопинского уезда. В 1866 г. вышел за штат с передачей диаконского места зятю Михаилу Петровичу Дунаеву. Жена: Евдокия Ефимовна (р. 1807). Дети: Михаил (1824) — соборный протоиерей г. Раненбург, впосл. епископ Василий; Иван (Иоанн) (1828) — священник; Феодор (1831) — священник; Алексей (1832) — священник; Дмитрий (1838) — протоиерей; Василий (1842) — священник; Петр (1843) — диакон. Дочери: Пелагея (1835), Ксения (1837), Наталья (1840), Анастасия (1849)» (<http://baza.vgdm.com/1/19057>).

Епископ Василий, о степени родства с которым Д.И. Журавлев, видимо, не знал, бегло упоминается в воспоминаниях ниже.

ДЯДИ

Детей у Левитовых родилось много. Но до зрелого возраста дожило семь человек: шесть сыновей и одна дочь. Все сыновья получили образование в Рязанской семинарии, кроме Ивана. <...> Трое — Павел, Василий, Алексей — окончили Духовную академию, Дмитрий — историко-филологический факультет университета. <...>

Михаил, старший сын, родился в 1868 г, умер от разрыва сердца 2 апреля 1921 г. Он — священник в селе Покровском Данковского уезда. Все братья считали его самым умным и способным в их семье. У нас сохранились несколько оттисков его статей и брошюр[7] и лишь два письма 1913 и 1914 гг. <...> В 1918 г. я написал ему из Рязани и получил очень содержательный ответ. Помню лишь одну мысль — нельзя строить общество, основываясь на обмане. Жалею, письмо пришлось сжечь вместе с другими: были обыски, искали не вины, а повода для репрессий.

Дядя Миша бывал у нас в Скопине и на старой квартире, и раз в новом доме. Были один раз у него в Покровском и мы, трое ребят с папой. Ездили из Раненбурга в 1912 г. Его жена Варвара Андревна угощала нас своей клубникой со сливками. Такое блюдо мы ели впервые. Он — бездетный. У нас любили посмеяться заочно над дядей Мишей, его большим носом, некоторыми странностями. Например, он, сельский житель, боялся животных. <...>

Дядя Миша как священник был и ленив на отправление треб, и не умел установить здоровых отношений со своими прихожанами. Требы и день и ночь. В любое время зовут соборовать и причащать умирающего. А Миша любил посидеть за столом с книгой, журналом, подумать, написать. Были в селе и сектанты. А на священника налагались, по сути дела, чисто полицейские обязанности по отношению к сектантам. Будучи сознательно веротерпимым и осуждая политику царского правительства, политику преследования сектантов, он и с ними не ладил[8]. Тяготился он своими обязанностями. Папа считал для него наиболее подхо-

[7] См. врез к републикации статьи М.В. Левитова в настоящем издании.

[8] Например, на 1915 г. в с. Покровском было 150 раскольников (доклад Данковского миссионера свящ. Тихона Скворцова: Рязанские епархиальные ведомости. 1915. 15 мая).

дящим место священника кладбищенской церкви: там прихожане безмолвны и спокойны. Точнее бы сказать — упокойны. И Миша находил это для себя хорошим выходом[9]. Имели в виду место в Скопине. Но оно освободилось чрез год после скоропостижной смерти дяди Миши.

Павел — родился 13 января 1877 г., умер 10 февраля 1942 г. Из всех дядей Паша с раннего детства был нам наиболее близок, по-родственному близок. С Пашей мама была особенно дружна. <...>

Московская духовная академия помещалась в стенах Троице-Сергиевой Лавры. И теперь здание цело. Я все сравнивал студенческие годы дяди Паши и мои и Кати. Он жил в общежитии, полностью обеспеченный. Без забот с его стороны, всегда сыт, одет, теплая квартира, обслуживание, где жил — там и учился. Значит, все время и все силы мог посвятить занятиям. И он не злоупотреблял своим положением. Много и добросовестно, с глубоким интересом, занимался, изучал подлинники, заготовил много выписок из книг и журналов, написал первые опубликованные статьи. Обратил на себя внимание своих руководителей. По окончании в 1901 г. курса мог рассчитывать остаться при академии. Но не было вакантного места. Начальство, желая его сохранить, предложило ему пока место библиотекаря. Библиотека академии была богата ценнейшими рукописями, редкими книгами. (Что из этого богатства дошло до нашего времени и где оно теперь?) Место для научной работы прекрасное. Но Паше показалось обидным: «магистрант» и вдруг библиотекарь! Отказался и уехал преподавателем Духовной семинарии в Екатеринослав. Позже тужил. Его предметы — психология, логика, философия, нравственное богословие. Более узкая специальность — психология. Иногда выступал с публичными лекциями. Читал лекции в женском Епархиальном училище. Женился на молоденькой епархиалке, чуть ли не своей ученице — Марии Федоровне. Симпатичная женщина. С нею я

[9] В 1918 г. было удовлетворено прошение М.В. Левитова об увольнении: он ссылался на то, что «девятнадцатилетнее служение в холодном храме в связи с крайне тяжелыми условиями жизни расстроили здоровье» (ГАРО. Ф. Р-6788. Оп. 1. Ед. хр. 178; в этом же деле лежит ставленая грамота о. Михаила, где указано, что он был рукоположен в священнический сан в 1899 г.).

виделся два раза при поездках в Раненбург в 1912 и 1926 гг. Есть кабинетный портрет — дядя Паша и она 4 сентября 1910 г. Только в 1928 г. родился первый жизнеспособный ребенок — дочь Вера, позже еще одна — Ирина.

Да! Я не оговорился — в Епархиальном читал лекции. И в семинарии он вел курсы лекционные. Передовые преподаватели средних школ того времени в старших классах стремились пробудить в учащихся сознательное отношение к своему предмету и смело применяли методы высшей школы. А теперь наоборот: в вузах внедрены методы средней школы и усиленно охраняются администрацией всех рангов.

В 20-е годы дядя Паша как-то выступил на публичном диспуте в защиту своих убеждений. Ему удалось основательно поклевать противников. На другой день он прочитал о диспуте в газете: все наоборот! и заканчивается фразой: «а Левитов все-таки поп, хотя и без рясы»[10]. <...>

[10] Из письма Д.И. Журавлева ко вдове П.В. Левитова (1944; из раздела воспоминаний «Письма», который в настоящее издание не вошел): «Из семьи Левитовых все время поддерживал с нами родственные отношения один дядя Паша. Бывая в Раненбурге, он почти всегда заезжал к нам в Скопин. Его приезд — одно из наиболее радостных событий для нас, детей. До сих пор у нас сохранились его подарки — пенал, альбом для открыток с надписью, сделанной рукой умершего брата Сережи: «Дар дяди Паши 1912 года 18 дня марта». Смерть после длительной болезни Сережи в марте 1914 г. была первым тяжелым горем в жизни моей и Кати. Когда умерла мама, мне было три, а Кате девять месяцев. Сережу возили лечить в Москву, и дядя приезжал повидаться с ним.

Во время прошлой войны он у нас был, помнится, в 1916 г. Два раза был дядя Паша у нас в Москве, в наши студенческие годы; один раз застал в Москве только меня, в другой — только Катю. Последний его приезд в Скопин (да и в Раненбург) — в 1928 г. Я тогда сделал две фотографии, помеченные 20 авг. 1928 г.; на одной из них дядя Паша стоит на террасе скопинского дома. Это — последнее наше свидание.

Последнее письмо дяди Паши мы получили от 13–15 июня 1941 г. — накануне войны. Осенью 41 г. нам пришлось уехать на два года из Москвы. Читая об условиях жизни на занятых врагом территориях, мы много раз спрашивали себя, выдержит ли дядя Паша это новое тяжело испытание. Не выдержал!

Два года вне Москвы были тяжелы для нас, и много унесли здоровья. Эти годы в моей внутренней жизни переместили центр тяжести моих интересов в область практической философии, в область, которой так много занимался

Иван родился 22 февраля 1879 г., умер 23 февраля 1955 г. Из Рязанской семинарии его уволили[11]; устроили в Пензенскую; но и оттуда уволили. «Ваня как тростинка, в поле ветром колеблемая», — говорила про него мама. Семинаристы набезобразничали в городском саду, разбежались. А он, по его словам, не участвовал в озорстве и потому не счел нужным скрыться. Городовой его забрал. Семинарский курс он сдал экстерном в Екатеринославе, когда там уже преподавал брат Павел. Хотел Иван поступить на медицинский факультет. Тогда при поступлении требовали свидетельство о политической благонадежности от губернатора. А рязанский губернатор отказал. Не получилось. Надвигалась солдатчина. Все Левитовы страшно боялись военных и тем более службы в армии. Спасаясь, Иван поступил священником в какое-то село. Не знаю, когда он женился. <...> Он собирался жениться раньше. Невеста — больная и хромая девушка. Семья с трудом отговорила, да, кажется, и невеста умерла. Любил с вечера пораньше лечь и в постели при свече почитать. Однажды проснулись среди ночи в дыму и огне. В исподнем выскочили в окно. Все сгорело. Жена простудилась и умерла. У папы в Помяннике записана Елизавета Левитова, умерла 1 декабря 1905 г. Оставил Иван место священника, отказался от сана — расстригся. Женился второй раз <...> и занялся практикой частного поверенного в Раненбурге. <...> Не помню, бывал ли он у нас в Скопине до революции. Не помню и его писем. До Скопина он увлекался картежной игрой, проигрывался

дядя Паша. После возвращения в Москву (октябрь 1943 г.) я собрал сохранившиеся у нас его брошюры, некоторые перечитал. В минуты, когда хотелось поговорить, поделиться мыслями с близким человеком, предо мной всегда вставал образ дяди Паши. Тем более этого хотелось теперь...

Основная черта, которую мы, скопинские, всегда особенно ценили и уважали в дяде Паше, это — его высокая интеллигентность, интеллигентность в собственном смысле этого слова. В годы, когда я сам стал взрослым человеком, я убедился, как редко это качество встречается у людей.

Глубокая человечность, сердечность — вторая основная черта дяди Паши. Дети бессознательно чутки к этому качеству, и поэтому дядя Паша — человек, которого мы редко (по нескольку дней не каждый год) видели, всегда для нас был дорогим и близким, родным».

[11] В деле об отчислении И. Левитова, в журнале педагогического собрания Рязанской духовной семинарии за 1897 г., есть длинный перечень его дисциплинарных проступков (ГАРО. Ф. 1280. Оп. 1. Ед. хр. 646).

жестоко. По его словам, выпивок избегал: выпив, тотчас свирепел и затевал ссоры. Детей не было.

Революция застала его членом партии левых эсеров. <...> После октябрьского переворота Иван оказался уездным комиссаром юстиции в Раненбурге. В первые годы революции министры — народные комиссары. Был лозунг «власть на местах!». И в каждой губернии, в каждом уезде были по тем же ведомствам свои просто комиссары, уж не народные. Как власть имущее лицо был делегатом на одном из съездов советов, слушал доклад Ленина... Как комиссар юстиции Иван проводил все реквизиции и конфискации у торговцев, помещиков, у кого придется. И так лютовал, что получал много писем с угрозой убить его. Даже в Скопин дошел слух: в Раненбурге свирепо расправляется Левитов. Какой Левитов? Папа предполагал: надо думать, Иван. И делалось все это совсем беспринципно. Просто человека опьянила власть. Сам в Скопине рассказывал, как при обыске у купца нашли очень хорошее вино. Куда же дели? — спросил я. Он смутился, но ответил: сами роспили!.. Опасно стало в Раненбурге, и его перевели в Скопин на должность народного судьи. Вот тут-то он тесно сблизился с нами. Его квартира на нашей улице совсем близко от нас, минуты три ходу. Каждый день заходил. Папа работал в больнице конторщиком, тетя уже больная, принимать его возлагалось на меня. Досадно было, слишком я занят, чтобы тратить время на пустую болтовню. «Ты, Митя, не куришь, а у тебя спички всегда в кармане», — как-то заявил он. С пчелой было много работы, разводить дымарь приходилось часто. Дело ждет, а ты сиди с дядей Ваней и ублажай его. А ведь мне и почитать хотелось, и серьезно позаниматься. Ни разу не был у него ни я, ни кто либо из наших. <...>

Когда вернулся из плена Леня Кормильцев, устроили его секретарем. А сам судья больше предпочитал толкотню на базаре, продавал рваные башмаки и проч.

Года через два сам осознал: больше не удержишься. Уехал в Раненбург. Что делал там? Кажется, был учителем, давал платные уроки. <...>

После 1933 г. И.В. переселился в Ступино под Москвой. Там родственники его жены <второй>. Был учителем в школе. Когда стали в школах наводить порядок и от учителей потребовали образования, И.В. не мог представить документов: они когда-то сгорели,

и сдал с успехом все экзамены на учителя. Прекрасная память. До смерти помнил он, например, все фигуры силлогизма. А учил еще в семинарии. Война погнала его снова в Раненбург. В конце войны его выписала в Москву и устроила ему квартиру племянница Анны Николавны <жены>, очень важная особа, заведующая хлебным магазином, хлеб тогда выдавался по карточкам. Дядя потребовался продавать с рук на рынке «остатки» хлеба. <...>

До революции И.В. занимался писательством, сочинял драмы. Когда жил в Скопине, давал мне читать одну. Не помню, да и критик я плохой, тогда и подавно. В Раненбурге чуть ли не ставили его драмы на любительских спектаклях. В Москве он посылал на молодежный конкурс под псевдонимом рассказ или повесть, но получил разносный ответ: «автор не избежал пошлости...». В последние годы он написал философский трактат. Говорил о нем, но мне не показал. Не помню, то ли сам послал, то ли завещал переслать его сыну дяди Васи. Я не скрывал своего иронического отношения к его философствованию. Однажды, войдя к нам и усевшись, он начал разговор: «Я утверждаю, что на солнце тоже есть живые мыслящие существа». Я уклонился от диспута, ограничившись репликой: «Изжарятся!». «Ты, Митя, похож на Ивана Карамазова», — заявлял он в таких случаях.

Интересное приключение: когда И.В. торговал на рынке хлебом, к нему подошел пожилой человек с возгласом удивления: «Отец Иван!». Узнал своего бывшего священника лет через 40! Понятно: страшно смутил его.

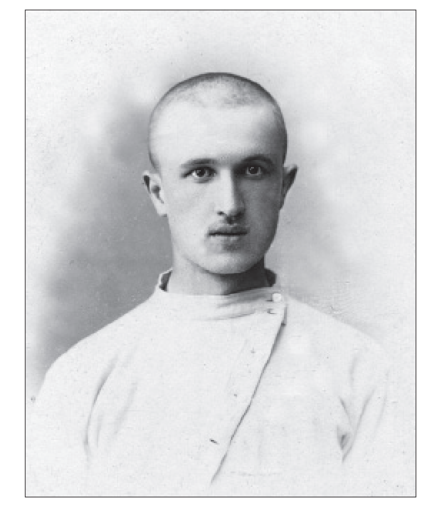
Василий — родился 31 декабря 1880 г., умер 10 октября 1949 г. Мало что могу написать о нем. При свиданиях — это молчаливый, задумчивый человек, только все смотрел на нас. После Академии поступил учителем Духовного училища в Екатеринослав. Преподавал и в женском Епархиальном училище. Женился на совсем юной девочке, своей ученице. Симпатичная была женщина Ольга Дмитриевна, жизнерадостная. В 1912 г. в Раненбурге она рассказывала папе, что родила своего сына первенца то ли во время танцев где-то на балу, то ли тотчас после танцев, и с детски наивным видом спрашивала: к чему это? <...> Три сына: Василий, Дмитрий, Павел, один — врач. <...> От дяди Васи мы писем никогда не получали; есть карточка без даты: он в семинарской тужурке... Карточка, вероятно, еще от мамы. <...>

Когда-то папа прочитал в газете сообщение из Екатеринослава: ученик Духовного училища во время занятий вошел в класс и выстрелом из револьвера ранил учителя Левитова. Ученик был уволен и стрелял в качестве мести училищу, не имея зла против В.В. Попал в плечо. Еще в 1912 г., когда мы виделись в Раненбурге, В.В. не мог поднимать руку достаточно высоко.

Алексей — родился в мае 1883 г., умер 8 ноября 1933 г. Детский паралич оставил след на всю жизнь: не мог повертывать голову в какую-то сторону. Один из всех братьев остался холостым. Был очень религиозен, до мистицизма. Преподавал в Духовном училище. Едва ли был хорошим учителем. Чудаковат. А дети жестокий народ: не прощают никакого отступления от средины. В советское время его преследовали за религиозность и незадолго до его трагической смерти прогнали с работы. Из поездки на Юг он привез красивый, черный камень. В 1912 г. камень так понравился Сереже, что он упросил бабушку подарить ему. Камень и сейчас у нас. Вот, думали мы потом, было огорчение Алеше!

Есть у нас две карточки — Алеша в косоворотке, стриженый наголо, 23 июня 1903 г., Рязань.

В детстве на Рождество и Пасху мы посылали в Раненбург открытки с картинками. Сами получали открытку от семейства Левитовых. Писал обычно Алеша, своим крупным почерком с наклоном слева направо, он же написал письмо с ответом на сообщение о смерти Сережи. Оно должно быть цело. Но где оно? <...>



А.В. Левитов, 1903 г., Рязань

Дмитрий — родился в октябре 1884 г., умер в начале марта 1952 г. Последний ребенок в семье, любимчик матери, «Митец» — звали его братья. Он сопровождал мамашиньку, когда та приезжала в Скопин к умиравшей маме. Позже, в его студенческие годы (он окончил университет — филолог), ему

пришлось долго ждать поезда в Ряжске. Выпил, и навеселе вспомнив о зяте в Скопине, нашел способ скоротать время — приехал к нам на полчаса, на час и вернулся в Ряжск к своему поезду. Смутно припоминаю этот визит — последний его приезд в Скопин. Ни писем от него, ни его фотографии у нас никогда не бывало. Совсем чужой нам человек.

19 апреля 1913 г. дядя Миша писал папе: «У мамаши к Пасхе большое горе: Дмитрия забрали в солдаты. Впрочем, есть некоторая надежда на освобождение. Лежит в Варшаве на испытании. Хоть и сам виноват, — но все же очень жаль». Служил он один год вольноопределяющимся. <...> «Сам виноват» — думаю, болтался без дела, с государственной службы в армию не брали. Значит, он не был в это время учителем. Жил он в Раненбурге, профессия — учитель средней школы. Жена его, умелая портниха, своим трудом содержала семью. Не признавала ее за родню свекровь: «мещанка», низко для ее сына. А женщина очень хорошая. Были дети. И теперь есть неведомое нам потомство. <...>

Левитовы совсем без слуху, музыку не любили, совершенно не пели. Не знаю, как обходились в службе дядя Миша, да и Ваня. Тяжко слушать таких священников...

Все Левитовы не считали себя способными к математике. В разговоре со мной в Москве в доказательство своей неспособности к математике дядя Паша указал: он всегда затрудняется высчитать сдачу в магазине. Когда я пытался объяснить ему разницу между простым счетом и математикой как наукой, он не хотел вникнуть и понять смысл моих рассуждений, оставаясь при своем мнении как неоспоримой истине. А я нахожу, что ум Левитовых чисто математический. Ему свойственна характерная для математиков узость логических суждений, последовательность, непрерывность цепи, то, что полезно в математике, но во всем прочем приводит рассуждения к отрыву от реального, — качество Левитовых, над которым папа иной раз был не прочь посмеяться. Не знаю, возможно, геометрического воображения и не хватало, — его совсем нет и у некоторых крупных математиков. <...>

...К дяде Паше в нашу комнату приходил повидаться с ним его семинарский товарищ — врач, из той же среды. Узнав, что я на физико-математическом факультете, он с удивлением заявил: «Вот куда потянулись наши!». Трудно мне сказать почему, но семинаристы больше шли в медицину.

Я как-то зашел в Москве в незнакомую мне церковь. Еще в студенческие годы. Было богослужение, священник говорил проповедь: громил математиков, обвиняя их во всем общественном зле. Откуда неприязнь к математике? В мое время в Рязанской семинарии математику преподавал человек, сам учившийся в семинарии и духовной академии, т.е. сам никогда не изучавший математики и не знавший ее. То же и в других семинариях. Такие учителя не могут скрыть своей неприязни к своему непонятному им предмету, не могут и пробудить интерес и любовь у учеников. Ученики воспринимают у учителя не только знания, но в первую очередь его эмоции — стимул к знанию. Наиболее способные семинаристы научались логично мыслить, проникали в глубокий смысл философских учений, знали, что математика — область безусловно содержательная, но им чуждая, недоступная пониманию и потому враждебная. <...>

2 сентября 1969 г.

ВИНОГРАДОВЫ. РОДНЯ БАБУШКИ РАНЕНБУРГСКОЙ

Вот ее родословная:

«Диакон Евфимий» и жена его Александра — из села Вязовёнки Скопинского уезда. Евпраксия Ефимовна, «мамашинька», — наша бабушка. Порфирий — пьяница и лодырь. Он добыл бумагу, разрешавшую ему как члену причта просить пропитание у мира ради его хромоты. Была такая форма, думаю, забыли отменить с древних времен. Порфирий нанимал мужика с подводой, ездил с «бумагой» по селам, набирал много милостыни и пропивал с помощью возчика. И так от кабака до кабака. Был как-то у нас. Смутно припоминаю хромого и объяснения наших — кто это. У него дочь Евгения, Еня Левитовых, их двоюродная сестра. Ее очень любили братья Левитовы. Она не выходила замуж. По крайней мере, в 20-е годы жила в доме Левитовых с дядей Алешей. Работала на махорочной фабрике. Получила чахотку. Последние годы жила в Ступине, под Москвой. Умерла в ноябре 1967 г. Еня сохранила и переслала нам



А.В. Журавлева, 6 сентября 1902 г.

мамин портрет. Он в большой раме в овале висел на самом видном месте в доме Левитовых. Его делал фотограф в Екатеринославе с карточки от 6 сент. 1902 г. после смерти мамы. Теперь он в другой раме, несколько урезанный, висит в моей комнате. Спасибо Ене! Совсем, можно сказать, чужой нам человек, я не помню ее в лицо, и все же поберегла нам портрет. <...>

ПОСВЯЩЕНИЕ

Едва отпраздновали свадьбу — надо было ехать в Рязань: посвящение. Оно состоялось в понедельник 19 июля 1899 г. <...>

В иереи посвящают только дьяконов. Поэтому Ивана Дмитрича накануне, в воскресенье 18 июля, посвятили в диаконы. И на другой день <...> в иереи. На руки была выдана ему ставленая грамота:

ее полагалось строго хранить всю жизнь. Она играла роль того, что в мирской жизни называют дипломом.

Епископ Мелетий, посвятивший И.Д. и надписавший эту грамоту, умер 14 января 1900 г.

ТЕЛЯТНИКИ

В 10 верстах от Пронска, на правом южном берегу реки Кердь, притоке Прони, большое село Дурное. Из географии Семенова в нем жителей до 4500, волостное правление, школа, лавки. В его же волости в 5 верстах к югу — село Семёнское с 2800 жителей и лавками. Село Телятники на левом берегу Керди, судя по схематической карте верстах в двух от реки и с. Дурного. В географии Семенова оно не упомянуто. Престольный праздник — Казанская — 22 октября.

Когда приехал и первый раз служил — мне неизвестно. Вскоре дополнительное назначение — обязательное, но не бесплатное: заведующим и законоучителем Гороховской церковно-приходской школы Пронского уезда. Состоял с 16 августа 1899 г. по 2 июня 1900 г. Горохово верстах в двух от Телятников.

Молодой человек с жидкой бородкой и усами, «батюшка» о. Иван с своей «матушкой» по вечерам гуляли, за ними шел кот Синегуб. Все удивлялись: идет за хозяевами как собака. Много раз вспоминал Синегуба папа. Он любил кошек. <...>

Ездили вдвоем с мамой по санному пути в Журавинку. Мама трудно переносила езду в санках. Ее мутило. Весной 1900 г. беременная мама уехала в Раненбург. <...>

Я пишу эти строки 24 мая 1969 г. Вчера — день рождения Сережи, исполнилось 69 лет. Сережа родился в Раненбурге в 4 часа дня 10 мая 1900 г. Родился в доме Левитовых, «на большой кровати», на которой через год родился и я. Из Раненбурга с ребенком мама приехала уже в Скопин. «Папа, правда — я родился в Телятниках?» — все спрашивал Сережа-малыш, полагая в этом какое-то отличие: Скопин, Журавинка — обычно, а в слове «Телятники» для нас было что-то заманчиво таинственное.

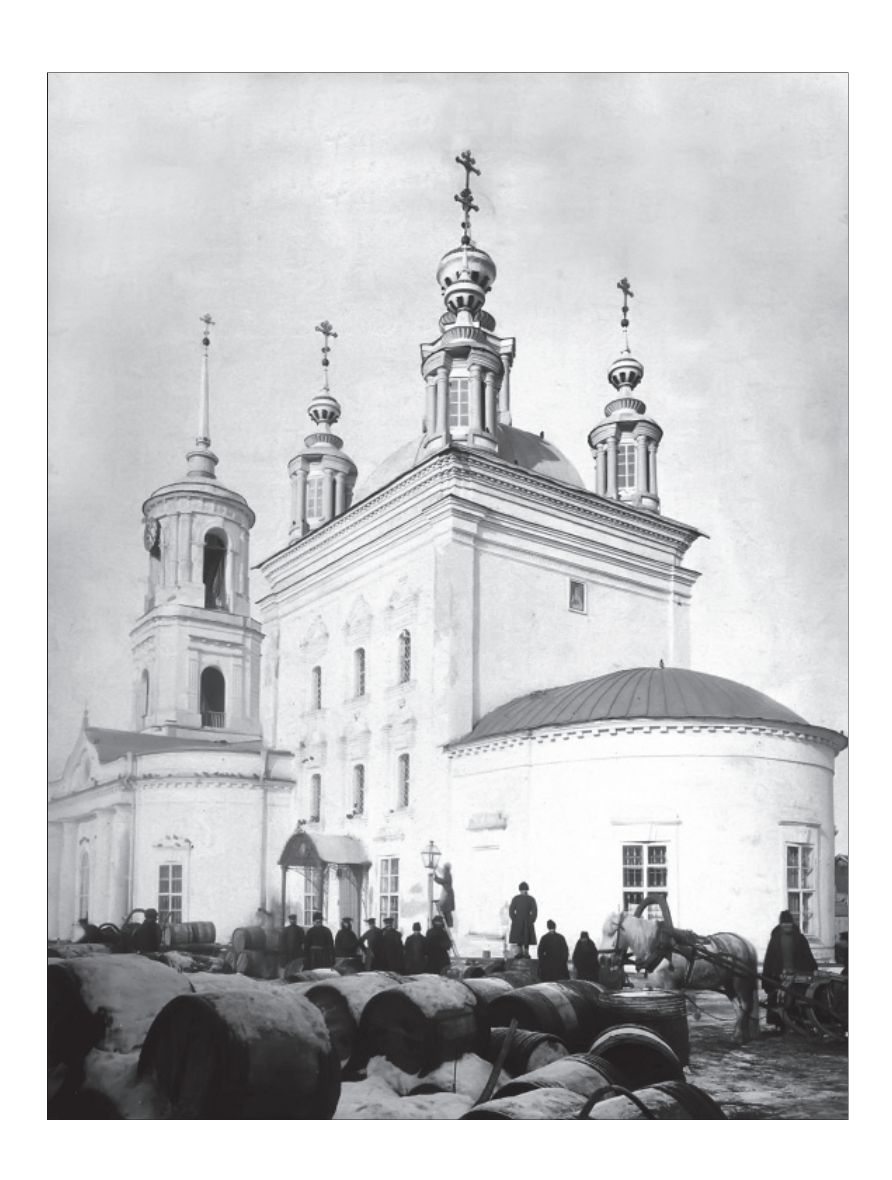
Папа оставался в Телятниках один. Тосковал: «никого кругом из родных», — рассказывал он. И вот неожиданно приехал Михаил Маркин — из Журавинки. Очень испугал: папа знал — дедушка

был болен, и подумал о несчастии. А Михаил доставал не спеша письмо и все уговаривал: «Ничего, Иван Дмитрич, ничего!» — не объясняя цели приезда. Медленно достал письмо. Медленно развернул. В нем дедушка сообщал об освободившемся в Скопине месте: 30-го мая умер священник Пятницкой церкви Николай Домачевский. Папа поехал сперва в Скопин, а затем в Рязань хлопотать о переводе.

Надо было явиться на прием к архиерею и его просить. Когда папа сказал, что просит перевести на место в Скопин, услышал раздраженный ответ: «Нет, нет! Это место я обещал наместнику Троицкой Лавры архимандриту Павлу». Все уладилось, как только папа объяснил свое отношение к Павлу. 2-го июня — резолюция епископа Полиевкта о перемещении в Скопин. 5-го июня — дата указа. <...>

Глава седьмая

Скопин



Пятница 29 августа 1969 г.
Сегодня день рождения папы — 95 лет.
Я и Катя в саду. Аня и Сева в Крыму, Коктебель.
Уехали в субботу 23-го — отпуск.
Вечер теплый, лунный, летний, какие бывали
в Скопине, редкие под Москвой в наше время.
Все лето погода осенняя и только с понедельника
25-го августа установилось лето. Надолго ли?..
Я сижу и дописываю и исправляю эту главу.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

30 мая 1900 г. умер о. Николай Домачевский, священник Пятницкой церкви. А уже 2 июня — резолюция епархиального архиерея о переводе на его место священника церкви в с. Телятники И.Д.Ж.

Итак, в начале июня 1900 г. папа переведен в Скопин. Сохранил он дату последней службы у Пятницы — на Сретение 15 февраля 1931 г., но не сохранил дату первой. <...>

Первая квартира — в доме против городского сада, с юга. Теперь я не могу его узнать. Переделали? Сломали? А прежде знал. Дом по улице длинный, и, вероятно, сдавалась только часть. Сюда привезли из Раненбурга Сережу. Жили около 6 месяцев. Вскоре переехали на другую квартиру, по скопинским представлениям, далеко от Пятницы и пятницкого прихода — на Первой Новой улице. Сюда привезли из Раненбурга меня. Позже этот дом купил офицер Ляхов, в 1909 г. сломал и на его месте построил новый, цел и теперь. Это против нашего дома, несколько левее. <...> В этой квартире тетя живала подолгу, вероятно, когда мама уезжала гостить в Раненбург. Тетя рассказывала о хозяйке. Запомнилось лишь, как она варила варенье из крыжовника, как много говорила и очень хвалила варенье «ералаш». Тете тогда слово незнакомое, и она спросила: «А где растет ералаш?». Тете простительно. Но непростительно, когда теперь говорят «ассорти», облагородив слово в смердяковском смысле.

В дом Брежнева на Второй Мещанской переехали в 1902 г. В этом доме родилась Катя, умерла мама, протекло наше детство. Он так памятен нам! Мы переселились в свой дом в августе, быть может, в начале сентября 1911 г. <...>



Семейный памятник Брежневых на Скопинском кладбище, 2015 г.

Когда после двадцатилетнего перерыва в 1954 г. был в Скопине, я разговорился с мальчиком, жившим в этом доме, под его предводительством вошел во двор, из нашей кухни выскочила женщина и после моих объяснений, по-базарному, крича с пылом, принялась ругать власть, ругать так, как после времен Сталина вслух никто не дерзал. Хотя злоба не по моему адресу, но настроение пропало, и я ушел.

Хозяин дома — богатый купец Павел Николаевич Брежнев — жил в соседнем большом двухэтажном доме. Он пятницкого прихода, как и весь этот квартал. За все время ни сам хозяин, ни кто другой от него к нам не приходил. Впрочем, заходили к нам дворник и кучер Брежнева — рослые красивые ребята, стриженые в кружок, Григорий, Иван. Думаю — в чем-нибудь помогали по хозяйству. Чистили снег, подметали улицу? Сами мы этого не делали. Ежемесячно папа заносил в лавку хозяина 15 рублей, около трети тогдашнего заработка. Дорого, но квартира удобная: теплая, близко от церкви и прихода, жили одни во всем доме, было свободно, и никто от безделья за каждым шагом жильцов не следил. Недостатки: маленький двор без садика, где бы хорошо играть детям, много мух из-за близости мясных рядов, первые годы совсем рядом стояла салотопня купца Колтырева. Когда она работала, сильно воняла. Но скоро ее сломали, и соседняя усадьба все время пустовала, стояла заброшенная.

На памятнике скопинского кладбища написано — купец Брежнев Павел Николаевич родился 6 июня 1846 г., умер 28 июля 1909 г. <...>

Дом внутри по бревнам обит войлоком и оштукатурен, снаружи обшит тесом. Фасад оформлен с большим вкусом. Три окна, среднее с круглым верхом. Над ним окно на чердак. С боков двери, правая с крылечком, левая глухая, декоративная. Все красиво убрано резьбой. Окрашен в синий цвет. «Синий дом» — называл его Миша Лохов, вспоминая в 50-х годах. Я сфотографировал его в 1934 г. За 23 года после нас, да еще годы революции и разрухи, он сильно пострадал, украшения пообломались, от краски ничего не осталось. В каждую поездку в Скопин я прохожу мимо него. Есть мои снимки и 50-х годов. Теперь это совсем развалина.

В доме пять комнат: прихожая, направо зал, прямо столовая, от нее налево кабинет — «папина комната», направо спальня — «тетина комната», как мы ее называли. В кухню отдельный ход из холодного коридора. Она чрез стену с папиной комнатой. <...>

* * *

<...> В Скопине Пятница[1] стояла в самой торговой части города: кругом в кварталах лавки, а с одной стороны — базарная площадь

---

1 По свидетельству, в частности, И. Сушицкого (Скопин. Краткое историческое исследование. Рязань, 1921), Пятница была больше других церквей (и больше собора) любима горожанами.

У И. Добролюбова о Пятницкой церкви сообщается следующее: «“Храм во имя святыя мученицы Поросковеи, нарицаемыя Пятницы деревяна клецки да предел Никиты епископа Медиоланского” упоминается в Ряжск. писц. кн. и значится “за острожком, на посаде в большом остроге”. В означенной церкви “Божие милосердие, образы и книги и ризы и колокола и всякое церковное строенье было вотчинниково и мирское и попа Июды да к Пятнице ж боярского жалованья на гуменныя места под лесом на поляне”. На церковной земле у Пятницы показано 3 дв. поповых. По окладн. кн. 1676 г., кроме 3 дв. поповых, значится дв. пономарской и просвирницын, а в приходе —“три двора подъячих, сорок два двора посадских людей, пятьдесят девять дв. стрелецких, девяносто дв. крестьянских, тридцать дв. бобыльских пришлых, на государеве дворе восемь семей работников и всего 236 дворов”. В 1628 г. в приходе к Пятницкой церкви, как видно из досмотра старосты поповского с. Лопатина Покровского попа Иосифа, состояло 278 дв., несмотря на то, что “из того Пятницкого приходу в Скопине в Подлесной слободе” при новопостроенной Богоявленской церкви образовался особый приход; в 1734 г. показано в причте 2 попа, 1 диакон и 1 дьячок, а приходских только 140 дв. Построение, вместо деревянной, каменной Пятницкой церкви с приделами Предтеченским и Тихвинским начато в первой половине прошлого столетия. Первоначально был окончен Предтеченский придельный храм, который каменщик Фома Иванов

с бесконечными лавчонками, ларьками, обжорной. В базарный день всюду около подводы. Есть старый снимок с юго-востока. На моей памяти он лежал у папы всегда. Есть два моих снимка с северо-востока и части колокольни — 1934 г. Есть на иллюстрации «Скопин» в географии Семенова. Церковь из двух частей.

Настоящая — почти квадрат, окна в три яруса, два боковых входа, большая арка на запад, очень толстые стены... Пол выложен плитками. Не отапливалась, и на зиму арка закрывалась двойными застекленными рамами. Иконостас золоченый резной во много ярусов, большой алтарь в пристройке. Внутренний вид оставляет впечатление старинной церкви, построенной без вкуса. Престольный праздник в день Параскевы-Пятницы — 28 октября, 10 ноября н. ст. Когда служили в Настоящей, было тесно, а из теплой плохо слышно службу.

Очень хороша теплая часть — Трапезная. Она отапливалась духовой печью, пол деревянный. Своды, по высоте гармоничные с размерами площади, создают впечатление простора, обилия воздуха. Большие окна, и днем достаточно света. Хорошая акустика. Роспись сводов, орнамент, картины в сине-красных тонах, в русском стиле. Два алтаря: южный престол в память Ивана Предтечи,

Чернышев взялся выстроить из своего материала и с своими припасами за 800 руб. В 1744 г., по просьбе попов Никифора Семенова и Андрея Кононова, выдана была преосв. Алексием благословенная грамота на освящение новопостроенной камен. церкви, которая и освящена была г. Скопина Воскресенским прот. Пантелеймоном 30 ноября того же года. Время освящения настоящей и Тихвинского придела неизвестно. В марте 1752 г. Пятницкой церкви поп Андрей Кононов и диакон Назар Иванов просили выдать им указ на священнослужение при их Пятницкой церкви, которое было приостановлено вследствие <...> случившегося в городе сильного пожара. <...> Вследствие пожара, случившегося в мае 1810 г. и истребившего более половины города, в сводах придельных храмов показались трещины <...> в 1824 г. своды были разобраны и заменены деревянным накатом; в 1832 г. оба придела, за ветхостию стен, были разобраны и сооружены по новому плану, а в 1833 г. в 6 и 7 день февраля освящены. В том же году переделаны были окна в настоящей церкви, а алтарь перестроен весь заново и освящен 7 окт. 1834 г. При Пятницкой церкви имеется неприкосновенного капитала в билетах в пользу церкви 161 руб. и в пользу причта 1,411 руб. <...> Дай Бог, чтобы пример добросовестного отношения к церковному хозяйству настоятеля Пятницкой церкви не оставался единичным явлением в Рязанской епархии. По штату 1873 г. в причте положены 1 свящ. и 1 псал.» (*Добролюбов И.* Указ. соч. С. 149–151).



Скопин. Из книги «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» В.П. Семенова

праздник 29 августа — 11 сент. н. ст; северный Тихвинской иконы Божией Матери, престольный праздник 26 июня — 9 июля н. ст. Ти́хонская — говорили все. Зимою под праздники всенощная всегда служилась в правом приделе, поздняя обедня на праздники в левом. К старому зданию храма пристраивали, приделывали дополнительные помещения, где и располагали еще алтари. Отсюда название. Паперть небольшая, в нижней части колокольни. С паперти дверь в сторожку и дверь к лестнице — лаз на колокольню. Два главных входа с широкими лестницами — с юга и с запада. На колокольне с юга — городские часы с боем, единственные общественные часы в Скопине. <...>

Очень оригинален и красив по тембру звон пятницких колоколов, резко выделявшийся среди звона других церквей: ясный, серебристый, теноровый звук, хорошо, гармонично подобранные колокола. А в других церквах — басовые разного тембра. В Соборе большой колокол — красивая, мощная, густая октава. Полагалось: первый удар колокола — в соборе. Он служит сигналом к началу звона во всех церквах. И вот над городом общий гул со всех сторон и на его фоне выделяются красивые звуки Пятницы.

На моей памяти всегда звонарь — Федя раскосый. Он гармонист, играл за плату на свадьбах, вечеринках. Летом работал сторожем в городском саду. Человек музыкальный, чудесно звонил. Особенно помнится: после долгой торжественной всенощной выходишь из церкви усталый, а здесь тебя охватывают бодрые, радостные звуки Федина трезвона. И вот удивительно: когда теперь на улице раздаются оглушающие звуки радиорупора, они раздражают своей громкостью. А громкий музыкальный звон колоколов действует на нервы совсем иначе — бодрит, радует, успокаивает, навевает грусть — звон бывает разный.

* * *

Около 1930 г. сотрудники физико-химической лаборатории НАТИ устроили прогулку под Звенигород. Мы болтались где-то близ леса. Яркий, знойный летний день, и вдруг мощный вибрирующий звук заполнил все пространство. Он так гармонично сливался с ощущением простора, жарким воздухом, сиянием солнца, с чудесной подмосковной природой, что впечатление было потрясающее: до предела напряженное чувство слияния с природой, ощущение чего-то поднимающего, высокого, неземного... В Звенигородском монастыре Саввы Сторожевского ударили два-три раза в громадный 2000-пудовый колокол. Для экскурсантов: там был уже дом отдыха. В мае 1938 г. я жил там четыре недели, был на колокольне, стоял около этого колокола. Но ударить уже нельзя, запретили: вожди заметили — при звуке колокола жители слободы начинают креститься. Это очень опасно: может вызвать гибель нашего госстроя. Когда к Звенигороду подходили немцы, военные власти хотели вывезти колокол в тыл, снимали и разбили, не справились. Погиб чудесный памятник искусства русского народа!..

* * *

Причт Пятницы — пять человек.

Настоятель — священник Иван Семеныч Соловьев[2], «отец Иван Старый» — называли его прихожане после поступления папы. Он старик, родился, по моим расчетам, около 1830 г. Жил с женой в своем доме, низенький, каменный, 3–4 окна, около Пятницы, через дорогу. Его усадьба и наша старая квартира соприкасались задами, но наглухо разделялись нашим сараем. Бездетные. Прежде имели одного сына, в 70-е годы он был учеником Рязанской семинарии — у нас сохранились два выпуска его учебной Библии. В 1907 или 1908 г. о. Иван вышел по старости за штат. Я помню его за церковной службой в правом приделе. Если нет певчих, он стоял на правом клиросе. Голова дрожала. Окунал гребешок в масло лампадки и расчесывал свои длинные, но поредевшие волосы... Папа опекал стариков. В Помяннике записаны даты смерти: 14 сентября 1914 г. — протоиерей Иоанн Соловьев, 9 февраля 1919 г. — Елизавета Соловьева. Его место занял о. Василий Чельцов.

[2] Священник Пятницкой церкви с 1 янв. 1860 г. (указано у И. Добролюбова).

Василий Петрович Чельцов с большим семейством — сын Петяшка и шесть дочерей, старшие уже невесты, со всем сельским хозяйством — лошадь, корова, овцы... — переселился из с. Александрова. С чадами и домочадцами, со стадами своими — право, как ветхозаветный прародитель евреев патриарх Авраам. Снял квартиру в южном конце Садовой улицы. Мы всем семейством — трое ребят, тетя, не помню про папу — были у него там. Присылал за нами свои сани розвальни. Мне казалось: ехали развалясь на соломе далеко, приехали почти в деревню. Не знал я, что в Скопине есть такие улицы. Не верилось, что это конец столь знакомой тогда нам от соборной площади до больницы улицы. <...>

Второй священник — папа, «отец Иван Молодой».

Дьякон Иван Иваныч Альбов. Он умер 9 октября 1901 г. На его место поступил Владимир Иваныч Ильинский, женившийся на дочери Альбова. <...>

Псаломщики, их два — по числу иереев. <...> В 1903 г. у папы был уже Василий Хламов. Сережа и я твердо знали две фамилии: Хламов и Плаксин, первый папин, второй о. Ивана Соловьева. По подписям в сохранившихся документах видно: декабрь 1906 г. все еще В. Хламов, а уже 19 сентября 1907 г. Иван Ефимыч Прудков. У нас дома первых называли по фамилии, а Прудкова всегда по имени-отчеству. <...>

В Москве в мои студенческие годы старостой церкви около университета был известный зоолог профессор Г.А. Кожевников. Кто был старостой у Пятницы в те годы, я не знаю. Не Мухин ли?

Два сторожа у Пятницы. Жили они в сторожке, первый этаж колокольни, рядом с папертью. Их обязанности: караулить, топить

печь, поддерживать чистоту и порядок, украшать церковь к праздникам. В этом им много помогали женщины-прихожанки, постоянные посетительницы церкви. При богослужении сторожа зажигали и тушили свечи и лампады, носили большой подсвечник при выходах и прочая — они выполняли то, что прежде делали пономари. Им полагалась форма: сюртук до колен, не шибко, но все же обшитый серебряным позументом. Помню имена менявшихся, подолгу служивших сторожей: Михаил, Василий, Иван, Петр — рыжеватый мужичок военных уже лет и позже. Звали их просто по имени... <...>

В городе тогда было одиннадцать церквей. Восемь приходских храмов: Собор Троицкий, Пятница, Успенье (официально называлась Входо-Иерусалимская), Никола, Вознесенье, Богоявленье, Сретенье и Казанская. Две домовых: в Духовном и Реальном училищах. Одна церковь без прихода — Кладбищенская. Позже, что-нибудь около 1908 или 1910 г., построили еще тюремную. Город поделен на 8 частей — приходов. Приход Пятницы — вся Большая улица, весь квартал, в котором наша старая квартира, и некоторая часть Второй Мещанской, ближе к вокзалу. В свою очередь два священника делили приход между собой, и каждый обслуживал свою часть. Обычно прихожане обращались с требами к своему священнику, но в отдельных случаях — личные симпатии, срочность — можно было и к другому.

В Скопине, в Рязани говорят только прихожа́не. А в Москве мне пришлось услышать и иное произношение — прихо́жане. Так говорил епископ Антонин, украинец по происхождению. Так иногда слышу и теперь. <...>

Требы на дому — соборование и причащение больных и умирающих, отходные умирающим — отправлялись в любое время дня и ночи, по нужде. Стучат, бывало, ночью, за папой, к умирающему. И как это пугало в годы гражданской войны: треба или арест? Людей хватали не за личную вину. Папа бежал сперва к окну посмотреть, кто там.

На Пасху, Рождество и престольные праздники ходили по приходу. Священник и дьякон в облачении ходили с псаломщиком из дома в дом, пели краткое молебствие, многолетие и поздравляли с праздником. Приходили в сопровождении мальчиков, несших иконы из церкви. На Тихонскую носили большой и тяжелый образ — Тихвинскую икону Божией Матери. Папе эти хождения по

приходу были очень тягостны. В основе их лежал унизительный способ содержания русского православного духовенства: подобно нищим ходили, собирая себе на пропитание. Прихожане давали деньги, в деревнях еще и разные продукты. Правда, в наше время основа хождения была народом забыта, по крайней мере, в городе смотрели как на обычай. И вот этот взгляд не давал возможности отказаться от хождения или ходить с пропуском: обижались — «оставил без праздника».

Хождение по приходу занимало два-три дня, праздничных дня, когда так хотелось самому побыть в кругу своей семьи, своих родных, близких.

И еще один тягостный момент — праздничное угощение. В богатых домах это было и заманчиво: отдых, завтрак или обед были необходимы, да и блюда лакомые, и вино на выбор. Подобного дома нет. Но угостить старались и бедняки. У них праздничное вино — водка. Папа не пил водки, лишь наливки и виноградные. А здесь не у всех удавалось отказаться. Обижались: «У богатых ест и пьет, а нами брезгует!». <...>

Папу очень возмущал московский обычай выпрашивать деньги у молящихся. Во время службы священник в облачении обращается с кратким словом, заканчивая его слезным молением жертвовать на содержание храма, ремонт и т.п. В Скопине подобного не было, и церковное богослужение, молитва и материальные заботы не объединялись.

* * *

Не сразу наладились у папы хорошие отношения с прихожанами. <...> В первые годы было много неприятностей с купцами, заправлявшими церковными делами. Староста и группирующиеся около него прихожане ведают только материальной стороной церковной жизни, хозяйственной частью. Религиозную жизнь полностью возглавляют иереи. А купцы хотели командовать всем как у себя в лавке. Вероятно, прежде, при двух стариках, о. Николае и о. Иване, так и было. Не нравилось им и что молод. Основной противник — старик Мухин. Не мог папа поступиться и достоинством своего сана, и своей личной самостоятельностью. С настоятелем о. Иваном Соловьевым он хорошо поладил, и жили дружно. Вероятно, о. Иван Старый был добродушным, тихим человеком и рад был опереться

на молодого, твердого, вполне порядочного, чуждого интриг сослуживца. С жалобами доходили до архиерея. Но он поддержал священника.

Папа сумел заслужить уважение и любовь прихожан, и старик Мухин изменил к нему свое отношение. После смерти Мухина его торговля красным товаром перешла к сыну. Большой магазин против Пятницы, в одном квартале с нашей старой квартирой, самый крупный магазин мануфактуры для деревни. На первом листе переплета книжки «Служебник» надпись:

Иоаннъ Дмитриевичъ
Журавлевъ
1899 г. 18 июля.

На полях месяцеслова против соответствующих дат записаны фамилии прихожан. Это дни именин наиболее влиятельных прихожан Пятницы в первые папины годы. Думаю так потому, что написаны они одними чернилами, более поздних, напр. Алексея Капитоныча Иконникова, среди них нет.

Вот этот список. Со всеми ними на моей памяти были хорошие отношения.

Сентябрь 30	*М/ихаил/ Гр/игорьич/ Фаддеев.*
Декабрь 6	*Н/иколай/ А. Шебакин.*
Январь 12	*Т/атьяна/ Г/авриловна?/ Власова.*
Март 30	*Ив/ан/ Ник/олаевич/ Мухин.*
Апрель 23	*А/натолий?/ И/ванович?/ Мухин.*
Июнь 29	*П/авел/ Н/иколаевич/ Брежнев.*
Июль 15	*В/асилий/ Т/имофевич/ Власов.*

<...> Соборным протоиереем был Стахий Полянский (дом рядом с нашим). В Скопине по царским дням бывали военные парады на площади у Собора. Начинались они богослужением. Участвовало все городское духовенство, свободное от службы у себя. Бывали крестные ходы: на Крещение к реке «на Иордань», в Духов день — к Троицкому монастырю. Шли от Собора, возглавлял протоиерей. Но административной власти над духовенством города он не имел. <...> Вплоть до смерти 1 января 1914 г. благочинным был о. Валериан Константов, священник Никольской церкви. Был он зажиточен, имел наследственные средства.

* * *

В послужном списке И.Д.Ж. записано: «Скопинским отделением епархиального училищного совета назначен законоучителем Скопинской церковно-приходской школы 12 августа 1900 г. и проходил оную должность по 13 июля 1909 г.» Это бесплатное поручение последовало тотчас же после перевода в Скопин. Есть фотография (23 x 17 см) группы начальства и учителей этой школы. На карточке — сидят: дьякон Собора Григорий Иваныч Егоров (1872–1945), священник Николы о. Иван Кедров († 29 мая 1911); благочинный о. Валериан Константов (†1 января 1914); соборный священник Иван Алексеич Суханов († 10 марта 1952); И.Д.Ж; стоят учителя: Пономарев, Елизавета Ивановна Любомудрова, Ольга Петровна Сионская. Даты нет. Сравнивая с другими снимками, прихожу к заключению: близ 1901 г. Это у нас единственный снимок Григория Иваныча (тогда мы его звали «отец дьякон») в таком виде. <...>

Далее в послужном списке: «Состоял членом ревизионного комитета по Скопинскому Духовному училищу с 1903 г. по 1 октября



Учителя Скопинской церковно-приходской школы и члены училищного совета, 1901 г.

1906 г.». Это тоже общественное поручение по выбору духовенства. <...>

Пока отправлялись все эти служения, домашняя жизнь шла своим чередом. Назревали крупные события. И вот случилось одно колоссальной важности: в среду 30 мая 1901 г. в 6 часов вечера в Раненбурге родился Дмитрий Журавлев. Немного известно мне об этом событии, хотя я в нем играл одну из главных ролей, даже самую главную; не будь меня, ничего бы не было. Известно только что написал дядя Паша в своем последнем письме, да что написано в метрике о рождении. А написано там, что крестили 31 мая протоиерей Михаил Дядьков с причтом и что крестный отец — священник соборной церкви Василий Васильич Левитов, а крестная мать Мария Степановна Дядькова, жена протоиерея Михаила Ильича Дядькова. Не знаю, после крестин видел ли я когда-нибудь крёстную.

Папа записал мелким бисерным почерком на листке для заметок в рекламном календаре на 1901 г. музыкальной фирмы Ю.Г. Циммермана:

30 мая родился сын Дмитрий в г Раненбурге.

1901 года осень стояла замечательная; весь сентябрь были теплые, солнечные дни. И вот уж половина октября, а погода стоит такая же хорошая.

9 октября умер диакон нашей церкви Иван Иванович Альбов в Бозановской клинике в Москве.

От себя добавлю: важное событие произошло ровно чрез 55 недель после рождения Сережи.

* * *

Как протекала жизнь дома, были ли знакомства, ходили ли «в гости» и бывали ли гости у них, — я не знаю. Выписывали газету «Русское слово», журнал «Ниву» в 1901, 2 и 3 гг. с приложениями Данилевского, Лескова, Жуковского, Чехова. В 1904 г. выписали «Родину». В 1902 г. выписывали еще «Живописное обозрение» с приложением Сенкевича. После прочтения все это отправлялось в Журавинку. Дедушка прочитывал газету от первого слова до последнего. Книги и журналы возвращались в Скопин. Мама заботилась об уюте дома; картины в рамках, портреты, вероятно, любила цветы в комнатах — было два громадных фикуса, стоявших на полу, большой лимон на окне... Но уют трудно давался. Когда я буду писать о своем детстве, я опишу квартиру и укажу, что из мебели осталось от мамы. Пусто было при ней в квартире! За четыре года в Скопине еще не успели устроиться... Нанимали кухарку и няньку. Не знаю, нашу черную корову купили при маме или позже.

В 1901, 2 и 3 гг. в семье было уже два сына. Старший здоровый, крупный мальчик Сережа походил на отца и был его любимцем. Младшего, болезненного мать особенно любила и находила в нем черты сходства с Левитовыми. Поделили ребят! Одного звали папич, другого мамич. Папа хранил цветную картинку, вероятно, от шоколадки, — головка пышного круглолицего мальчика, малыша в слезах, иногда показывал нам и говорил — очень похож на маленького Сережу, как будто его портрет. Но... нет ее теперь!

На третьи роды решено остаться в Скопине. <...> Катя родилась на нашей старой квартире в воскресенье 12 октября 1903 г. в 8 часов вечера. Закричала басом. «Ну! Опять сын!» — подумал папа. На следующий день крестили на дому о. Иван Соловьев с дьяконом Владимиром Ильинским и псаломщиком Василием Хламовым. Крестный отец — журавинский дедушка Дмитрий Федорович, крестная мать — раненбургская бабушка Евпраксия Ефимовна. <...> Дедушка своей внучке купил золотой крестик. Это целое событие в нашей среде, у всех нас, детей и взрослых, серебряные. Не раз нам, малышам, тетя говорила об этом. Катин крестик вскоре заменили серебряным. А золотой папа хранил у себя и вручил Кате уже подростку. Она вскоре потеряла.

Я помню купель в зале, ближе к дверям, о. Ивана в ризе. Вторая картина: в зале наш большой обеденный стол, за ним люди, за ним же со стороны двора сидит папа. Я стою около него. Под столом бутылки. Вероятно, угощение после крестин. В воспоминании эти две картины не связаны.

* * *

Итак, к 1904 г. в семье трое детей. Нет и не было фотографии семьи в таком составе. Не было семейной фотографии и позже. Как себя помню — мы всё собирались сниматься. Особенно ратовал за это Сережа. Мы, ребятишки, считали поход в фотографию всей семьей делом бесспорным: мы хорошо знали карточку семейства Смир-

новых с папой, видели подобные у знакомых и думали — сняться всем вместе для всех обязательно. Папа тоже собирался. Вероятно, его обещания и подогревали Сережу. Но так и не собрался.

На Пасху 1901 г. папа с псаломщиком ходили по приходу. В понедельник пасхальной недели 2-го апреля были у фотографа Новикова. Кстати снялись. Кабинетная карточка: папа сидит, псаломщик стоит. Не знаю его имени. Это первый снимок в сане и костюме иерея. Еще совсем молодой человек. Усы жиденькие, бородка еле-еле: шел 27-й год. Не могу решить, быть может, снимок в школе ровесник этому.

2 апреля 1902 г. кабинетная карточка: папа стоит, мама сидит. Это первый снимок мамы в замужестве.

* * *

В январе 1904 г. началась японская война. Купили карту района военных действий и лупу ее рассматривать. Ту самую, столь нам памятную — «папино увеличительное стекло», которой я теперь так часто пользуюсь. У уезжавшего из города полкового священника купили письменный стол, тот самый, за которым в саду 28 августа 1969 г., накануне папина дня рождения — 95 лет, я пишу эти строки. Стоявший в Скопине Зарайский полк отправили на фронт. В городе организовали сбор подарков солдатам. Папа участвовал в этом деле, передавал собранное офицеру Николаю (забыл отчество) Александрову, приехавшему из Калуги и отправившемуся на фронт. Александров вскоре был убит. Интересно, в Петропавловске (эвакуация, 1942–3) выяснилось: работавший со мной геодезист Н.Н. Александров родом из Калуги, сын убитого в японскую войну офицера, совпадало и отчество.

Вот и все о том времени. Закончил я эту главу
1 сентября 1969 г., дописав средину.

Глава восьмая

Смерть мамы. Тетя



Фото Д.И. Журавлева, 1960-е годы

Вторник, 22 июля 1969 г. Сад, Покровка.
Сегодня 65-я годовщина со дня смерти мамы,
Анны Васильевны Левитовой-Журавлевой. <...>

В 1904 г. мама уехала в Раненбург. Когда? Я думаю, поездка была связана с концом кормления Кати. Тогда кормили детей грудью шесть месяцев. Получается — апрель последний месяц. <...> Свои воспоминания из самого раннего детства я записал ровно 25 лет назад — 22 июля 1944 г. <...>

Возвращались из Раненбурга чрез Теменку. Так тогда называлась станция Кремлево. Преимущество по сравнению с обычным путем чрез Ряжск и Богоявленск — одна пересадка вместо двух. Теменка тогда — временный деревянный барак, полный грязи и мух. Напились воды, ожидая поезд. Заболели и мама и я — брюшной тиф.

Больная мама лежала в зале. Ее остригли. Стричь волосы при тяжелых заболеваниях тогда считали необходимым. Лечил старый доктор Николаев. Он раздражал маму, курил, осматривая больную, и дымил ей в лицо. Постоянный врач в нашей семье — Соломон Максимыч Липец[1]. Но в это время он — на фронте японской войны. Чтобы не растерять практику, он передал своих пациентов брату Сергею, только что окончившему медицинский факультет. Молод! — решили папа и его окружавшие. Заменили старым. В детстве много разговоров слышали мы, особенно папиных, все напряженно рассуждал, как надо было бы поступить, как надо было бы довериться молодому врачу, а не старому инертному, и все могло бы быть иначе. Не знаю. У меня осталось впечатление, что наиболее тогда известный в городе врач Николаев придерживался пассивных методов, предоставлял организму са-

[1] С.М. Липеца до сих пор помнят как замечательного врача, его имя поминалось на праздновании юбилея скопинской больницы («Соломон Максимович Липец в октябре 1919 года, когда в стране царила разруха и свирепствовали инфекционные заболевания, был занят организацией второй больницы, которая именовалась Домом здоровья»), его профессиональные инструменты выставлены в скопинском городском музее. «Рязанская энциклопедия» в отдельной статье, посвященной С.М. Липецу, сообщает: «авг. 1871, г. Ковно (Каунас) — 10.3.1959, г. Скопин, терапевт, суд.-мед. эксперт Скопин. участка, орг-р здравоохранения в Скопин. у., засл. врач РСФСР (1948)».

мому справляться с болезнью. Думаю, мама не была физически крепкой: воспитание тепличное с малых лет, физического труда не знала, не было повода закалить организм, дело кончилось воспалением брюшины. И 9-го июля по старому стилю в 4,5 часа дня — смерть.

<...> Приехала в сопровождении 20-летнего сына Дмитрия и мамашинька Евпраксия. Она боялась подойти к больной: заразится! Как-то мама слабым голосом с сердцем махнула на нее рукой: «Уйди!» — и подозвала бабушку журавинскую...

Мама отдавала себе отчет в приближающейся смерти. Ослабевшей рукой она написала завещание детям.

Я помню из того времени два момента. Первый: я лежу больной на папиной кровати в его комнате. Чрез открытую дверь вижу в столовой наш круглый стол, за ним мамашинька лицом ко мне. Вот он, этот стол, предо мной, теперь около моей кровати в Покровке. Обычно он стоял в зале пред диваном. Очевидно, на большом, обеденном лежало тело мамы, в зале. Второй момент: я реву на папиной кровати, мамашинька пытается взять меня на руки, а я жестоко царапаю ее лицо — был злой, как все болезненные дети. Подошла тетя. Она только что приехала из Ростова. И после отчаяния и неистовой злобы к бабушке, я так же возбужденно рад тете, пошел к ней на руки. <...>

Листок численника «Воскресенье 11 июля 1904 г.» с папиной записью: «День похорон моей милой жены». С того времени до сего дня он лежит в папиной Псалтыри. Похоронная служба, отпевание — у Пятницы. <...> Гроб принесли в церковь пред поздней обедней. После обедни — отпевание. Во время похоронной службы и при выносе гроба из церкви редко, протяжно, печально гудит колокол. В Скопине было принято гроб на кладбище нести на руках в сопровождении духовенства. Могила мамы на городском кладбище, близ церкви, с северной стороны. Теперь там и Сережа, тетя, папа, Маша Кормильцева. <...>

Папа овдовел за месяц до своего 30-летия. Трое малых детей. Что с ними делать? Обсуждая, мамашинька о восьмимесячной Кате заявила: «Бог даст, Катинька умрет...», — «Нет! Выходим!» — решительно заявила бабушка Журавлева... Заменить нам маму осталась тетя Анюта, наша дорогая тетя... <...>

Судьба мамина завещания. Папа вложил его в старый конверт. Показал нам только в конце 20-х или в 30-е годы. Почему не раньше, когда оно могло вызвать несравнимо больше переживаний, — спросил я. Ответа не последовало. Тяжело ему было ворошить прошлое.

Каждый год накануне годовщины дома служилась всенощная. А в день смерти мамы мы, дети, с папой ходили на могилу. Папа служил панихиду. На Пасху ходили с тетей, приносили красное яичко. Белая железная ограда, зеленый могильный холмик, ни креста, ни памятника...

Дядя Паша заказал в Екатеринославе увеличенные портреты мамы с карточки 6 сентября 1902 г. Большой висел в доме Левитовых в Раненбурге, а теперь у меня в комнате. Поменьше — у нас в зале и на старой квартире, и в новом доме. С этой же карточки папа заказал живописный портрет какому-то художнику в Павельце или чрез павелецких. Ему давали волосы мамы, кофточку, в которой она снималась. Смутно припоминаю тетю то ли отдававшую, то ли бравшую возвращенную кофточку — где-то около двери из столовой в ее комнату. В Скопине портрет висел пред папиным письменным столом. А сегодня за этим столом, уже ветхим, я пишу эти строки в саду, в Покровке, а портрет — в моей комнате, в Сокольниках. <...>

Сохранились вещи мамы — память о ней.

Шкатулка — папин свадебный подарок. Обычай: жених пред свадьбой дарил невесте ларец. На нашей памяти она стояла у папы на письменном столе, против средины, и очень мешала ему писать: формат старого листа больше современного. Справа и слева от нее книги и бумаги, на ней тоже куча бумаг.

Щипцы для завивки волос. Если память не изменяет, хранились они у папы в одном из ящиков письменного стола. И когда папа выдвигал этот ящик, мы рассматривали щипцы: мамины!

Веер и зонтик, совсем такой, какие теперь снова в моде.

Золотые часики с синей эмалью и маленькими брильянтами на передней крышке. Ход цилиндрический, не работают. Цепочку, она видна на фотоснимке, пришлось снести в торгсин в тяжелые 30-е годы. Туда же отправился и браслет, от него цел лишь футляр. Брошка и сережки, золотые с бирюзой. Брошка — папин подарок.

Внутри футляра надпись: «Анне Васильевне Журавлевой, моей милой и дорогой жене».

Бархатный альбом, подарок дяди Паши. <...>

Из Раненбурга мама с собой привезла серебряную кружку <...> и три серебряные столовые ложки. На старой квартире одну-две из этих ложек доставали для больных пить микстуру («через час по столовой ложке»). А теперь мы ими обедаем. Да, кажется, и полдюжины серебряных чайных ложек оттуда же. Сохранилось пять. В Москве они у нас в ходу. А в Скопине их давали по большим праздникам и в торжественных случаях гостям.

После мамы осталось наследство — деньги в сберкассе. Завещания не было, и получить их законные наследники могли лишь по решению суда. 4 октября 1907 г. состоялось определение Рязанского окружного суда по гражданскому отделению. Капитал в сумме 1357 руб. 47 коп. разделен так: мужу 1 часть, дочери 1/8 часть, остаток сыновьям поровну. От налога освобождены, т.к. доля каждого меньше 1000 руб. Опекуном детей назначен отец. Я вычислил: папе 339,36, Сереже и Мите по 424,21, Кате 169,69. Возможно, папины пошли на постройку дома. А детские вместе с процентами — в первый год революции все вклады в сберкассу конфискованы.

* * *

Когда-то мы спрашивали папу, дружно ли они с мамой жили, не ссорились. Сперва он уклонялся от ответа. Потом с обычным лаконизмом сказал: «Да, бывали...», — «Из-за чего?» — «Она больше тянула в Раненбург, а я в Журавинку».

Конечно, в 25-летнем возрасте медленнее и труднее сглаживается разница в уже установленных привычках, образе жизни, взглядах на вещи. Так, маме не нравилась запись каждой копейки, а папа вел точный учет деньгам еще на семинарской скамье. Не удовлетворяла малопитательная пища... Впрочем, и жили они вместе всего пять лет. Разница еще не сгладилась, общее только начинало складываться. Ссоры неизбежны. Да и материальное положение не было достаточно обеспечено: «доход» не покрывал потребностей.

18 сентября 1960 г. в Вороновке Миша Лохов рассказал мне. Привез он дедушку и бабушку из Журавинки к нашим в «синий дом» — в брежневскую квартиру. А здесь между папой и мамой

шла ссора. Мама запустила в папу конфоркой от самовара. Но когда папа вышел, она усадила дедушку и бабушку за стол чайпить, говоря: ссора — между ними, и это только их дело, и к дедушке и бабушке это не относится. <...>

Когда Миша отвез дедушку и бабушку в Журавинку, дома ни слова про ссору не сказал. Тотчас же прибежали от бабушки за Марьей Григорьевной. Бабушка учинила допрос: что рассказывал Мишатка? — и узнала — ничего.

Да! Тогда ничего, но чрез полстолетия рассказал все, что запомнил. И сохранил нам единственную черту мамы как живого человека — горячность. Сохранил и общую оценку — «очень хорошая была». А сами мы со слов наших знали только — мама была умной. Это, конечно, характеристика, но слишком неопределенно общая. <...> Мы совсем не знаем мамы. <...>

Я помню маму в Раненбурге. Она, я, дядя Паша на лодке. Мы в беседке за столом. Но отчетливо помню только общую обстановку, детали, новое для меня. А мама рисуется как-то смутно. Она здесь, но как она выглядит, представить себе не могу. Вероятно, глубоко врезалось в память то, на что больше обратил тогда внимания, — новое. А мать ребенку — привычное впечатление.

* * *

Мама — хозяйка. Могу перечислить только некоторые вещи, оставшиеся от ее хозяйничанья и памятные с детских лет.

Двухфитильная керосинка. Мясорубка. Формочки для желе. Вафельница в виде щипцов, — тетя пекла вафли лишь на старой квартире, да и то один-два раза. Судок — в Скопине в нем заливали рыбу, а теперь Катя над ним в саду распечатывала мед, сейчас стоит в шкафу с обрезками; эмаль сильно оббилась.

Кофейник из красной меди с мешочком; он в саду без дела, обломалась крышка, верх, нет мешочка. Очень памятен. Кофе варили редко. Но в нем готовили лекарство от кашля. Резали антоновку, засыпали сахаром и ставили в горячую печь. Любили мы такое «лекарство».

Блестящий оловянный чайник, красивый, но теперь в саду, дырявый. Им пользовались только временно, когда разбивали фаянсовый. Две громадные, казалось мне, синие фарфоровые чашки,

я помню их только разбитыми, валялись на чердаке старой квартиры. Молошник с крышкой, цел. Масленка фаянсовая — огурец лежит на листке. При изобилии молока — своя очень молошная корова (как тошно было выпить по предписанию Липеца четыре стакана молока в день!) — сливочного масла в нашем обиходе не было. Только по большим праздникам сами сбивали, да к приезду дяди Паши: «он любит». <...> Подавали в этой масленке. Крышка — половина огурца — разбита еще в Скопине. Без крышки на Зубовской долго служила мне на письменном столе для мусора. Теперь остался только лист — в саду у меня в столе.

Перечница в виде совы. Очень интересовала нас в детстве. Не пользовались ею. Тогда молотый перец продавали в жестяных коробочках с сеткой, перечница лишь для фасона. Теперь Аня любит подавать ее на стол к обеду. Фаянсовые глубокие и мелкие тарелки. Без мамы ими пользовались лишь в торжественных случаях. <...> Наконец, стеклянная узорчатая сахарница. Она служила нам неизменно до конца Скопина. <...>

Похоже — мама старалась наладить жизнь на городской манер, как в более зажиточных интеллигентных семьях. <...> Вещи до известной степени могли быть проявлением вкуса. Могли быть и просто подражанием, «как у всех». Я склонен к первому выводу: у всех мебель коричневая, а мама заказала перекрасить вновь купленную в черный цвет. Фонарь тоже куплен оригинальный, не принятой у всех формы.

Сад, август 1969 г.

* * *

Умершую маму заменила, вполне заменила нам тетя, Анна Дмитриевна Журавлева, тетя Анюта. <...> Звали мы ее всегда «тетя», без имени. <...>

Маша Кормильцева в письме, полученном 8 января 1962 г., писала: «Я часто тетю вспоминаю. До вас она была все время болезненна. А когда пришлось ей ходить за вами и вообще хозяйничать, то она совсем как-то преобразилась. Хлопотала, как ни в чем не бывало». Из Ростова, где она гостила, тетя приехала в Скопин 11 июля 1904 г. Так и осталась воспитывать нас. Приехала в возрасте 38 лет. <...>



А.Д. Журавлева, 1926 г. Фото Д.И. Журавлева

Сама научилась читать. Любила читать и много читала. Много читала вслух нам, ребятишкам, еще когда мы сами не умели. Помню «Юрия Милославского» — книжка к журавинским попала от Лоховых. Много читала бабушке. Читала медленно, часто коверкая слова. Иностранные фамилии особенно. В Павелец из Москвы, от Вани Кормильцева, из Павельца к нам в Скопин привозились выпуски бесконечного романа «Пещера Лейхтвейса»[2]. Тетя по вече-

[2] Знаменитый приключенческий роман немецкого писателя В.А. Редера, переведен на русский язык в кон. XIX в. и неоднократно переиздавался.

рам читала бабушке; герой именовался «Лихвас». (Когда же? Старая квартира, значит в зиму 1910–11 гг.?). Любимая еще по Журавинке книга — «Княгиня-цыганка»[3], приложение к «Родине». <...> Тетя берегла ее в большом сундуке с бельем. Помню вечера на старой квартире. Папы часто не было дома, и огонь горел обычно только в столовой. Тетя, управившись с делами, садилась с книжкой за стол читать. Не могу понять, папе почему-то не нравились эти чтения, и если он дома, — иной раз стандартная реплика — «Ну, лекции готовит!» <...>

Мы, ребятишки, все делили: это мое, это мое. Тетя к нам присоединялась совсем по-серьезному. В саду была Сережина яблоня — царский ранет, моя — мирончик <...> Катина — терентьевка, яблоня с красивой кроной под моим окном, тетина — «репка» у скамейки по дорожке со двора к беседке; она засохла при нас.

Восторженность юности и особенно совсем детскую наивность тетя сохранила на всю жизнь. Совсем серьезно она говорила нам: «Смотрю я в церкви (Журавинка) — лучше нас нет никого». То есть красивее. Помню, сын о. Василия Анатолий Кобозев, учившийся со мной в Скопине, о портрете нашей мамы заявил с удивлением: «Как! Это твоя мать?.. Я думал — царица». Но в селе, конечно, были красивые лица — село великорусское. <...>

Помню, еще на старой квартире приходившие к папе женщины иногда были столь нетактичны, что толковали нам, детям, как они нас, сироток, жалеют. Помню особенно сцену с одной такой. Она ждала папу в зале, высунулась из окна, а я играл на улице около дома, что-то говорила со мной и стала «жалеть» нас, «сироток»[4]. Очень обозлило меня это сочувствие, я от нее отвернулся, ничего не стал отвечать: мы не чувствовали себя сиротами. Обозлило — я был болезненным и злобным ребенком.

Интересна психика возраста. Когда я и Катя уже работали в Москве, папа вынужден был из Скопина уехать (1931 г.), тете тяжела была разлука не с нами, а с братом. Разлука с нами ей казалась естественной. <...>

---

[3] Может быть, следующее: *Максимов А.Я.* Тайна княгини-цыганки. СПб., 1892.

[4] Эта неумная особа считала — на улице играть неприлично, и только как сирота, безнадзорный, я бегаю. — *Примеч. Д.И.*

* * *

...Некоторые особо почитаемые чудотворные иконы привозили в Скопин и носили по домам, служили молебны. Я помню две иконы: Зимаровской Божией Матери из Зимаровой пустыни и Ивана Богослова из Богословского монастыря под Рязанью. В Богословский монастырь устроился послушником мой товарищ Васька Нарциссов. Приезжал, сопровождая икону. Хорошо пел, красивый звонкий голос. «Апостоле Христу Богу возлюбленный...» — заливался он на глас вторый. Это было около 1914 г.

Иконы большие, тяжелые, носили два сильных мужика. Полагалось — все члены семьи, встречая икону у дома, нагибались, чтобы икону пронесли над ними. Ходили по домам и все желающие помолиться. И вот, еще живя в Журавинке, тетя ходила в Скопине за чудотворной иконой по домам. В одном доме увидела женщину — лежéньку, по тетину выражению. Больная уже шесть лет пролежала в постели, не вставая. Тетю это поразило. «Не приведи Господи в леженьках лежать!» — говорила нам тетя. Впечатление было столь сильное, что в нашем раннем детстве она много раз с большим чувством о нем рассказывала. И вот самой ей довелось пролежать десять лет: с 1924 по 9 июня 1934 г.

* * *

Я думаю — тетю все время подстегивала мысль: люди скажут — вот сиротки, и некому за ними присмотреть. Она очень старалась, чтобы мы были одеты по всем правилам: во всем составе одежек, хорошо обуты, нигде ни дырочки, чисто. Даже летом мы, мальчики, носили две рубашки, обе с длинными рукавами. Верхняя — косоворотка, воротник требовалось обязательно застегивать, подпоясана ремнем. Тогда в моде были широкие ремни — можно видеть на фото некоторых писателей того времени, помню Куприна. У Лени Кормильцева был такой широкий. А Сережа и я только мечтали о них. У нас сперва узкие, портошные, а потом школьные с латунной бляхой, сантиметра четыре шириной. Нижние рубашки тетя шила тоже с воротником, узким. Да еще помочи, а раньше лифчик, поддерживать штаны. Не знали, что такое трусики. В Скопине так называли кроликов. И когда в студенческие годы купили трусики и писали об этом домой, тетя недоумевала: зачем купили кроликов?

Носили длинные подштанники. Босиком не разрешалось, обязательно чулки, а не носки, и башмаки. Очень рано, лет с семи перешли на сапоги. И теперь лето в Скопине жарче, чем в Подмосковье. А тогда в Скопине в июле, августе по старому стилю бывали теплые вечера и ночи, жаркие, знойные дни. На старой квартире летом мы спали под пикейными одеялами, в жару даже под простынями. Но день ходили в полном наряде. Интересно: в новом доме, в саду, таких жарких ночей уже не бывало.

В основном по той же, думаю, причине тетя старалась во всем обслужить нас сама. Не помогали мы в хозяйстве, не поручали нам никакого дела, не приучали к самообслуживанию, к самостоятельности. Тетя любила шить. Не могу понять, почему она не учила шитью Катю. <...> И вот когда пришлось жить самостоятельно, и я и Катя в быту оказались совсем беспомощными. <...>

Дни шли за днями, полные всяких событий. Каждый день казался таким большим, успеешь и набегаться, и поиграть, и подраться с Сережей, и покапризничать. И все заботы тети воспринимались как само собою разумеющееся, подсказанное потребностью момента. Но вот в 20-е годы в один из моих приездов из Москвы тетя разговорилась со мной о том, как она нас воспитывала. Я был поражен: не шло все стихийно, как считал я, она продумывала каждый шаг и старалась придерживаться определенной системы. Лишь один раз в детстве тетя при мне говорила на подобную тему. В Скопин иногда приезжали на гастроли цирк, зверинец, фокусники... Строили из досок балаган и давали представления. Мы пошли с тетей в цирк. Он расположился где-то у станции. Но представления в этот день не было. «Вы приходите в субботу вечером: суббота самый легкий день», — сказала женщина из цирка. Тетя стала ей пространно объяснять, каких правил придерживается она, воспитывая нас, как положено проводить вечер субботы: быть в церкви у всенощной. Меня весь этот разговор очень смутил. Я думал: нельзя говорить на эти темы с совсем незнакомой женщиной. <...>

Папа больше мог. Но он в этом отношении прямая противоположность тете. У него один подход: чтобы был порядок. Под порядком разумелся привычный для него образ жизни, сам собою без его усилий когда-то сложившийся. И от нас строго требовалось не отступать от этого порядка. <...> Очень характерная деталь — приходилось бывать в самых разных семьях, угощения, обеды у бедняков и самых богатых и «знатных» людей города. Много видел. Но он никогда, никакой мелочи обихода не перенял.

А тетя? Я помню масленицу на старой еще квартире. Каждый день тетя пекла блины по-новому, обсуждая способ их приготовления главным образом со своими друзьями портнихами. Вероятно, не всегда удачно, ибо папа всячески убеждал ее печь по-старому, не вводить новостей.

Папа был строг, и мы его очень боялись. На налишнике двери в его комнате хранилась березовая каша — хворостина из веника. В особо серьезных случаях нарушения порядка Сереже и мне доставалось. Иногда только погрозит, а иногда и влепит. Чаще случалось после обеда. Мы обедали около часа, двух. Папа ложился, накрыв голову подушкой, отдыхать до вечерни — в 4 часа. А мальчики иной раз устраивали отчаянную возню в зале, случалось, в восторге с шумом и гамом забегали и в столовую, и даже в папину комнату. Мешали спать. Будили. Обедня служилась в 6 утра, будильник поднимал папу в 5 часов, отдых был необходим.

* * *

Катю папа никогда и никак не наказывал. Тетя читала длинные нотации. Случалось, и нам, мальчикам, тошно было слушать, хотя и не нам адресовалось. Особенно позже, когда я стал больше понимать. Уж лучше бы ударила! <...>

29 июля 1969 г.

Очень трудно мне дать живой образ тети. Ее богатые природные задатки не были развиты. <...> Она говорила негладко, рассказывала бессвязно, коряво, хотя столь эмоционально насыщенно, что в детстве ее рассказы иной раз очень волновали и глубоко переживались, хотя и не все оставалось понятным.

Припоминаю рассказы о революции по ее впечатлениям от 1905 г. Это — какое-то движение, грандиозное, стихийное, неотвратимое. Как только оно достигло вас, к нему неизбежно пристать. Иначе — гибель. У меня осталось тогда впечатление прямо-таки кошмарное, хотя я и не мог понять, что это движется: люди, но както они сливались с неким чудищем, и чудище это обло, стозевно и лаяй... <...>

Тетя — внимательная, вдумчивая хозяйка. Она варила много варенья. На тагане, с древесными углями, в том самом тазу, в котором и сейчас в саду варит Катя. Трудно, утомительно было: жар не регулировался, и тяжелый таз на длинной ручке приходилось то и дело снимать и вновь ставить. Вдобавок около тагана слишком жарко. Мы окружали тетю: помогали снимать пенку — в рот, в тарелочку — «для папы». Она очень следила, чтобы в готовое варенье никто не сунулся со своей ложкой — от следов слюны засахаривается, портится при хранении. Раскладывая в банки, старалась не запачкать стенки выше уровня — тонкий слой дает начало кристаллизации. Варила кисель и обязательно разливала в тарелки горячий. Когда больные руки стали ей изменять и мне довелось помогать ей, иной раз и заменять, я упразднил разливку: только возня и пачкотня! и лишь коллоидная химия подсказала: медленно остывающий разжижается. Не зная законов кристаллизации и проч., тетя вслепую находила обоснованные решения... А варенье у нее в холодном чулане хорошо сохранялось и не засахаривалось.

<...> Мама держала кухарку и няньку. Тетя ограничилась одной кухаркой. <...> На базар обычно ходила сама. В Скопине базары были три раза в неделю: большой — в воскресенье, небольшие — вторник и пятница. Покупалась всякая снедь: молоко, яйца, масло, птица, овощи, летом ягоды, фрукты. Мясо свежее всегда брали в лавках мясных рядов. В погребе имели запас картошки, квашеной капусты, соленых огурцов...

Была у нас своя корова — большая, красивая, темно-шоколадная шерсть, правильной формы красиво загнутые рога, очень спокойная, добродушная. Любили мы рассматривать картинки в географии Пуцыковича[5]. Там была страничка «Коровы» и среди них наша. <...> Жила она и лето и зиму под навесом. Лишь позже,

[5] *Пуцыкович Ф.Ф.* География для народных и других элементарных училищ. С 42-мя типами народов. СПб., 1877 (потом многократно переиздавалась). Ф.Ф. Пуцыкович, несколько раз упоминающийся Д.И. Журавлевым как любимый автор, написал много разнообразных и часто переиздававшихся учебных пособий и книг для народного и детского чтения («Русская история», «Русско-славянская азбука», «Обучение письму и счету», многочисленные популярные изложения эпизодов из Библии, «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа») и даже воспринимался крайне правыми как имеющий опасно большое влияние (о нападках на Пуцыковича в черносотенной периодике Д.И. вспоминает).

на моей памяти, сделали стенку. В амбаре сено. Его покупал папа. Рано утром корову выгоняли в стадо — просто на улицу, проходил пастух и собирал коров. Стадо паслось где-то у Красной горки. В полдень пригоняли — вторая дойка. Вечером третья. Мы любили по вечерам смотреть с крыльца на мирно шествующих по домам коров. Интересовало: какая идет первой, если черная — к ненастью, светлая — вёдро. Помню картину: тетя на дворе близ ворот доила корову, почти полный дойник опрокинулся, молоко потекло под ворота на улицу. Большая лужа! Мы не остались без молока; тетя еще надоила достаточно. Часто бывало: дойник полон, литров десять, разольют молоко по кувшинам и махоткам и идут додаивать. <...>

Вероятно, в 1910 г. корову продали смотрителю духовного училища Доброхотову. Почему? Не знаю. <...> У бабушки в Журавинке к тому времени подросла дочь нашей, рыжая, «терёлка» — по бабушкину определению, т.е. тиролька, порода, которую бабушка очень ценила. <...> Ее вскоре заменили ее собственной дочерью — это уже в своем новом доме. Тоже рыжая, с белым боком. И тоже не много давала молока. Но зато брухачая (бодливая). Пришлось на рога набить колодки.

Это последняя наша корова. Продали в голодные годы: трудно и дорого кормить, а молока мало <...> когда продали, я настоял, чтобы купили много мяса и за обедом наесться вволю.

Мы сели за стол. Каждый получил по большому, громадному куску вареной душистой говядины, не справиться даже с голодовки. В это время приехали Петя и Леня Кормильцевы, только что вернувшиеся из плена. Хватило и им. Был снег, вероятно, зима 1918–19 гг. Шли слухи — власти будут отбирать топливо. Мы спешно перетаскивали свои дрова под террасу: рассчитывали — обыщут сараи, а в саду, где снег не чистился, тропинок не было, искать не будут... Леня с головой, еще полной впечатлений от более чем месячного голодания (в пути обильно снабжали брошюрами, газетами, но не хлебом) и мыканья по вагонам, нам помогал...

* * *

<...> Каждую субботу обязательно мыли полы, купали ребят, смена белья. Ежедневно утром — уборка комнат. Нам не разрешалось сорить. Нельзя бросить на пол бумажку, скорлупу... А в Журавинке

разрешалось. И мы особенно радовались такой свободе: лупили обычное угощение — подсолнушки и — на пол... Дома пол всегда без мусора.

Все вещи на своих местах. Откроешь тетин большой сундук, заменявший комод; набит узлами, хаос. Но <...> у каждого узла свое место. И несмотря на неудобство сундука вместо комода с его ящиками, все нужное она доставала без тяжких и нудных поисков. <...>

Глава девятая

Папа. Школы. Знакомства



Церковно-приходская школа Журавинки

Октябрь 1969 г.

В моем распоряжении список, составленный в 1913 г. и пополнявшийся позже — до конца служебной деятельности. Вот какие появились записи:

«Состоит членом Скопинского Отделения Епархиального училищного Совета с несением казначейских обязанностей с 10 декабря 1905 года и проходил оную должность до 12/25 сентября 1918 года — до упразднения Отделения. Состоит членом Правления Скопинского Духовного училища с 25 сентября 1906 года до закрытия училища в 1918 году 1 сентября. Состоит законоучителем 1-го городского приходского училища с 20 января 1909 года по 1 апреля 1918 года — по день упразднения преподавания Закона Божия. Духовенством Благочиннического округа избран и Его Преосвященством утвержден в должности члена Благочиннического Совета 2 июля 1909 года по 9 марта 1913 года. Преосвященнейшим Димитрием утвержден помощником благочинного городских церквей 9 марта 1913 года и проходил оную по 7 июля 1914 года. Назначен делопроизводителем Скопинского Отделения Епархиального училищного Совета 1914 года 3 февраля и проходил оную должность по 12/25 сентября 1918 года — до упразднения Отделения. По случаю слияния церквей г. Скопина и 1-го округа по просьбе освобожден от должности помощника благочинного 7 июля 1914 года».

* * *

13 июля 1909 г. кончил преподавать в церковно-приходской школе, но уже на полгода раньше, с 20 января 1909 г., начал в 1-м приходском училище. Городское приходское училище — начальная школа министерства просвещения. Обучение три года, мальчики и девочки отдельно. В Скопине школ было несколько. Первое помещалось в Никольском саду, в старом деревянном здании, на просторе среди зелени, на краю обрыва пред долиной Вёрды... Теперь этого дома нет, нет и сада: в порядке городского благоустройства советские власти сад вырубили, на месте школы построили хлебный завод.

А хороший был сад и хорошее место для школы! И я там был! Окончил ее в 1912 г., проучившись последних полтора года.

Смена школ, думаю, вызвана настоятельной потребностью повысить заработок: в церковно-приходской совсем бесплатно, в министерской, помнится, платили 5 рублей в месяц. Да, вероятно, интересней было общество учителей.

* * *

Много значили в жизни выборы в члены Отделения, «несение казначейских обязанностей» и позже, с 1913–14 гг., должность делопроизводителя. Постепенно, вплоть до 1918 г., жизнь заполнилась увлекшим папу содержанием. Со временем он стал основным, фактически ведущим лицом в работе Отделения.

Скопинское уездное Отделение Рязанского епархиального училищного совета — учреждение, по всем правилам бюрократии столь длинно именуемое, — ведало церковно-приходскими школами уезда. В состав Отделения входили несколько городских священников и учителей Духовного училища. Работа велась на общественных началах. Платили только делопроизводителю 10 рублей и казначею 5 рублей в месяц; дела много, а плата более чем скромная. Но все это вместе с членством воспринималось как полезная обществу работа.

Возглавлял Отделение председатель <...> в августе 1900 г. председатель — соборный протоиерей Стахий Полянский, «член-секретарь» — помощник смотрителя Духовного училища Арсений Соколов. В декабре 1910 г. председатель — благочинный Валериан Константов, делопроизводитель — учитель духовного училища Иван Михайлович Федотьев[1]. Позже председатель — смотритель Духовного училища Н.С. Доброхотов[2]. Казначеем — папа после Успенского священника о. Ивана Гортинского, делопроизводителем — после Федотьева.

Положение о церковно-приходских школах издано 13 июня 1884 г. Для государства это самые дешевые школы. Заведование, изыскание средств, организация, постройка, частично обучение — все возлагалось на местное духовенство. Государственные ассигнования если и были, то ничтожные. К чести духовенства следует сказать: несмотря на бесплатность работы и унизительность выпрашивания средств на школу у частных лиц и организаций, духовенство в основной массе сочувственно встретило эту инициативу правительства. Очень скоро школы открылись во многих селах. Надо помнить: открывали там, где никаких других не было. В новом доме на двери папиной комнаты висела карта Скопинского уезда. Все села с ц.-п. школами я отметил красными чернилами. Вот список:

Бараново, Богородицкое, Боршевое, Вердерево, Вязовёнка, Дымово, Жерновки, Затворное, Знаменское, Костемерево, Лопатино, Мурзинка, Милославское, Новые Кельцы, Никольское, Озёрки, Поднаволоки, Ново-Александровское, Спасское, г. Скопин, Троицкое, Черные Курганы, Яблонево, Дмитриевка, Делехово, Кумино.

* * *

Во время болезни Сережа завел адресную книжку. Переписал все адреса, по которым нам доводилось писать. Включил и адреса школ, куда папе, позже с нашей помощью, случалось посылать бумаги. Книжка цела — в самодельном переплете с пометкой «1913 года 6 и 7 октября. Сергей Журавлев». Так сохранился список.

Но не полный! Просматриваю карту Скопинского уезда 1927 г., вижу знакомые названия, а в списке их нет. На старой карте Рязанской губернии (до 1900 г.) помечены Курбатово, Рудинка. У Сережи их нет. Нет и Ерлина, Полян, Топил. Бывал у папы по школьным делам Василий Иваныч Смирнов, священник села Покровское-Шишкино. <...>

Всего школ было до 35. Из них только две второклассные: мужская в Делехове, там один из учителей В.П. Чтецов, папин товарищ по семинарии; женская в Куминé, заведовал о. Александр Орлов, тоже папин семинарский товарищ. Обучение четыре года, программа шире, больше знаний, большее развитие. Были и министерские второклассные школы, напр. в Павельце. Все ребята Кормильцевы учились в ней. А прочие школы — с трехлетним обучением, смешанные, лишь в Скопине женская.

* * *

Работа члена Отделения — присутствовать на собраниях Отделения, обсуждать и принимать решения по всем вопросам, подлежащим его ведению. Иногда членам давали поручения. Так, председательствовать на выпускных экзаменах поручалось члену Отделения или священнику соседних с школой сел. Первые годы папе случалось ездить в села по этому поводу, возможно, и по другим

[1] Окончил Московскую духовную академию в 1883 г.; с 1883 по 1886 г. — учитель Сызранского духовного училища; с 1886 по 1888 г. — учитель Рязанского духовного училища; с 1888 г. учитель в СДУ.

[2] Окончил Казанскую духовную академию в 1879 г.; до апреля 1881 г. преподаватель догматического и нравственного богословия Олонецкой духовной семинарии; с 1885 по 1890 г. смотритель Каргопольского духовного училища; с 1890 г. смотритель СДУ.

школьным делам. А мне позже доводилось писать иереям «отношения» с подобным поручением.

Щедро выдавались похвальные грамоты. Разукрашенные типографские листы брал у делопроизводителя Иван Николавич Егин, журавинский псаломщик. Вписывал имена награжденных и прочие сведения. Как любитель каллиграфии делал это бесплатно. Заведующие школами забирали их от нас для раздачи.

В обязанности казначея входили получка, выдача и отчетность по всем видам ассигнований на школы. Нас более всего касалась выдача зарплаты. Составлялась ведомость, в ней список школ и учителей, размер зарплаты — 30 рублей в месяц, — расписка в получении. Эти ведомости позже часто писал я, еще неустановившимся почерком. Утром каждого 20-го числа папа уходил в казначейство. Тем временем у нас в зале собирались учителя и учительницы, приехавшие из сел получить жалованье, как тогда называли зарплату. Я уже писал: когда с нами жила бабушка, она выходила к ним поговорить. Приносил папа деньги и выдавал. <...>

Для Сережи и меня большое событие: нам присылали громадные ящики с учебниками и книгами для школьных библиотек. Мы деятельно помогали папе распечатывать, разбирать, раскладывать книги по кучкам. Сперва приходил переплетчик Асманов, забирал их. После заведующие увозили их в школы.

Делопроизводителем (10 рублей в месяц) папа стал значительно позже. По послужному списку — с 3 февраля 1914 г. Но он много писал и летом 1913 г. — помню, ему из-за этого некогда было возиться с пчелой, и осенью — помню, когда заболел Сережа, он все сидел, писал: протоколы заседаний составлялись обстоятельно и в нескольких экземплярах <...> или папа добровольно помогал И.М. Федотьеву, или И.М. фактически сдал свои дела раньше официального назначения. Около 1912 г. резко улучшилось положение учителей духовных училищ: их приравняли по зарплате к учителям средних школ министерства. С выслугой лет что-нибудь до 225 рублей в месяц, десятирублевый заработок, к тому же отнимавший много времени, вероятно, уже тяготил пожилого человека.

* * *

Вернусь к послужному списку: член правления Духовного училища как представитель духовенства. Только иногда собрания по вечерам да присутствие на экзаменах. Правда, смотритель в тяжелых

случаях вызывал его к себе на помощь. Так, ученики забрались в библиотеку и выкрали скрипки. Девать некуда, и главный герой торжественно разбил их об угол здания. Присылали за папой. Както вечером прибежал Тимофей, сторож, зовут папу. Взбунтовались ученики во главе с надзирателем Троицким: подали жареных гусей, но будто бы очень плохих. Надзирателям полагался казенный стол и комната. Пробовал папа — не хуже, чем бывало дома. Принес тете пробовать, и она не нашла ничего плохого. Правда, сами мы жили скромно. А Арсений Тихомиров теперь говорит: с его точки зрения, кормили плохо...

Здесь папа познакомился с переплетчиком Севастьяном. <...> Летом Севастьян крестьянствовал, на зиму приезжал в город, жил в Духовном на харчах училища со сторожами под лестницей и там же переплетал книги и «дела» училища и Отделения. Корешок кожаный, переплет прочный, но, быть может, недостаточно красивый. Так живо помню его — приходил к нам, брал или приносил книги. Одет по-крестьянски: овчинная поддевка, шея закутана шарфом, кудрявящиеся полуседые волосы в кружок и большая лысина на круглом черепе. «Фуксинчиком! Фуксинчиком!» — говорил он в нос, предлагая побрызгать краской обрез. Но не прочь был вместо более дорогой и красивой красной кожи поставить в корешок желтую, подешевле, покрасив ее фуксинчиком. Получалось совсем нехорошо.

Неграмотный, но никогда не путал страниц. У нас почти все книги были его работы, начиная еще с журавинских. Переплели их, значит, уж в Скопине. Брал дешево. Для крестьянина важно было самому зиму прокормиться. А харчи хорошие и вволю. Он ценил это. На сторону переплетал по секрету от смотрителя. Я поставил на этажерке книги «Нивы» (Лесков...) в его переплетах, дядя Паша заинтересовался ими. Я очень хвалил переплеты, упирая на их прочность. Но несмотря на прочность, не понравились они дяде Паше: не подходит для современных, думал, старые, церковные.

Хороший, добродушный был мужичок. Умер в 1923 г. <...>

Много времени отнимала работа по Отделению. Но это уже ближе к 1914 г. А раньше уроки Закона Божия, членство в Отделении и в правлении Духовного училища не заполняли досуга. Здоровый, физически крепкий человек скучал без дела. «Очень скучал, делать нечего», — говорил он мне про свои молодые годы. Все вечера свободны, после очередной недели пять дней полностью не заняты. Лишь случайно требы. <...>

Обывательский способ заполнения досуга — хождение «в гости»: прием гостей, устройство домашних праздников, угощение, выпивка, бесконечные и беспредметные разговоры и бич того времени — карты. Все это не привилось, не соответствовало характеру и неосознанным, быть может, наклонностям.

Скучал. Это прежде всего — одиночество, тоска по общению с интересными людьми. Как-то получилось так, что ни с кем из своей среды городского духовенства близко он не сошелся, хотя и была налицо общность служебных интересов. Никто из них не приходил к нам в гости, семьями ни с кем не были знакомы. Не знаю, в чем дело. Конечно, основная масса духовенства была мало интеллигентна и фактически, не отдавая себе отчета, смотрела на свое служение лишь как на ремесло, дающее заработок. И это удаление умственной и собственно религиозной жизни и ее интересов на второй план могло отталкивать. Среди городского духовенства была группа страстных картежников; дни и ночи проводили за «зеленым столом». Папа избегал такого общества <...> общение с себе подобными засасывало, не тянуло вперед, не развивало. Будучи человеком серьезным и умным и не получив твердой установки на жизнь в обществе ни дома, ни в школе (лишь на личную жизнь), он, быть может, несознательно сторонился пошлости: не интересно.

<...> Тетя почти неграмотная, нет даже начального образования. А папино равнялось двум курсам тогдашнего университета. Его более тянуло в интеллигентную среду. Не мог он терпеть и снисходительно покровительственного отношения ни к себе, ни к членам своей семьи.

Наконец, и отсутствие светского воспитания, застенчивость. Помню, Ивановы очень настойчиво приглашали бывать у них. Я спросил, почему же нейдет. — «Ну как я пойду? Приду, а они спросят: зачем пришел?». А папу приглашали очень и очень многие. Он выделялся среди духовенства и умением достойно держать себя и интеллигентностью, да и внешне был красив. <...>

Очень важное событие в нашей жизни: в 1906 г. купили усадьбу с старым домом на Первой Новой улице. Начались наши походы в сад. Началась работа в саду, отвлекавшая мысли от прошлого, заполнявшая весной, летом, осенью досуг физической работой. <...>

Глава десятая

Папа. В церкви



О. Иоанн Журавлев с псаломщиком В. Хламовым

Октябрь 1969 г.

Служба в церкви. Основные события того времени, известные мне, — это смена членов причта, да по послужному списку — награды.

16 марта 1905 г. И.Д. получил набедренник. Это часть облачения: прямоугольник из парчи или другого материала; надевается при служении обедни от пояса и вниз, сбоку от епитрахили.

23 июля 1911 г. вторая награда — скуфья, бархатная фиолетовая шапочка такого вида, как носят монахи и послушники вместо обычной шапки. Награжденный в ней совершает богослужение. Но папа обычно не надевал ее в церкви, только на улице, когда в ненастье, морозы приходилось в облачении провожать покойников, ходить по приходу...

Я допускаю — папе награды могли быть приятны. Но дома он относился к ним с полнейшим равнодушием, нам даже не сообщал. И позже, в 20-е годы, когда награды посыпались на всех как из рога изобилия, он надел и наперсный Крест, унаследованный от о. Ивана Соловьева, и камилавку[1], но восторгов не проявлял, и дома это как событие не переживалось.

13 декабря 1906 г. псаломщик все еще Василий Хламов. 17 августа 1907 г. уже А. Хламов. А 19 сентября 1907 г. — Иван Ефимыч Прудков.

Прекрасный человек. Умный, с тонким юмором и хорошей шуткой, умел держать себя с достоинством. Хорошо одевался, красивый, с богатой шевелюрой. Но мало образованный. Четкий почерк и много ошибок. Он сирота, воспитывался в Солотчинском монастыре под Рязанью. Была такая форма призрения сирот духовенства. Росли в монастыре. Им давали образование, но не свыше программы Духовного училища, и направляли на должность псаломщика. Не знаю, учили ли их в училище или готовили домашним способом. Сам он писал нам позже, говоря о недостаточности своего образования: «...нашему брату — солотчинским студентам...». По его письму я определяю год его рождения: 1884. Значит, появился он на нашем горизонте 23-х лет.

---

[1] Камилавкой о. И. Журавлев был награжден к Пасхе в 1917 г. (Рязанские епархиальные ведомости. 1917. 15 марта. № 6).

В памяти первый его приход. О. дьякон Ильинский обещал нам щенка. Ждали. В одно прекрасное утро принес. Мы все собрались вокруг. Тетя тотчас дала ему молока. Помню даже место в коридоре, у самого выхода, а мы все на крыльце. Крестьяне возили по улицам лес, по одному-два дубовых бревна. Папа покупал для строек в саду, торговался на улице. А в это время вошел прилично одетый человек и спросил о. Ивана. Это был Иван Ефимыч. Пришел представиться папе и сразу попал на радостное событие: щенок! Понял и разделил с нами восторги. А щенок этот наш Дружок, веселая собачка, много игравшая с нами. Небольшой длинный на коротких лапах лохматый пес, шерсть светло-серая с черными волосинами, более частыми на спине. Умный пес. Спал всегда в холодном коридоре.

К папе И.Е. привязался как к старшему близкому родственнику, и папа полюбил его на всю жизнь. Когда в 1941 г. уезжал из Москвы как эвакуированный, в записной книжке среди трех-четырех скопинских записал его адрес. И только его. Дружеские отношения и умелая шутка позволяли И.Е. делать папе такие замечания, каких он не стерпел бы от других. Это первый и последний член пятницкого причта, по-семейному нам знакомый. Больше, он совсем по-родственному сошелся со всей нашей семьей. Тетю он хорошо понимал и ценил по достоинству. Он холостой. Снял комнату в небольшом доме на углу против Успенья, на нашей стороне улицы, совсем близко от нас. Заходил он к нам и домой, и в сад, по делу и без дела. Помню, как в саду в беседке под черемухой он удивил Сережу и меня своим искусством — снял с таранки кожу целиком и повесил ее на сучок. Бывали у него на квартире и я, и Сережа. Когда Сережа купил балалайку, он нас учил играть:

Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса...

Не помню, имел ли он в Скопине свою балалайку.

Был у него велосипед, в городе тогда — редкость. С большим интересом мы, мальчики, наблюдали, как И.Е. его налаживает, накачивает шины: насос с шлангом и манометром. Раз он приехал, оставил велосипед на улице под окном зала, а сам в доме разговаривал с папой. Долго я любовался машиной, потрогал руками — колпачок звонка повернулся. Я стал крутить — отскочил! механизм выпрыгнул. Испугался я: сломал! доложил. Иван Ефимыч поднял детали, взял на себя часть вины, успокоил — соберу-де. Но потом оказалось: что-то потеряли. <...>

Иван Ефимыч остро сознавал необходимость пополнить свое образование. Но требовалось умелое руководство, собственные горизонты не были достаточны, чтобы заняться с успехом одному. Начать не мог. А руководства не было. Брал он у нас книги читать. Помню — Чехова и его шутливые замечания насчет сводной картинки на переплете одного тома. Цел этот нивский Чехов, и картинка, пожалуй, цела. <...>

В центральных областях трудно было попасть на должность священника и дьякона: много охотников. А в глухих, на окраинах — нехватка духовенства. Чтобы заполнить вакансии, снижали требования к образовательному цензу. И.Е. решил перейти на должность дьякона в Пермскую епархию. Он женился на дочери своей квартирной хозяйки Елизавете Ивановне, снялся и визитную карточку подарил папе с надписью:

«Дарю на долгую и добрую память уважаемому отцу Иоанну Димитриевичу Журавлеву от псаломщика Ив. Прудкова. 1913 года апреля 20 дня».

Вот именно таким, как на этой сохранившейся карточке, он и остался в моей памяти.

А 9 мая его открытка из Екатеринбурга с видом города: уже проехали Челябинск, большая станция и маленький город, и скоро будут в Перми. Сперва он — дьякон в селе Бондюг. 27 ноября 1913 г. я писал в Москву папе и Сереже:

«26-го мы получили письмо от Ив. Еф. Прудкова, письмо это, в 17 страниц почтовой бумаги, заключается в том: как он из Бондюга попал в Чердынь...».

Папа переписывался с ним. Сережа и я тоже писали. Сохранились его карточки с видами города Чердыни Сереже от 4 марта 1914 г., мне и Кате. Помню его большие и обстоятельные письма, его искреннюю скорбь при смерти Сережи... В Чердыни очень богатые купцы и широкое русское хлебосольство на старинный лад. Но дьяконице, чтобы ходить в гости к этим богатым людям, пришлось сшить платье стоимостью более ста рублей, для нас и нашей среды цена баснословная. В то время для поездки с больным Сережей в Москву папе пришлось занять сто рублей. Снялся с женой в этом платье и прислал нам кабинетный портрет. Не сохранился. Чтобы

было красиво, к платью нужен иной объект. И сам он с бородой и длинными непослушными волосами много потерял во внешнем облике.

В 20-е годы приезжал в Скопин. Он вошел в прихожую — калитку не запирали. А я в рабочем виде, в фартуке, отмывал руки от пчелиного клея. В молодом человеке, да еще в таком костюме, не узнал он знакомого мальчика, подумал — рабочий... Рассказы о пережитом. Он был уже священником. Во времена Колчака много говорилось и писалось об ужасах у большевиков. При отступлении духовенству приказано или рекомендовано бежать в Сибирь. Бежал с отступающими и он. Уже в Сибири был арестован и брошен в числе многих в тюрьму. После окончательного установления советской власти приехала комиссия из Москвы, пересмотрела всех заключенных, кого вызвали: — В чем обвиняешься? — Обвинений не предъявлено, да и ни разу не допрашивали. — Откуда? Почему бежал? — Страха ради иудейска! — Это выражение из Евангелия он применял как формулу страха... Тут же выпустили и разрешили ехать куда угодно.

Переписывался он с папой и позже. Предо мной его последнее сохранившееся письмо — из завода Майкор Свердловской области. Закончено в ночь на 6 февраля 1936 г. Приложена фотокарточка. Он уже в наперсном Кресте, протоиерей. <...>

* * *

20 апреля 1911 г. умер соборный протоиерей Стахий Полянский. <...> Место скромного Стахия занял Семен Михалыч Яблонев, в цветущих летах, представительный, полный кипучей энергии. Сразу же принялся повышать активность религиозной жизни в городе. Объявил чудотворной почитаемую в городе большую икону Нерукотворного Спаса, находившуюся в соборе. Устроил соответствующие торжества с крестными ходами и хождением по приходу. «Ну! открыл Семен свою лавочку!» — сказал папа, ясно понимая, что Семену нужны только деньги, задача — только повысить свой доход, проявить активность для личной карьеры, лавочка торговца, а не дело религии.

Приближался 1913 г. Готовились торжества по случаю 300-летия дома Романовых. На кладбище Троицкого монастыря Семен нашел надгробный камень, на котором будто бы прочитал полустертую надпись: «боярин Никита Роман...». Я не помню имени и

сколько букв он сумел прочитать[2]. Но Скопин когда-то был одной из вотчин бояр Романовых. Поднял шум. Из Москвы приехал историк профессор Грацианский, обследовал и... ничего не нашел. Если бы обман Семена удался, Скопин был бы включен в программу торжеств как одно из важных звеньев: ведь это был бы подлинный Романов! Потекли бы в Скопин казенные деньги на благоустройство города к юбилею, монастыря и прежде всего поднят на щит Семен, его карьера и доходы. <...>

Семен — умный человек, с достаточным образованием, повторяю — с кипучей энергией, но совершенно бесчестный и безнравственный. Не в свое время он родился и не на свое место попал. При твердых моральных устоях и в подходящее время по уму, энергии и честолюбию он мог бы быть выдающимся деятелем. А в эпоху безвременья он, потеряв веру, попал в число духовенства. И его ум истощен на пустяковых интригах. Кипучая энергия пошла на разврат, кутежи, карты, даже на скупку золотых вещей в годы разрухи...

В той мере, в какой до Скопина доходила политическая жизнь страны, Семен, прислуживаясь к власти, проявлял себя сторонником ярого монархизма, черной сотни. При всяких выборах и всегда, когда это от них зависело, более прогрессивная часть духовенства и населения выдвигали папу. Так он, уклонявшийся от делания личной карьеры, и был избран помощником благочинного о. Валерьяна. Умер Валерьян, и благочинным стал Семен. Не мог с ним работать папа и при первой возможности просил себя освободить. Так было и позже: папу выдвигали в противовес Семену.

Дальнейшая его судьба. После смерти жены пред ним открылась возможность стать архиереем. Но не сразу удалось. В начале 20-х годов власти арестовали главу Русской Православной церкви Патриарха Тихона. Вместо его единого управления были организованы различные «обновленческие» группы и группки. Примкнув к одной из них или организовав свою собственную, Семен уехал

[2] Свою находку С. Яблонев описал в отдельной брошюре: «Я на месте исследовал этот надгробный камень — саркофаг: у восточной стороны Владимирской церкви есть камень, вынутый в 1910 году летом из земли, до сего времени только верхняя часть его виднелась, а весь камень от времени уже был углублен в землю, работа тесанных украшений на камне совершенно старых веков, на камне сохранилась надпись: “под сим камнем погребено тело 3 слова не разберешь (боярина Ивана Никитича) ’Романова’” это слово написано ясно. С другой стороны камня надпись не разберешь, а с южной стороны камня герб» (*Яблонев С.* История г. Скопина. Рязань, 1911. С. 15).

на юг, чуть ли не в Ростов-на-Дону. Там он — «епископ Смарагд». В Скопин доходили лишь слухи о его подвигах[3].

Мне известны трое его детей. Дочь Валентина, зубной врач в Скопине, в отца боевая энергичная баба. Я у нее лечился. Первый выдернутый зуб. О! с какой болью!.. Умерла 13 августа 1955 г. — памятник на Скопинском кладбище. Сын Владимир, прапорщик в первую войну, затем в Красной армии. Младший Николай учился в Реальном, окончил школу в одно время с Катей. Хулиган. В 50-е или 60-е годы мелкий чиновник в Скопине. До смерти пользовался большой популярностью у обывателей. Приглашали на все свадьбы, пирушки в качестве тамады: занятно для них врал и потешал. Биографию брата приписал себе и в его изложении был героем.

* * *

Как мог Семен держаться на своем месте? Ответ: бесправие духовенства и мирян, произвол архиереев и светской власти; а светскую власть Семен вполне устраивал. Как мог служить с ним второй священник? Вторым был Иван Алексеевич Суханов, человек безгласный и в буквальном и в переносном смысле. Он — учитель чистописания и черчения в Духовном училище. Прошли у него курс этих наук и Сережа, и я. А дьякон Григорий Иваныч в конце 1912 г. сбежал в Рязань.

---

[3] Сведения, которые сообщает Д.И. Журавлев о С. Яблоневе как «епископе Смарагде», довольно существенно отличаются от тех, впрочем, весьма обрывочных, которые обычно приводятся в описаниях истории церковного раскола XX в. Яблонев (в большинстве трудов по истории церкви ошибочно называется «Яблоков») «после 1917 г. во еп. Скопинского, вик. Рязанской епархии; с 1927 г. в "григорианском" расколе» (*Цыпин В.*, прот. История русской церкви: 1917–1997. Кн. 9. М., 1997). В 1927 г. Смарагд, в частности, подписал «Послание епископов-староцерковников, признающих Временный Высший Церковный Совет, собравшихся в Донском монастыре г. Москвы 28–30 (11–13 мая) 1927 г., ко всем верным чадам Святой Православной Церкви» (<pashkov.narod.ru/Sergianstvo.html>). Около 1927 г. стал епископом (своей, «григорианской» паствы) именно в Скопине («находился на местной кафедре менее года, после чего прекратил свои полномочия» — *Беляков А.А.* Очерк по новой истории Рязанской епархии (История гонений в XX веке). <kitovo-tc.narod.ru/Belyakov_AA.htm>). Чем объясняются слова Д.И. Журавлева о том, что в Скопин якобы лишь «доходили слухи о подвигах» Смарагда, сказать трудно: возможно, мемуарист ошибается, потому что в конце 1920-х он учился и работал в Москве, в Скопине бывал редко и о происходящем там знал мало, а к новым раскольникам относился к тому же без симпатии и интереса; возможно, однако, что Смарагд, формально связанный со Скопиным, и правда бывал там редко.

* * *

На смену Ивану Ефимычу явился Вячеслав Дмитрич Грацинский, молодой человек лет 18–20, тоже сирота и монастырский воспитанник. Хороший парень. Но из монастыря вынес дурную слабость — пить. У папы в ящике стола в уголке бывали золотые. Это Вячеслав отдавал на сохранение, чтобы собрать себе на одежки. Хорошо пел и прекрасный голос: густая бархатная октава. Не довелось мне слышать подобной красоты голоса ни в операх, ни в записи. Всегда хотелось его слушать. Всегда его голос шел в душу. Когда хоронили Сережу, много переживаний дали сильные похоронные напевы, с чувством исполняемые прекрасным голосом. Не помню, почему в начале войны его не стало[4]. В годы революции говорили папе: он — начальник милиции в Рязани, будто бы передавал приветы. Жаль: такой чудесный голос пропал безвестным.

* * *

Менялись псаломщики и у Чельцова. Около года пред 1910-м был Сергей Владимирыч Троицкий[5]. Большой плотный молодой человек, окончивший Духовную семинарию. Он выделился тем, что в каждую всенощную, надев стихарь, говорил проповедь. У нас в Скопине псаломщики обычно стихарь не носили и служили в своей светской одежде. А проповеди и священники не говорили. Папа мотивировал это обязанностью писать ее и давать предварительно на контроль благочинному. Не могу сказать, хорошо ли говорил. Был тогда мал и не понимал содержания. А у прихожан любопытство было большое. Скоро Троицкий перешел в духовное училище надзирателем и учителем пения (Сережин и мой!). <...>

* * *

Важное событие в церковной жизни — смена старосты. <...> Помню я только последнего — Алексей Капитоныч Иконников. Он огородник, имел свечной завод, жил в собственном двухэтажном доме около Пятницы — верх жилье, низ свечная лавочка и, вероятно, мастер-

---

[4] «Уволены от должностей псаломщиков, за принятием на действительную военную службу, и. д. псаломщиков... Пятницкой церкви г. Скопина Вячеслав Грацинский» (Рязанские епархиальные ведомости. 1915. 15 марта – 1 апреля. № 6–7).

[5] А потом он был псаломщиком и в Пятницкой церкви (уволен за штат 15 декабря 1912 г. — Рязанские епархиальные ведомости. 1913. 15 января. № 2).

ская. Старостой он еще до войны 1914 г., да так до конца папина служения[6]. Его сын теперь священник в церкви около Долгопрудной[7].

* * *

С малых лет тетя водила нас в церковь к Пятнице. Становились мы с нею впереди против правого клироса, в правом приделе. Пред нами икона Скорбящей Божией Матери. Ходили ко всенощной под каждое воскресенье и праздники. Вероятно, и к поздней обедне. Помню, как, одев в праздничные рубашки, водила причащать. Младенцев — детей до шести лет причащают без исповеди. У Сережи и меня были шелковые рубашки точно такие, как кофточка мамы на портрете. Не любил я эту рубашку: шелк неприятно цепляется за пальцы, шуршит, да и с малых лет не люблю одежек новых, непривычных.

Когда подросли, Сережа и я ходили и с папой, и одни. Мы стояли или в алтаре, или на левом клиросе с псаломщиками. <...> Мальчики прислуживали: подавали кадило, просвиры с поминаниями (книжки или записки с именами для помина, за здравие или за упокой), и проч. С ними и Сережа. Я — меньше, мешала моя болезненная застенчивость. А после службы ждали в церкви папу, чтобы вместе идти домой.

Любили мы службу под Вербное Воскресенье и вечером в Великий четверг. На всенощной под Вербное стояли со свечами, священники раздавали вербочки, и домой возвращались с вербочкой и с горящей свечой. Задача — донести свечу, не дав ветру затушить ее, очень занимала. Вставляли ее в бумажный фонарик. Красиво: после всенощной в темноте, под звон колоколов, все идут с фонариками, огоньками, с вербочками. <...>

Большие переживания в пасхальную ночь, в пасхальную заутреню, начало в 12 часов ночи. Сережа и я ходили вокруг церкви — во время крестного хода папа держал нас около себя, иначе в толпе смяли бы малышей. Около него мы и на паперти стояли, когда впервые пред закрытыми дверями поют «Христос воскресе...». У Собора стреляли из пушки, около церкви жгли фейерверк, трезвон... Радостные, незабываемые переживания...

[6] Например, в 1915 г. на средства А.К. Иконникова обновлялись полы и стены Пятницкой церкви (см.: Рязанские епархиальные ведомости. 1915. 1 июня).

[7] Не этим ли определен и выбор кладбища (в Долгопрудном), где похоронили в 1979 г. Е.И. Журавлеву и Д.И. Журавлева?

* * *

Любил я Пятницу, ее трапезную часть, звон ее колоколов, папину службу. И не только потому, что она папина: его голос, звонкий серебристый, тенорового тембра баритон, выделялся среди других, гармонировал со звучанием пятницких колоколов. Его манера служить: с глубоким чувством, неторопливо, серьезно, внятно и не обычный невыразительный распев, всю службу одинаковый. Нараспев он произносил в кульминационном пункте литургии:

— Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся.

Но в распеве сохранял интонации человека, глубоко переживающего и от души говорящего эти слова, обращаясь к Всевышнему.

Во время пения Херувимской, на великом входе монотонный распев дьякона сменялся его заключительным возгласом:

— И вас, всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков!

Произносил без распева — говорил, говорил с чувством, твердо, уверенно, убежденно, «как власть имущий». Торжественный, величавый мотив Херувимской поднимал настроение. И самая смена распева дьякона живой речью, и так произносимой, оставляла глубокое впечатление. Чувствуешь — происходит что-то важное, необыкновенное, и после его возгласа сознаешь, что он-то и есть главное действующее лицо в происходящем.

Его чтение Евангелия так выделялось среди других: звонкий серебристый чистый голос, четкое произношение каждого слова, не распевал, а говорил с выражением, чувствовал границу: говорил просто, не переходил в театральность. Оставалось сильное впечатление. Близко к Пимену[8].

У Пятницы всегда был хор. Помню певчего — бас Евгений... Своды трапезной и живая раскраска придавали ей много. В Соборе просторная, светлая, красивая настоящая. Иконостас в виде часовни, как в храме Христа Спасителя. Но в трапезной плоские потолки, и помещение от этого походило на большую палату. То же у Успенья: низкий плоский потолок в достаточно просторной церкви придавливал.

[8] Имеется в виду манера Пимена, митрополита Московского, произведшая большое впечатление на Д.И. Журавлева уже в 1960-е годы (об этом см. в тексте воспоминаний чуть ниже).

А у Пятницы просторно и светло, и светло и радостно на душе. Или гармонирующий со службой сумрак с уходящими вдаль тенями, и настроение спокойной грусти.

25 октября 1969, суббота — день рождения Кати. Был недолго вечером в церкви в Сокольниках. Завтра Иверская, служит митрополит Пимен. Вслушался в его возгласы. Он произносит нараспев и сохраняет при этом интонации человека, говорящего от переполненного сердца. Звонкий чистый баритон басового тембра, неспешное, четкое произношение каждого слова. Звучит его голос и доходит до глубин сердца.

* * *

Прилагаю письмо Ивана Ефимыча Прудкова от февраля 1936 г.

Здравствуйте, премногоуважаемый Иван Димитриевич! С пламенною любовию шлю Вам свой искренний привет, притом с пожеланием всего наилучшего в Вашей жизни, а главное, доброго здоровия на многия лета. Сердечно благодарю за Вашу отзывчивость, которая выражена Вами в письме от 13/1 с. г. Не скрою той радости, которую я ощутил при получении его; невзирая на то, что я возвратился со службы в три часа пополудни, по случаю престольного праздника Богоявления Господня, уставшим и полуголодным, и удовлетворение на последнее было приготовлено довольно-таки соблазнительное, я решил отдать предпочтение Вашему желанному письму. Читал с любовию и неоднократно. За всё сообщенное приношу великое спасибо. Несказанно радуюсь тому, что слышу — Вы находитесь в добром здоровии и живете в своей родной семье. Очень и очень скорбела и скорбит душа о том — не сумел с Вами повидаться. Скажу Вам, что на Вашей квартире я лично не был, а был мой племянник, который узнал, что вы все на даче.

Тем и ограничился. Значит, старичок был кто-то другой, да и я-то не мог быть молодчиком. Видно, настало время стариться: другой год тому назад переступил порог шестого десятка.

Просьбу Вашу вспоминать о Вас и Ваших умерших поименованных родичей у Жертвенника Господня, пока будет на то Божия воля, свято исполню. Жаль то, что Вы, видно, упустили из вида сообщить мне день и год смерти Анны Димитриевны. Но думаю, что Вы в следующем письме это восполните. Не могу найти слов к выражению сердечной благодарности, что Вы славите Бога за то, что Он, Всевышний, судил мне благополучно пережить грозную налоговую волну. Да! Действительно были прискорбные денечки, при воспоминании которых и сейчас становится холодно на душе. Но по милости Божией все изжито. Скажу нелицемерно: за Вашу судьбу у меня часто душа болит. Но утешаю себя тем, что Вы живете в среде милых деток. Зная то, что они были настолько великодушны к своим тетям, то о папе не может быть речи к оскорблению его. А если Вас тяготит то, чего Вы лишены, то эта участь и нас скоро-скоро постигнет, да и продолжать в данный момент очень трудно. Мы тоже живем как щепка на воде. Ничуть ни лучше москвичей, здесь ведь произволу больше. И все это страшно отражается на нервах. А тем более нашему брату — солотчинским студентам сидеть в павлиньих перьях очень неловко. Часто приходится иметь разговор с людьми власть имущими. Всегда держу в уме слова Спасителя: «Положите убо на сердцах ваших не прежде поучатися отвещевати: Аз бо дам вам уста и премудрость». С этим великим напутствием возвращаюсь домой благополучно. И так продолжаю служить. Стараюсь не быть посмешищем для злых людей, но всего восполнить не могу, да и время-то теперь настало таково — все мы становимся безгласны, а сердца все охладевают и охладевают. Так что Ваше новогоднее без сомнения душевное для меня пожелание не знаю как применить. Но буду уповать на милость Божию, может быть, совсем не замерзнем.

Спасибо за сообщение скопинских новостей. Жаль то, что они печальны, а ближе всего к сердцу — Пятница. Невольно приходится удивляться, какими судьбами Суханов находится невредим? Видно, скорби и терния для нас с ним впереди. С великим удовольствием исполняю Ваше желание, высылаю свою фотографию. Извиняюсь за миниатюру: заснят таким игрушечным аппаратом. Но все-таки видно, насколько я стал седовласый. Не скрою того, что имею желание взаимно получить Вашу, последнего снимка. Утешаю себя тем, что Вы мне в этом не откажете. А еще было бы приятнее, если бы Вы снялись в трио.

Теперь несколько слов о себе. С виду я как бы и настоящий человек, но в общем храмина моя становится развалиной. А хотелось бы еще пожить хотя бы столько, а видно, не проживешь и четверти столько. Но это все в руце Божией. До сего времени материально был вполне обеспечен. Продовольственный вопрос всегда разрешался свободно. Вопрос топлива — самый безболезненный: на 5-е февраля имею 28 к. м. дров, стоящих под окном. Топи, не ленись! Квартирный вопрос для нас щепетильный, и разрешается он всегда болезненно, хотя живу я на этой квартире шесть лет. Благодаря сварливой старушонке приходилось переносить немало неприятностей. Но теперь лопнуло куропаткинское терпение, решил

переменить. Но не знаю, кто-то нашего брата пустит? Все боятся как чумы. Но я все-таки не теряю надежды на благоприятный исход в силу того, что наша Домна доживает последние дни, а с ликвидацией ее многие рабочие должны разъехаться по Уралу, думаю, как бы наша материальная сторона не показала кривую. А может быть будет и лучше: некоторые рабочие ради страха иудейска сами нас не посещали и запрещали домашним посещать.

Подоходный налог плачу со ставки 28 года 173 р. 17 к. + 100% самообложение, да культсбор 13% с валового дохода 28 года выражается 228 р. с копейками. Вся эта сумма зачисляется в счет моей переплаты, которая выявилась при перерасчете на основании циркуляра № 68 в сумме 5569 р. 56 коп. Если не изменится этот для меня благоприятный циркуляр, то я долго буду отдыхать от платежей налога.

Духовная моя семья тихонько копошится, но часто налетают трутни и приносят неприятность. Глава наша с половины сентября находится на курорте, получает житейского моря купание. Волны его два раза хлестали меня. Но пока, как видно, доктора не могут мне поставить диагноз[9]. Сам же я в этом лечении нужды не имею, уповаю на милость Божию, надеюсь на время — оно лучший врач. Кажется, все.

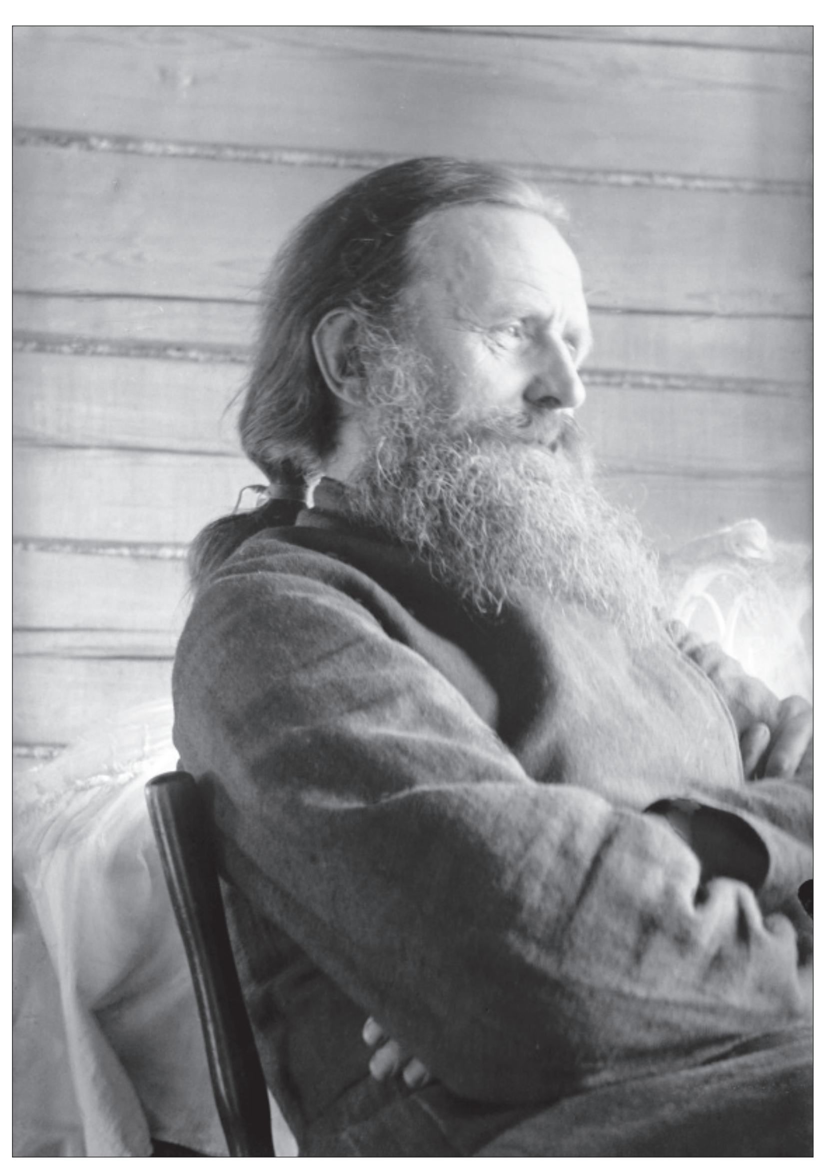
Шлю искренний привет милым Вашим деткам, желаю им доброго здоровья и всего наилучшего в жизни. Елизавета Ивановна душевно благодарит за привет и взаимно шлет вам всем таковой, с особым пожеланием всего лучшего в жизни, а главное — доброго здоровья. Сама же она на счет этого сильно хромает, почти беспрестанно лечится, сидит на диете. Болезни ее — сердце, почки и печень. Иван Димитриевич! при первом свидании, или почтой, передайте искренний привет Григорию Ивановичу. Мы очень хорошо его знаем и помним, но почему-то здравствующим его не считали, а он пока благоденствует. Где его остальные дети? Но на сей день достаточно. Пора кончать, время — час ночи на 6-е февраля. Оставайтесь с Богом и будьте здоровы и благополучны.

Истинно уважающий Вас
Ив. Прудков.
Зав. Майкор, Свердловской обл.
Трудовая, 9.
(5 февраля 1936 года)

[9] 10 октября 1937 г. Иван Ефимович Прудков был арестован, 15 ноября приговорен к 10 годам лишения свободы. Дата смерти неизвестна.

Глава одиннадцатая

Папа. Духовная жизнь



О. Иоанн Журавлев, 3 января 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

«Не хлебом единым...»

Папа скучал. У него не было собственной инициативы заполнить досуг умственной работой — пополнением образования, серьезным чтением, писанием. Ему нужен толчок, пример, увлечение, соответствующая среда. А ее не было. Семинария рутинным схоластическим преподаванием такого толчка не дала. Пример шурьев Михаила и Павла Левитовых, очевидно, не был достаточным стимулом. Лишь в 20-е годы под влиянием переживаемых событий и нашего примера он увлекся серьезным чтением, основательно изучил Ключевского, другие книги, преимущественно исторического содержания, проштудировал Брема... Книги я покупал на развале у Китайской стены и привозил в Скопин.

Какой духовной пищей питался папа тогда? Уже к началу сознательной жизни оформились религиозные устремления и идеалы христианской жизни при большом жизнелюбии здорового человека. Его профессия для него не случайность. В 23-летнем возрасте, со дня смерти тети Кати <младшей сестры>, он ежедневно стал читать Псалтырь, написав на первом листе:

«Внемли, Господи, душе,
Внимающей слову Твоему!»

Любимая его книга, которую он часто читал и в молодые годы и в Москве, — «Луг духовный», творение Иоанна Мосха (XVII век, изд. 1896 г.). Это то, что называют «Синайский патерик».

Сохранил, привез с собой в Москву книги того времени, которые, вероятно, получены от дяди Павла — изданы Троицкой Лаврой. Некоторые с характерными надписями.

Троицкий Патерик. На нем поставлена дата 20 июня 1897 г.

«Жизнь пустынных отцов». Творение пресвитера Руфина. Изд. 1898 г. — книга четвертого века про египетских пустынников. На последней странице переплета написал:

«Воздержанно пий, мало яждь — здрав будеши. Твори благо, бегай злаго — спасен будеши».

Троицкое толковое Евангелие. Листки по Евангелию от Матфея. Изд. 1896 г. Поставлена дата: 1900 г. марта 10 дня.

«Житие препод. Сергия Радонежского». Автор архимандрит Никон. Изд. 1898 г. На первом листке переплета:

«Читай книгу сию и подражай описанному в ней житию».

Повторяю: я могу перечислить лишь то, что сохранилось. В начале нашего столетия издательство Синодальной типографии предприняло впервые перевод со славянского на русский четьи-минеи Дмитрия Ростовского. Доработали, дополнили Дмитрия Ростовского, и читатель, к сожалению, не может отделить оригинал от доработки. В каждую поездку в Рязань папа покупал и привозил по нескольку томов. <...> Первая книга дополнительная (сентябрь–декабрь, изд. 1908) — ее совсем нет у Дм. Ростовск.

И не знаю, сколько раз и зачем папа ездил в Рязань. Вероятно, был в октябре 1907 г. — по поводу наследства от мамы, требовалось решение Рязанского окружного суда. Судя по минеям, ездил и в 1908 или 1909 г. На этом закончились и поездки вплоть до 1916 г., и покупка миней. Помню одну такую поездку, вероятно, последнюю. Останавливался в гостинице Ланина, привез два последних тома и... чайной колбасы, какой у нас в Скопине не делали. Очень она нам, ребятам, понравилась.

* * *

В очередную неделю будильник звонил в пять утра, а обедня в шесть. Посмотришь сквозь сон — папа стоит пред иконами с книгой в руках и читает «правило». Пред совершением литургии священнику положено прочитывать длинный ряд молитв — правила. Книга «Правило молитвенное готовящимся ко святому причащению» (М.: Синодальная типография, 1902) — в черном переплете всегда лежала на круглом столике под образами. Она сохранилась, сильно потрепана. На том же столике лежала маленькая книжка «Требник», завернутая в епитрахиль — брал с собой при совершении срочных треб. Иногда брал и кипарисный Крест, висевший около икон. В 1956 г. с этим Крестом в руках он сам пошел в могилу.

Как на нашей памяти папа ложился спать? Молитва пред иконами на сон грядущий. Он не обращал внимания, горит ли лампадка пред образами. Не помню случая, чтобы он сам зажигал. Очень живо сохранилась в памяти сперва чуть ли не единственная в доме лампада — в зале старой квартиры. Темно-красное стекло, окраска золотом. Подобных позже не приходилось видеть. Вероятно, еще от времен мамы. Ее зажигали по праздникам, еще с вечера, пред всенощной, по памятным дням, при богослужениях на дому... Совсем не помню, была ли в папиной издревле или повесили позже. Приделали к киоту и в тетиной, но быстро отломилась. В своем доме три лампады: в зале, у папы и у бабушки. Здесь зажигал больше я. Особое ощущение уюта, когда, проснувшись ночью, видишь спокойный свет лампадки.

Если завтра служить обедню, папа еще долго читал правило. Кончив, садился за свой стол, доставал из большого ящика книгу в желтом кожаном переплете — Псалтырь — и читал несколько страниц. Затем доставал мамину карточку под стеклом и, посмотрев, целовал. А позже и Сережину <т.е. после смерти старшего сына Сережи>.

Я уже писал: ежедневное чтение Псалтыри началось со дня смерти тети Кати (1897 г). Книга эта на славянском языке: Псалтирь. Москва. В синодальной типографии. 1895 г. <...> На последнем листе переплета пометки карандашом — два с половиной ряда единиц, разделенных запятыми. Над ними даты:

> «С 11 ноября 1897 года /16 единиц/ 9 июля 1904 г. /
> 13 ед./ 20 апр. 10 г /7 ед./ 28 марта 1914 г. /16 ед./
> 27 апр. 1922 г. /25 ед./ с 27 мая 34 г /10 ед./»

Это даты смерти тети Кати, мамы, дедушки Д.Ф., Сережи, бабушки А.И., тети А.Д. Всего 87 единиц. Вероятно, единица обозначала прочитанную от начала до конца Псалтырь. В тексте в разных местах записано о смерти всех, кроме дедушки, да еще о начале войны с Германией. Думаю, записывал там, где смерть застала его чтение. Значит, не читалась Псалтырь на Пасху, раз дедушка не записан: он умер во вторник пасхальной недели; забыть никак не мог. Значит, папа читал и в Москве. Я не помню этого, не вникал, да он мог читать днем в мое отсутствие. Кончил читать ежедневно с эвакуацией, в войну.

* * *

Такое направленное повседневное чтение, искренне переживаемые богослужения, размышления, стимулированные смертью близких, помогли осознать, поддерживали, укрепляли его в своем взгляде на жизнь, на свою задачу в ней, так соответствовавшем его характеру.

Этот взгляд я называю «теория свечи». Не раз я слышал ее. Не всегда в тех же словах. Иногда повествовательно, с пояснениями. Иногда кратко, как афоризм. Вот ее суть.

Жизнь человека как свеча: теплится тихо, спокойно — светит долго, выполняя свое назначение; но быстро и бесполезно сгорает, если полыхает бурно. <...> Тихая, спокойная, мирная жизнь, семья, дети, исполнение долга пастыря — дать религиозное удовлетворение каждой к нему обращающейся душе христианской в минуты ее радости и печали — все в индивидуальных исканиях, в самоусовершенствовании, в личной жизни своей и других.

Есть, однако, и вторая линия в жизни каждого человека — жизнь общественная. Но к общественной жизни, к связанной с ней борьбе и по своему характеру, и по воспитанию папа был совсем не подготовлен. Жизнь общества, жизнь государства воспринималась как нечто весьма важное, ради чего люди «живот свой положиша», да и теперь кладут. Но все это казалось далеким, от него не зависящим, вмешательства, активности не требующим. Не было и представления, что активное участие для каждого и для него в том числе неизбежно. Домашнее воспитание и жизнь протекали в атмосфере деревенской ограниченности, отрешенности от общественных движений своего времени. Даже отмена крепостного права не дала того толчка, как в других местах: Журавинка и окрестные села были государственные. В семинарском воспитании правительство сознательно ограждало от всякого знакомства с жизнью общества. Эта линия проводилась и в других школах, особенно грубо в военных, где молодежь отвлекали лозунгом: карты, вино и женщины!

В то же время патриотизм, горячая любовь к родине, ее истории пробуждали живой интерес, я бы сказал, даже повышенный интерес к событиям в стране и в мире. Я не раз указывал, с какой жадностью читал дедушка газеты. Так же настоятельно, не откладывая, свежие газеты прочитывал папа. Выписывали сперва «Русское слово», эта солидная беспартийная газета издавалась Сытиным с 1895 г. с основной задачей информации. Вероятно, с 1906 г. вместо «Русского слова», ставшего фактически органом кадетов, выписывалась газета «Голос Москвы» октябристского толка. И еще одна — «Колокол», церковно-общественная газета монархического толка, издававшаяся на субсидии правительства неким Скворцовым, специалистом по травле раскольников и сектантов[1]. Газета прекратила существование в первый же день падения царского режима. Для папы она интересна, ибо кроме политики более или менее полно освещала церковную жизнь. Газеты в Скопине доставлялись к 8–9 часам утра на следующий после выхода день.

На долю дедушки и папы выпали тяжелые годы в жизни нашей страны. Прошлое величие и доблесть, столь хорошо известные из истории, сменились неудачными войнами, неумелыми правителями, беспорядками внутри страны. Поражение в Крымскую войну, заполнившее всю страну инвалидами-нищими; тяжелый ход войны 1877 г., тяжелый за счет явной бездарности руководства, за счет явного воровства; слабость правительства, не сумевшего воспользоваться плодами столь дорого оплаченной и жизнями и деньгами победы; наконец, постыдное поражение в японскую войну — все это до болезненности тяжело переживалось, будило недоверие. В годы немецкой войны бабушка с досадой говорила: «У наших все — победа! победа! а у самих рыло в крови!».

Я не знаю, что из внутренних событий особенно сильно волновало. Отсутствие твердой и определенной внутренней политики воспринималось как неспособность, непригодность самодержца. Беспорядки с выборами и роспусками Государственной Думы непосредственно коснулись папы. Он как-то в выборах должен был участвовать. Впрочем, для меня это участие прошло незаметно. Я помню лишь М.Н. Кормильцева <брат мужа сестры о. Иоанна>. Он пытался выставить свою кандидатуру от крестьянской курии. Крестьянин по рождению, он как состоящий на государственной службе — учитель гимназии — имел чин, дающий ему право на дворянство. Во время хлопот он заезжал к нам в «дворянском» костюме, при шпаге. Помню, показывал ее в ножнах папе и объяснял...

Очень интересовали и переживались события внутри Думы, речи депутатов, прения, скандалы. Очевидно, от Думы ждали

[1] «Колокол», еженедельная общественная, церковная и литературная газета (СПб., 1905–1917); ее редактор — Василий Михайлович Скворцов, издавал также журнал «Миссионерское обозрение» (с 1896), где регулярно обличал Толстого. С 1895 г. — чиновник особых поручений при Победоносцеве. Идеология «Колокола» была относительно сложной или по крайней мере изменчивой: в 1915 г. В.М. Скворцов вышел из «Союза Михаила Архангела», не поддержав антисемитских деклараций Пуришкевича.

много. Газеты сообщали все мелочи. Как затычка в портрете сохранился кусок газеты «Колокол». Теперь этот кусок — музейная ценность. Описывается скандал, устроенный Пуришкевичем. <...> Интересно: рассказ ведется очень объективно, не видно, кому из участников скандала симпатизирует газета. Лидеров Думы с характеристиками знала хорошо и бабушка. Да и мы, ребята, знали многих — фамилии: Милюков, Пуришкевич, Чхеидзе. Их портреты. Ибо к одному из праздников купили большую, фунтов на 10, красную жестяную коробку с карамелью «Государственная Дума», на обертках портреты членов Думы.

Коробка долго служила нам вместо ларца, сперва была Сережиной, потом моей...

А дальше — Илиодоры[2], Распутины и безобразия немецкой войны...

Очень ощущались и беспорядки в церковной жизни. Произвол самодержавных, грубых деспотов архиереев; из рязанских особенно выделился Никодим. Бесправие во всем.

И в религиозной жизни. Надо было сидеть не рыпаясь, ограничивать себя только обрядовой стороной. Всякое отклонение тотчас навлекало подозрение в сектантстве, в неблагонадежности, мытарства по консисторским чиновникам. Даже какие-либо религиозные беседы в церкви и на дому, напр. совместное чтение хотя бы Евангелия по вечерам вне службы церковной, — для светских и духовных властей казались слишком подозрительными и не практиковались.

И в материальной жизни. Тяжел и унизителен, ненормален для нашего времени способ содержания духовенства — в точности как у нищих: мирским даянием; способ этот у опустившихся ремесленников от духовенства переходил в торговлю по таксе. Нелепость отношения к земле: церковная, значит, чужая, связь с ней потерять легко — инвалидность, смерть главы семьи, — а дом на ней собственный, хотя обретение его так тяжко давалось. Большие штрафы за ошибки в ведении метрических книг, т.е. записей актов гражданского состояния, дело это светской власти, но оно бесплатно возложено на духовенство. Знаю от бабушки: очень раздражали принудительные поборы в эмеритальные кассы — нечто вроде касс

[2] Один из организаторов «Союза русского народа».

взаимопомощи, но без возможности получить деньги для рядового духовенства... Быть может, это мелочи. Но мелочи часто особенно болезненны. Да и вся жизнь складывается из мелочей...

Все более остро ощущался и недостаток собственного образования, умения разобраться в происходящих событиях, в окружающей обстановке, умения дать ответ, авторитетный ответ на вопрос прихожанина.

Очень смущал папу чин крещения: включено слишком наглядное материалистическое представление о злом духе: на него требуется дунуть и даже плюнуть. Это должны проделать то ли родители, то ли восприемники, т.е. крестные отец и мать. Слишком неудобно он чувствовал себя, если присутствовали люди интеллигентные. Различие между обрядом и таинством ему было ясно.

Со смертью мамы прекратилась выписка «Нивы», но в 1905, 1906 или 1907 гг. выписывался церковно-общественный журнал «Звонарь»[3], сперва свободно выходивший, затем закрытый правительством и вновь выходивший под названием «Красный звон» и снова запрещенный, уже окончательно. Выписывали, вероятно, года два, пока выходил. Этот журнал прогрессивного духовенства писал о необходимости реформ в жизни церкви, вполне назревших; требовал невмешательства государства в церковные дела; требовал восстановления патриаршества, т.е. нормальной, сложившейся с первых веков, организации управления христианской церковью. А у нас по приказу «благочестивейшего» царя Петра Первого во главе церкви — власть светская. Вместо патриарха всю церковную организацию возглавлял светский чиновник — обер-прокурор синода. В XX в. таким главою церкви православной был Владимир Карлович Саблер, сперва как помощник при старике Победоносцеве, потом как обер-прокурор. Правда, члены синода — архиереи, вызывавшиеся из епархий присутствовать в синоде года на два. Но назначал их... обер-прокурор! Ясно, каких архиереев он вызывал и как они решали дела... Но сам я позже читал в этих журналах бес-

[3] Ежемесячный литературный и церковно-общественный журнал, издавался в СПб. в 1906–1907 гг., позиционировался как «первый духовный беллетристический ежемесячник»; имел приложение «Церковное Обновление»; в 1908–1910 гг. выходил под названием «Красный звон» (ежемесячный церковно-общественный беллетристический и публицистический журнал).

конечные повести из жизни духовной школы, вариации на тему «Очерков бурсы» Помяловского; иные увлекательно написаны.

«Ниву» выписали лишь один раз — в 1909 г. Помню, с каким интересом ребятишки брали от почтальона бандероли с «Нивой» и тетрадями приложений: зеленые — Мельникова-Печерского, красные — Ибсена. В 1911 г. выписали «Прогрессивное садоводство и огородничество». Да еще получали «Рязанские епархиальные ведомости» — журнал высылался, вероятно, в церковь по обязательной подписке, ибо не помню, чтобы приносил почтальон.

В 1906 или 1907 г. прислала нам журнал «Душеполезное чтение» за прошлые годы игуменья Евгения. Еще следует упомянуть: в годы первой революции бесплатно высылали агитационные книги и брошюры. Я помню одну такую, случайно сохранившуюся до 20-х годов. Издана «Союзом русского народа» или «Союзом Михаила Архангела». Сборник. Помню статью, ругавшую географию Пуцыковича, одну из немногих наших детских книжек. Там много картинок, писано про разные страны света, про разные области Руси, на картинках — инородцы, обитающие в этих областях. По мнению автора статьи, Пуцыкович старается внушить: Россия — собрание всяких племен, только русских нет. <...>

Фирма, чуть ли не полностью немецкая, Брокгауз — Ефрон, издавала журнал «Вестник и библиотека самообразования». У нас осталась от Миши Кормильцева пачка книжек, «бесплатных» приложений под общим названием «Библиотека самообразования». Теперь целы только три, в моих переплетах:

1. Кареев. Общий ход в истории. 1903.
2. Вундт. Введение в Философию. 1903.
3. Философский словарь под ред. Радлова. 1904.

Были еще: Тарханов — «Дух и тело», Сакетти — «Музыкальное образование», «Принципы прекрасного» — курс эстетики, Ассирия и Вавилония, по анатомии. Других не припомню. Хорошие книги, действительно дают образование, а не верхоглядство так называемых популярных. Одну из них, по естествознанию, папа пытался читать, но одолел 10–15 страниц, завернул и положил на стол. В таком виде лежала она много лет, выгорела... Значит, более серьезное чтение тогда не удавалось.

Видел я эту книгу, когда еще не умел читать, — детская любознательность: бывало, потихоньку от папы, ибо не разрешалось,



Семья Михаила Кормильцева

осмотришь все, что на столе; забота одна — положить все как было, чтобы не заметил. Я же ее и развернул и забрал со стола, когда стал понимать. Позже, но в Скопине, многие из этих книжек я основательно проштудировал. После учебников большое впечатление от истории Кареева: в смене исторических событий открылись смысл и значение. Потому и сшил и сохранил ее. Пытался взяться и за «Музыкальное образование», но не осилил: много объяснений и примеров на нотах... Зато до сих пор жалею — не сохранилось эстетики. Забыл, что там. А в конце 20-х годов проектировал лабораторные столы в НАТИ, по памяти придерживаясь ее указаний; безотчетно нравились людям. Философский словарь с 20-х годов — мой настольный справочник...

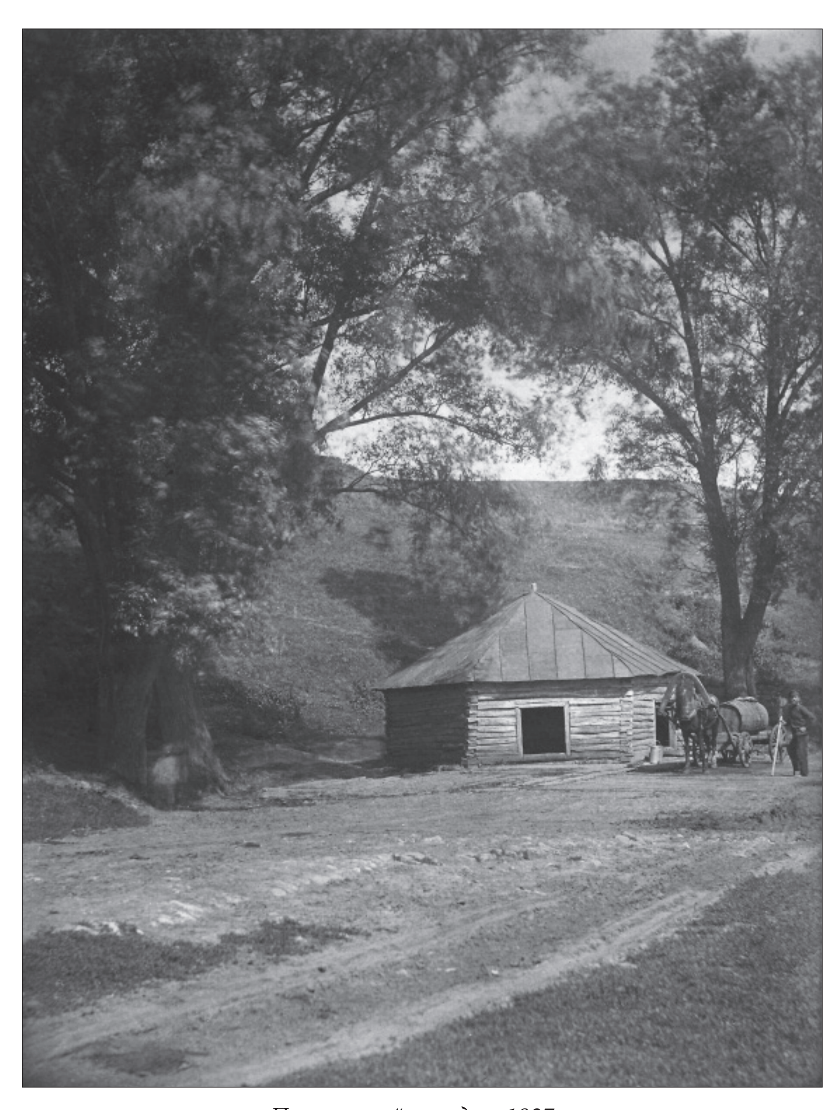
* * *

Дополню еще. Семья наша религиозная, но совсем лишена суеверий. Слышали мы: гром — Илья пророк едет на колеснице; но с детских лет это понималось как шутка, как живописная речь. Понедельник — день тяжелый; но с объяснением: в воскресенье без меры пьют, в понедельник работать тяжко...

Всякого рода суеверия, приметы нахлынули на нас в Москве, в советское время. Послушный человек теряет веру религиозную, и тотчас заполняется всякой чепухой... неприятно, резнуло несмотря на обстановку, когда Н. <...> заявил: «Не хочу с Вами ссориться, не буду прощаться чрез порог». Несколько дней я ехал с ним в одном купе — эвакуация. Я и все наши слезали в Омске. Узкий коридор вагона забит выходящими. Я в тесноте, он на просторе в купе, и все же втиснулся сюда, чтобы пожать мне руку... Тяжко было видеть страждущую Соню, когда она, проводив свою единственную дочку студентку на юг, приехала на несколько дней к нам: пока близкий в пути, нельзя убирать комнату! Эх! Культура? Прогресс? — Нет! Одичание.

Глава двенадцатая

Детство. Старая квартира



Прощенский колодец, 1927 г.

Наша старая квартира — на Второй Мещанской улице, теперь ее называют Орджоникидзе. Улица тянется от старой станции на запад до Щемиловки. Квартира в предпоследнем от Щемиловки квартале, на южной стороне, значит, фасадом на север. Папа все говорил — и в Журавинке дом на север, и эта квартира, и свой дом тоже на север. Да и наши московские почти тоже. Против нас дом И.И. Черкасова, правее его И.И. Никитина, левее Сычиковых. На нашей стороне к востоку недостроенный дом на участке Колтырева; дальше старый двухэтажный дом — в верхнем этаже жил нотариус Троицкий; на углу большой двухэтажный дом Кудинова. Верх он сдавал под школу, помнится, одно время был приготовительный класс гимназии. А внизу жил сам. Ютились в трех маленьких комнатах. Жили очень тесно и с нашей точки зрения. А громадное помещение было меблировано по-купечески богато, отапливалось, поддерживалось в чистоте, но там не жили: парадные комнаты, всегда на запоре. Этот угол на нашем детском языке назывался «маленький угол». От нас до него 60 метров. Первые самостоятельные, без провожатых, походы — я с Сережей — до маленького угла, иногда ходили сюда встречать папу. Его обычный путь — чрез мясные ряды и маленький угол — кратчайший.

Налево от нас первый дом — большой двухэтажный Брежнева, жил наш хозяин сам. Рядом деревянный дом, где одно время жила еврейская семья с двумя девочками нашего возраста. Старшую звали Ривка. Отчаянная была девица. Где-то здесь — сквозной проулок на базарную площадь. Ширина аршина три, с обеих сторон кирпичные стены, лопухи и... сюда забегали люди за надобностью. Для прохода проулком пользоваться не следовало. Угловой дом двухэтажный другой семьи Брежневых — Степана Никифорыча. Этот угол мы величали «большой угол». До него 110 метров. Было время, когда дойти до большого угла одному считалось крупным событием.

Наша улица, тогда в городе одна из немногих, была замощена на всем протяжении. Булыжник. Тротуары мостили, ставя более мелкие камни ребром. Дядя Паша удивлялся — зачем? Чтобы обувь быстрее изнашивать? Камень вбивался в песок без всякой цементировки. Если ребром — держался прочно... У Кудинова в трактире работал мальчик Яшка. Тяжелые смазные сапоги подбиты железом. Шел он из дома в трактир и смыгал ими по камням. Здорово получалось, бывало, высунешься в парадное и смотришь и слушаешь:

трррр... трррр... — трещал во всю улицу. Я ему завидовал, так хотелось самому в сапогах пройтись с треском. С моей обувью — тогда еще башмаки — не получалось.

Около крыльца против окна тополь. Любил папа иной раз, по скопинскому обычаю навалившись на подоконник, смотреть на улицу, для этой цели служило угловое окно в зале. Прямо против у тополя останавливались знакомые поболтать. В такой позиции бывали Григорий Иваныч, Иван Ефимыч, но чаще нотариус Троицкий. Небольшого роста, уже с сединой, опирался он спиной на тополь и затевал разговор.

Иногда в роли такого собеседника выступал Гриша, по прозвищу Чемодан. Это — шатавшийся по городу бездельник, лодырь, не хотевший работать. Жил, вероятно, подаянием. Не помню, кажется, ходил как нищий — с сумой. Голова своеобразной формы с большим черепом. По отзыву папы — очень умный и остроумный человек. Любил с ним поболтать папа: к уму тянет. Не отдавал я себе отчета, о чем они беседовали, хотя иной раз при сем присутствовал, высунувшись из окна рядом с папой. <...>

* * *

24 сентября 1956 г. умер папа. Каждый год, обычно в день годовщины, кто-либо из нас бывает в Скопине. В этом, 1969 г., Катя, я и Сева (у Ани служба) на МОТе отправились в 7 утра во вторник, 23-го, вернулись домой в 6 вечера в четверг, 25-го. <...>

24 сентября 1969 г. Еще накануне вечером в сумерках я и Катя прошли мимо дома и видели — у дома разрушен верх, разбито стекло, вид нежилого. Сегодня около куча песку. Женщина и девочка ведрами носят его куда-то в дом. Я объяснил, почему так внимательно рассматриваю дом. Разговорились. Она сообщила, что делились наследники Брежнева, и она купила в 1930-е годы этот дом у Лидии Николавны, жившей в Рязани. Это Катина подруга, Леля Брежнева. Катя знает — она была замужем за врачом в Рязани, уже умерла. Дом построен в 1888 г. очень основательно, пол чуть ли не тройной, толстый слой крошки торфа залит известью.

Сама нынешняя хозяйка 1912 г. рожд., теперь пенсионер, живет вдвоем с девочкой лет восьми. Они с мужем решили сохранить синий цвет дома, но посветлей, окрасили голубым. На другое утро — дом за ночь совсем почернел. Чрез два месяца муж умер. Она не прочь свя-



12 июня 1934 г. Фото Д.И. Журавлева

зать эти два события. В январе был у них пожар — оставили жарко натопленную углем печь. Сейчас ремонт, штукатурит, ставит дополнительно перегородки. В тетиной комнате обнаружили следы старого пожара — обгорела наружная стена и пол перед печкой...

Не был я в доме 53 года. Вошли. Я был с Севой. Наша прихожая, зал, тетина комната. В столовой «живет наша бабушка» — войти было нельзя. Папина комната и кухня — два самостоятельных жильца. Пристроили сзади чи сараи, чи коридоры. Я кое-что измерил, размеры окон она сама подсказала. Тетина печь переделана — меньше и с плитой. Отделяет новой перегородкой часть зала с одним окном на двор и часть тетиной комнаты тоже с окном на двор.

Старых сараев нет. Понаколочено несколько сараеподобных. Изгороди тоже незаметно, лишь с улицы; ворота и калитка прежние, но без верха. Колодец засыпали в прошлом году.

* * *

<...> Я всю жизнь считал — знаю по своим детским измерениям: 18 × 9 аршин. Помню, как на полу выкладывал аршин по длине из папиной комнаты чрез столовую и до конца тетиной. Почему-то в памяти момент: я на полу с аршином в дверях тетиной комнаты. Аршин этот сейчас у меня в столе. Размеры были нужны: мечтая о по-

стройке своего дома, Сережа и я все вычерчивали планы. А образец, конечно, дом, где мы жили, но по теперешним данным 9 аршин не получается. Больше подходит 8. Впрочем, к чему здесь точность?

С улицы домой можно попасть чрез калитку и чрез парадное. Так величался ход с улицы чрез дверь крыльца. Зимой парадное выходило из строя: со стороны двора заносило снегом. Простота нравов была такая, что и калитку и парадное запирали лишь на ночь, но вот в революцию 1905 г. город захлестнуло хулиганство. Пришлось запираться. Больше — папа выработал себе особый звонок, по нему сразу узнавали, что это он: дергал три раза очень сильно. Так и остался этот его звонок навсегда, хотя позже снова стало спокойно, и двери днем не запирались. Теперь Аня тоже звонит энергично и своеобразно... Но тогда звонок — колокольчик на пружине в коридоре, от него проволока на улицу. На крыльце особого устройства ручка, дернешь — звонит.

Еще одна мера: папа купил тревожный свисток — с трелью. Такими пользовались городовые, поднимая тревогу. Такими же и население могло вызвать городовых к месту происшествия. Свисток этот был у папы до конца Скопина. Мы с разрешения иногда в комнате свистели, но старались тихо, чтобы не прибежал полицейский.

Кстати уж о революционном движении в Скопине, как оно коснулось меня. Сидели мы за чаем или ужином в столовой. Вдруг гром и звон: в зале выбили стекло в угловом окне. Позже выяснилось: один из братьев Шестаковых. Был в городе богатый купец Шестаков, дом на нашей улице; умер, два сына наследника прокучивали отцовское достояние.

Двор немощеный, и бывало грязно в сырую погоду, особенно осенью и весной, когда тает снег, да еще за зиму снегом заносило много остатков сена и навозу от коровы. С восточной стороны сплошной забор от соседней усадьбы. Сперва она принадлежала Колтыреву, имевшему салотопню совсем рядом с нашим двором. Скоро ее сломали, участок перешел к другому владельцу, к нашему хозяину Брежневу, стоял заброшенный. Все зарастало бурьяном. Несколько раз Сережа, я и, вероятно, ребята Кудиновы перелезали потихоньку от тети чрез забор и там играли. Казалось — очень интересно, простор, зелень, хоть и бурьян.

С юга во всю ширину двора — сарай. Три части: амбар — в нем хранилось сено, стоял папин семинарский сундук... «Навес» (обычный сарай, с крышей, но без передней стенки) — жила корова, куры,

там же дрова, позже у навеса сделали стенку с двумя дверками — для коровы и для кур; погреб — насыпной, ибо слишком близко почвенная вода. Потому же не было и подвала под домом, не сделали даже лаза под пол. В погребе — кадка квашеной капусты, соленые огурцы, запас картошки на зиму. На погребице (сарай над погребом) хранилась солома — подстилка корове. Погреб в половодье набивали льдом. Лед держался примерно до июля, августа. Убирали туда в теплую погоду молоко и все, что портилось. Как и полагается детям, очень любили мороженое, но попадало редко. Летом по городу сперва носили, позже возили в тележках. Тетя приобрела поварскую книгу, издана в 1908 г., вот она предо мной. Быть может, вдохновила эта книга, быть может, еще до нее, но Сереже страстно захотелось сделать мороженое самому. Конечно, я поддержал и горячо взялся помогать. Тетя согласилась и приготовила из сливок с сахаром и, вероятно, с яйцом. Она видела, как делают мороженщики, и объяснила нам: надо лед посолить и кастрюлю вертеть, но чего-то она не досмотрела. Мы с Сережей забрались в погреб, разгребли солому — ею покрывают лед, чтобы медленней таял, основательно посолили, поставили кастрюлю и принялись вертеть его за ручку. Но как ни вертели — мороженого не получилось. Съели все так, да еще с большим удовольствием.

<...> Осенью 1910 г. переселилась к нам бабушка. Не могла оторваться от хозяйства! Завела на полное свое попечение поросенка. Ему устроили шалаш в конце проулка. Выкормила только одного. В своем доме перешла на индюшек, кто-то подарил на новоселье.

За забором сад Брежнева. С другой стороны сада во всю длину громадный сарай, за ним большой двор и двухэтажный дом. Планировка обычная в Скопине: дом, вокруг дома — двор и дворовые постройки; а сад, если есть, вдали, на задворках. Пока в большом доме жил старик Павел Николаич, сад был совсем заброшен — никогда и никто в нем не бывал. <...> После 1909 г. в доме поселился сын Николай Павлыч с многочисленным семейством. Его дети бывали в саду, да и Катя с ними. Но от нас не видно и не слышно: забор сплошной, прочный, без щелок и высокий. Иной раз забирались мы с Сережей на забор, и только смотрели в сад: спрыгнуть нельзя — назад не вернуться!

А у нас на дворе травы не было. Всей зелени только один тополь у колодца, в углу на улице. Да из сада Брежнева все пробивался побег серберинника. Так в Скопине называли шиповник. Побег этот

совсем особый — листики душистые. Но до цветения не доходило; он погибал. С такими душистыми листиками посадил куст у нас в саду Н.Г. Неокесарийский. Ярко-оранжевые, огненные цветы с неприятным запахом, долго рос и цвел, не давал корневых побегов, отсадить было нечего; погиб в одну зиму весь, с корнем.

Каждый год покупали воз песку, ссыпали около забора — играть. <...>

Был еще на дворе громадный чугунный котел без дна, вероятно, с брежневского мыловаренного завода. Зимой в нем давали сено корове, а летом — игра. С Сережей мы его перекатывали с места на место, а с Катей забирались внутрь и играли.

Коровий навоз складывался против погреба, близ окна папиной комнаты. За зиму набиралась большая куча. Вывозили рано весной. Летом навозу мало. В углу у амбара была вначале и помойка в виде ямы с деревянной крышкой. <...>

28 ноября 1969 г.

* * *

В городах был обычай: самая большая комната — парадная. Она обставлялась лучшей мебелью, всячески украшалась и была нежилой, т.е. не ставилось кроватей и повседневно старались ею не пользоваться. Здесь всегда поддерживали чистоту и порядок. Принимали в ней гостей, веселились... Словом, комната парадная. Называлась она «зал», или «зала». Но родительный множественного всегда «много зал». И только теперь, когда чувство родного языка утеряно и бюрократами от «науки» все подчинено надуманным «правилам», стали писать «много залов». Это дикое звучание искусственно насаждается чрез школу, газеты, радио. <...>

У нас зал — тоже самая большая комната. Дверь в него из прихожей направо, широкая, двустворчатая, как и все двери внутри дома. Детям разрешалось играть в зале сколько душе угодно. Катя даже ползала в зал, когда ходить не умела. А я путешествовал в поисках харча.

В переднем правом углу образа: Спаситель — папина икона, Иверская икона Божией Матери — мамина живописная, Преподобный Сергий — в серебряной ризе. Красная лампада. Под ними круглый столик — точеный столбик, внизу тренога. А под столиком в углу бутылка с маслом для лампадки и... рыбий жир: этот угол считался самим холодным местом в доме. По предписанию Липеца

шли мы сюда после утреннего чаю и получали по десертной ложке «удовольствия».

Вдоль стенки тетиной комнаты — диван, несколько впереди два кресла. Мягкие, хорошей работы, но ветхие: ломались ножки, и в новый дом их не взяли. Пред диваном и креслами — овальный стол, на нем лампа на красивой литой подставке с абажуром в виде шара. Очень коптила, не удавалось наладить, и тетя купила другую, подешевле, с абажуром в виде тюльпана.

Овальный стол и шесть венских стульев, тоже стоявших по разным местам в зале, купили в Рязани, когда впервые обзаводились хозяйством. Продавались они темно-коричневыми, как тогда было принято, но по заказу мамы их в магазине перекрасили в черный цвет. Стол этот и три сохранившихся стула в саду. Был еще ломберный стол. Сложенный, он стоял у окна на двор близ прихожей.

Между окон на двор стояло зеркало. Коричневый высокий подзеркальник, да еще доска от подзеркальника до зеркала сантиметров 15. Сплошная доска до полу и две точеные ножки с перекладинами. Под зеркалом хорошо было играть. Бывало, ухватишься руками за подзеркальник и подпрыгиваешь, чтобы увидеть себя в зеркало. Но видишь только стриженую голову и лоб, даже до глаз не доходило. Маленьких тетя стригла нас наголо сама — ножницы чрез гребенку. У нее получалось хорошо. <...>

Посредине зала висел фонарь с пятилинейной лампой. Теперь он у меня в комнате — память прошлых дней. Когда горел — сумрак в комнате: пяти линий мало, да еще закрыты фарфором. Но всегда делалось празднично на душе. Да и зажигали по праздникам. Очень интересовал рисунок на фонаре.

На стене над диваном висели три картины: посредине — в золотой рамке, по краям несколько ниже — в черных с золотым рисунком. Клодт, «Полдень». В золотой рамке какой-то итальянский вид — гористый берег, внизу лодки. Вторая черная — костел, дорога к нему, на ней люди. Вероятно, польского художника. Все бумажные, думаю — приложение к «Ниве» или «Родине». В новом доме они тоже в зале. Но Клодта Сережа при моем участии заменил картиной в ярких красках: Гришка Отрепьев с ножом в руках выскакивает в окно корчмы.

Между окон на улицу в золотой рамке — кабинетный портрет дяди Паши, ясные пуговицы — очевидно, студент. После смерти мамы над ним повесили ее увеличенный портрет. На стене к при-

хожей — громадная рама с фото выпуска РДС 1895 г. Для нас центральная карточка — папа.

Очень украшали зал два громадных фикуса. В больших глиняных банках они стояли на полу, один близ круглого окна, второй у окна на двор. Тетя пересадила их в деревянные кадки. Так они переехали в новый дом. На окне стоял большой лимон. Были и еще цветы, скамеечки для них на подоконниках.

Зал светлый — четыре окна, одно из двух уличных — с круглым верхом. Гардины. Обои светлые. Все печи побелены. Форточек в доме не было. Вентилировали зимой, открывая в печах дверку у вьюшки. Вторую раму в круглом окне на лето обычно не выставляли, да и добраться до окна трудно: фикус, кресло. Обязательно выставляли угловое окно на улицу.

Все в зале осталось в таком виде от мамы. Только в 1906 г. изменение: папе как казначею привезли от Гортинского письменный стол. Его поставили в угол вдоль стены на двор. А ломберный вынесли в коридор. Стол довольно грубой работы, окрашен черной краской, три ящика, в тумбах за дверками пусто: ни ящиков, ни полок. Стол отдали Сереже и мне, ибо его появление почти совпало с началом наших занятий. Сереже — левый ящик и тумба, мне — правые, у стены в прихожую, в соответствии с нашими местами за папиным столом. Ящики с замком, ключом, совсем как у папы, только запирать нам было не от кого. Так интересно было перочинным ножом вывернуть и вновь ввернуть винт, державший замок. Поддавался только один — правый. Так на всю жизнь запомнил направление, беру в руки отвертку и по этому винту соображаю, куда надо крутить. И еще одно изменение: на нашем столе появился граммофон.

СБ. 29 ноября 1969 г.

* * *

Около 1908 г. Самышкин пополнил ассортимент своих товаров граммофонами и пластинками. Конечно, много разговоров о граммофоне было у хозяина с покупателями, заводили, слушали; для широкой публики в Скопине в то время это новинка. Сидя по вечерам в лавке и болтая с хозяином, папа слушал и, надо думать, увлекся. Для него это не было совсем первым знакомством с механической записью звука. В 90-е годы много писали о чуде того времени — фонографе Эдисона. В семинарские годы в Рязань приезжал некто и устраивал платные сеансы демонстрации фонографа. Был такой сеанс и в семинарии. Вход — пятачок. Запись на валах, звук слабый. В большом зале начальство окружило фонограф и, быть может, что-то слышало. А семинаристы сзади за свой пятачок лишь при сем присутствовали...

Сперва папа взял на время граммофон у Рубцова из трактира. Старый, труба и мембрана жестко скреплены и движутся вместе. Стопа старых пластинок. Шипел, хрипел, но было очень интересно и весело. После такой пробы, не позже 1909 г., купил у Самышкина граммофон более совершенный: мембрана смещалась при неподвижной громадной трубе, раскрашенной как цветок, на деревянном ящике с механизмом — диск, покрытый зеленым сукном... Все это так знакомо! Сперва Сережа и я потихоньку от старших снимали диск, открывали крышку и любовались механизмом; особенно увлекателен в движении. Потом мне приходилось его смазывать, чинить, налаживать...

Вместе с граммофоном папа принес 5–6 пластинок фирмы «Зонофон», двусторонние. Вот они:

1. «Кэк-уок». «Руки вверх» — шансонетка. Садовская.
2. «Уморилась». «Жажду свиданья». — Вяльцева.
3. Застольная песня, дуэт — из «Травиаты».
4. Мазурка. Попурри из русских песен. Оркестр гармошек.
5. «Веселый кузнец». «Индийский марш» — военный оркестр

Шестую, если была, не помню. Без конца в охотку заводили.

Кому что больше понравилось? Сережа всегда и во всем бурно проявлял свой восторг. Он объявил своей веселую пластинку Садовской. Моя — Вяльцева. Тетина — «Травиата». А Катина — «Веселый кузнец». Впрочем, Катя к этому дележу была равнодушна.

Трубы первых граммофонов (Рубцова) из цельного металла, более поздних выпусков (наш) — из отдельных полос, как цветок из сросшихся лепестков, на некоторых нотах, на шумовых звуках дребезжала злодейка! «Зимнюю сказку» местами неприятно было слушать. Феофилов посоветовал капнуть воском в место соединения стержня от игол с слюдяной мембраной. Но не там была причина!

Мы очень берегли пластинки: хранили в бумажных чехлах, аккуратно меняли иголки.

Помню дедушку, впервые слушающего граммофон. Дело было у нас в зале. Он стоял у трубы, и все хотелось ему понять, как это

получается. Он все засматривал в трубу. А мы, ребятишки, думали: хочет увидеть, кто там поет.

Понемногу папа приносил все новые и новые пластинки. К 1914 г. их у нас было до 50, все двухсторонние. После смерти Сережи и начала войны уже не покупали. Впрочем принес однажды две бесплатно от Самышкина — реклама: пение с похвалой папирос сменяется окриком офицера: «Что вы тут бездельничаете?!!» — «Пробуем папиросы Трезвон, ваше благородие, 5 копеек пачка столько-то штук!» — «Ааа! Похвально! Похвально! Это очень похвально!»... Вот, чепуха запомнилась на полстолетия.

Как папа выбирал пластинки? Надо иметь в виду несовершенство техники того времени. Сильно шипело. На фоне шипа лучше передавалась духовая музыка, оркестры, пение в один голос. Плохо хор. Шип и хрип вместе с хором создавали много шума. Думаю, поэтому с церковным хором у нас были только две пластинки, редко заводившиеся. Штук пять — комические рассказы, в том числе известные тогда клоуны Бим и Бом. Ребят веселили эти шутки, но главным все-таки было впечатление: машина, а говорит. Танцы, марши, случайно понравившаяся музыка; скрипка, ксилофон, владимирские рожечники, концерт птиц — имитация... Но сознательно подбирались русские песни, особенно знакомые по Журавинке. Много и с восторгом говорилось о Шаляпине, но не удалось купить его пластинок.

«Гибель Варяга» — «Наверх вы, товарищи, все по местам...» — любили распевать Сережа и я еще до граммофона. Мы с ним пластинку эту часто заводили. Позже, в 10-е годы, моими любимыми были «Солнце всходит и заходит», «Дубинушка», «Бродяга», «Укажи мне такую обитель». Иногда один долго заводил, сидел и слушал...

В 1931 г. Ваня Кормильцев перевозил тетю из нашего дома на квартиру и отправлял кое-какие вещи нам в Москву. Граммофон он взял себе. В конце или после войны я был у Тони. Граммофона уже не было, из пластинок сохранилось лишь четыре. Тоня весьма любезно вручила их мне. <...> Вот они предо мной, живые свидетели нашего детства; все фирмы «Зонофон»:

1. «Индийский марш», Селленик, «Веселый кузнец», Петер. Обе — оркестр республиканской гвардии, Париж.
2. «Русский марш», Ган. Французский марш «Карно», на мотив песни «Ля пэр де ля виктуар», орк. респ. гвардии, Париж.

3. «На сопках Манчжурии», вальс Шатрова. Оркестр гренад. арт. бригады под упр. Беккера. Москва. «Зимняя сказка», вальс Беккера. Тот же оркестр.
4. «Вперед на японцев», марш Полякина. Оркестр о-ва «Зонофон».
5. Москва. Встречный марш 106-го Уфимского полка. С командой. Военный оркестр 106-го Уфимского полка под упр. Бородзюка. Вильна.

Когда в 40 и 50-х годах я покупал пластинки для патефона, пытался вспомнить, что было у нас в Скопине, составил список, отметил, что теперь есть. Но не все вспомнил. А теперь путаю скопинские с московскими. Пластинки 40 и 50-х лет почти все в саду <т.е. в Покровке>. Там же и вышедший из строя патефон. Его купили осенью 1937 г. как подарок Кате в день рождения.

Август 1969 г.

* * *

Тетина комната, «спальня». В нее из зала вела широкая дверь. Сразу же вправо — топка печи, две иконы, Божия Матерь и Преподобный Сергий, обе в серебряных ризах. Под окном большой сундук с бельем, обит для красоты жестью, накрыт ковром, на нем хранилось решето с пышками, когда тетя их пекла. По стене от зала тетина кровать, а по стене от проулка Катина. Когда я в сентябре заходил в эту комнату и показывал место кроватей, хозяйка переспросила: «Где же здесь ставить вторую кровать? места нет». Было тесно. Проход между кроватями все же оставался: детская — узкая. Кроватка была железная, с перекладинами и сеткой с боков. А на крюках внутри подвешена люлька. Сперва Катя спала в люльке, подросла — ее убрали и постелили на кровати. Под кроватью ящик с игрушками.

В углу у окна в проулок небольшой темно-коричневый стол с ящиком и шкафом внизу, на столе швейная машина. В ящике тетино добро, шитье. В шкафике на полке чайная посуда, а внизу белый хлеб. Очень помню хлебную пилу с черной деревянной ручкой. Много раз в день прибежишь сюда, отрежешь ею булки и опять за «дела». На столе — доска ничем не покрывалась — два эмалированных кувшина с крышками, синий и пестрый — кипяченая вода. Здесь же обычный фаянсовый чайник. Сырую воду запрещалось пить очень строго. Воду наливали в чайник и тянули из соска и мы

и папа. Пили часто и помногу. Кто больше выпьет? И Сережа наливается свыше всякой меры, до отказа, и я стараюсь влить в себя сколько могу вытерпеть...

29 ноября 1969 г.

Швейная машинка ручная с бегающим челноком немецкой фирмы Frigga. Ее купили подержанную уже после смерти мамы. Тетя очень берегла ее и очень аккуратно с нею обращалась. В конце 20-х годов тетя, уже лежавшая в постели, продала ее. Приехали мы на каникулы — машинки нет!.. жаль было. Памятны еще тетины ножницы. Они целы. Много лет у меня на столе.

Что здесь от мамы? Вероятно, ее постель на месте тетиной кровати и вначале две одинаковых детских кроватки. Стол, в нем шкафик буфетного назначения.

* * *

Столовая — с трех сторон двери, с четвертой окно. Небольшой образ Спасителя в серебряной ризе — единственная икона, которую папа привез с собой в Москву. Никакого буфета, шкафа, только стулья и большой складной обеденный стол, придвинутый к стене. Основная часть 1,5 × 0,5 аршина, с ящиком, на четырех точеных ножках. На петлях два крыла по 1,5 × 1 аршин. Каждое можно поднять и закрепить выдвижной ножкой. И здесь, и в новом доме у нас было разложено одно крыло. Всегда покрыт клеенкой. В ящике, в коробке от сардин, хранились деньги, данные тете на расход. Стол при маме по заказу сделал Миша. Это столяр-краснодеревец, прекрасный мастер. Имел много заказов. Не справляясь, нанял себе помощника. Но человек совсем бесхарактерный и у своего работника оказался подручным: «Миша! свари клею!», «Миша! подай...» — командовал им подручный, и Миша бегал, не имея возможности работать сам. Умелый — на побегушках, неумелый — за делом. Всегда при такой ситуации папа вспоминал Мишу и эти команды. Кончил Миша печально: совсем спился, пропил всю мастерскую, весь инструмент. Помню его, медленно бродил по городу в отрепьях, с одутловатым лицом, очевидно, больной. Жаль, погиб способный русский человек...

Были у нас еще шесть венских стульев, желтые, плетеные сиденья. Помню дырки в сиденьях, и плетенку заменили фанерными.

Еще желтая венская табуретка с плетеным сиденьем — Сережина. Уже в древности столяр набил фанерное сиденье. Табуретка цела, была в саду, теперь у меня в комнате. В один из ремонтов я покрасил ее черным лаком и не так давно всю скрепил болтами. Не раз менял сиденье. Но снова нужен «капитальный ремонт». Катя сидела за столом на высоком детском креслице из прутьев.

24 мая 1909 г. папа купил у часовщика старые круглые часы с приятным боем. Плохо ходили. Папа повесил часы над дверью из столовой в тетину комнату. Эта дверь уже и ниже всех других. Памятна она еще и потому, что папа, играя с нами, сажал мальчиков по очереди на правую дверку. И страшно, и необычно ново выглядит оттуда все привычное.

В столовой топка печи, выходившей в папину комнату. Печи топили дровами один раз в день утром после чаю. Но в лютые морозы в тетиной комнате протапливали второй раз старновкой (солома в снопах). Было слишком интересно повозиться в соломе. Очень занимало развязать сноп: в средине всегда находили засушенный цветок. Где-то на стене столовой висел численник с картонной картинкой.

Воскресенье. 30 ноября 1969 г.

* * *

Папина комната, «кабинет» — маленькая, но в ней большая дверь и три окна. В переднем углу икона Божией Матери. Помню кипарисный Крест рядом. И вот удивительно; не помню других образов в комнате, которую считал своей, хотя помню во всех других. Не помню образов, пред которыми каждый вечер на сон грядущий молился, — утренняя молитва в зале...

Под иконами круглый столик, на нем книги — «Правило», требник, завернутый в епитрахиль, одно время лежала папина Библия. В древние времена папа подарил Сереже «Новый Завет и Псалтырь» в русском переводе, а мне — «Новый Завет» по-славянски и по-русски. Обе целы. У меня был еще молитвенник на славянском языке. Очень его жалею. Все эти свои книжки мы тоже устраивали на круглый столик. Впрочем, иногда переносили в зал, тоже на столик под образами. Там он обычно стоял пустой, покрытый скатертью.

Много места в комнате занимал письменный стол. Теперь он, ветхий, в саду, в Покровке. Купили у уезжавшего из города полко-

вого священника в начале японской войны. Значит, еще при маме. А что было до него? Вероятно, ломберный? «Папин стол» — центральное место в доме для мальчиков. За столом у нас были свои места: папа — рабочее место, средина стола; Сережа — слева, со стороны своей кровати, сперва на своей табуретке, потом пристраивался на железном сундуке; я — справа, здесь стояло старое кресло дачного типа, из прутьев. На него садились папины посетители. За ним в углу к столовой — этажерка грубой работы: внизу шкаф с одной полкой, вверху три полки. Приобретена после мамы. Почему-то я всегда думал — ее подарил о. Иван Соловьев. Внизу книги, на полке шкафа графин, круглая бутыль с вишневкой, одно время — бутылка рому. Это было большое событие: папа купил рому. Слово нам известно: шутя с нами, папа не раз декламировал стишки из песни семинарского времени: «в вечер майский чай китайский, ром ямайский так приятно распивать...». И нам иногда давали в чай по ложечке, очень ароматно! Бутылка долго стояла почти полная. Зашел раз к папе Никиша Брежнев. Так у нас называли брата Степана Никифорыча, тогда еще молодого человека. Папа почему-то угостил его ромом. И вот ужас у Сережи и меня: Никита выпил половину бутылки! как можно столько такого крепкого!.. А на полках этажерки — бумаги, книги. На самом верху всегда страшно пыльное. Чтобы взглянуть туда, забирался по полкам, конечно, без взрослых.

Несгораемый денежный сундук полагался казначею отделения. В нем папа хранил семейные драгоценности — внизу почти всю площадь занимал футляр со столовыми ложками дяди Павла... конечно, казенные деньги, когда они были на руках.

Хорошо играть на этом сундуке: не высоко и совсем гладкая поверхность, плоская, весь железный.

Пред столом между двух окон живописный портрет мамы, под ним снимок умершей мамы, ниже первая — дедушка раненбурский, вторая — дедушка, бабушка, тетя, третья — маленький снимок группы в журавинском саду. Еще ниже — лапоть для карманных часов.

Посредине стола — мамина шкатулка; на ней, справа и слева от нее без особого порядка книги, бумаги, справа вверху счеты. Вдоль шкатулки выстроены в ряд: Будильник. Банка из карельской березы с ручками, карандашами — вот она предо мной, цел и ножик для

бумаги, всегда бывший в этой банке, — желтая ручка, убран; я пользуюсь другим — с черной ручкой. Его купил папа в те еще времена, у меня в Москве он со студенческих лет. Перочистка — небольшая банка из карельской березы с пуком конских волос. Стальные перья полагалось вытирать, иначе остатки чернил насыхают, перо и плохо пишет, и быстро ржавеет. Потыкать в перочистку, и перо будто станет чистым. Но хорошо вытереть можно только тряпочкой; суконка валялась здесь же, да и перочистку в своем доме убрали. Чернильница — тарелочка из карельской березы, на ней стеклянная посудина с деревянной крышкой. Позже, не помню почему, заменили стеклянной, плоской. Она цела. Пепельница — сперва лапоть из уральского камня... Лампа — стояла от пишущего справа! Почему?

«Кто ее знает!» — отвечал папа. Только сейчас мне пришло в голову: вероятно, мама садилась к столу с этого боку, а папа не склонен продумывать «мелочи», для него важна была привычка, лишь бы привычное место. Так и осталась лампа на прежнем месте и здесь, и в новом доме. Молния, металлическая с подъемной ножкой, 10 линий, круглый фитиль, белый абажур, полагалось синее стекло. Горела ярко, свет приятный. Купили после мамы. Часто лопалось стекло. Вышла из строя в голодные годы, при разрухе нельзя было добыть стекла, да и в НЭП тоже. Впрочем, все равно керосину не было, без дела вечером сидели с коптилкой — фитилек в банке как в лампаде. Я занимался с трехлинейной лампой. По бутылочке керосину иногда дарили папе работавшие на чугунке.

Свободной оставалась передняя часть стола, полоса шириной сантиметров 35. Тесно! Все в таком же порядке перешло в новый дом. Приходилось папе много писать по отделению, листы большие (35,5 × 22 см) — больше стандарта теперь, да еще двойные. Неудобно, тесно. Изменили лишь в 20-е годы. Собственно, сделал это я, с пассивного согласия хозяина. Убрано все, что не требовалось: шкатулка, книги, бумаги... Лампа слева, будильник справа. Папа удивлялся, почему он не сделал этого прежде, так было неудобно работать... Есть снимок 10 января 1927 г. — папа за столом, уже новые порядки. Из вещей старой квартиры видны банка, чернильница, промокашка. Да на стене три стеклышка с фотографиями, как они были на старой квартире, мамин портрет, но прежде между ними висела еще фотография, почти в ширину портрета, — мамы умершей, плохо сделанный снимок.

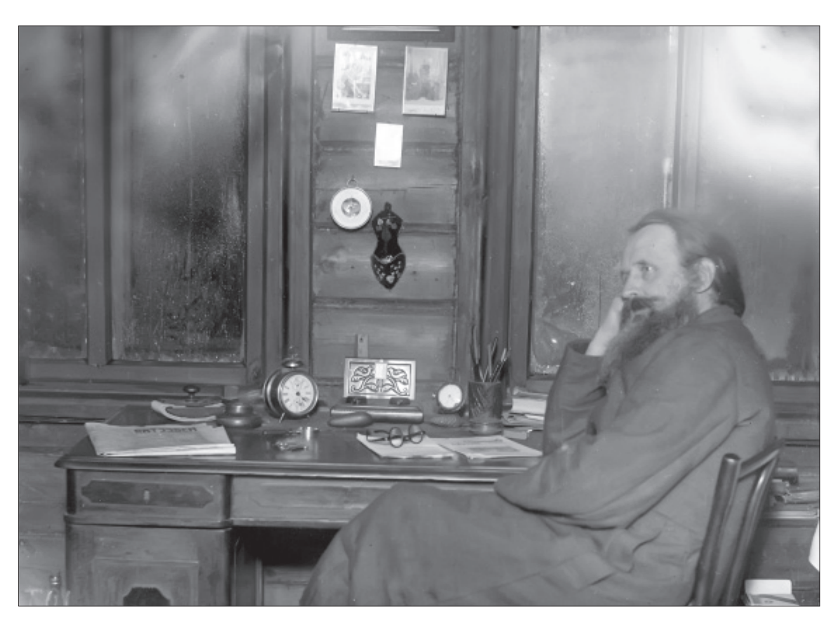
Лапоть для часов новый, бархатный с красивой вышивкой; барометр — подарок Ивана Ефимыча, вот он сейчас предо мной. Снимок сделан со вспышкой. Неожиданно проявились секреты: бутылки под окном...

А копилка — банка из карельской березы всегда хранилась пустая в ящике стола.

Были иногда на столе еще две вещи. Деревянная подставка для дамских часов — часы подвешивались, цепочка в углублении внизу. Вероятно, мамина. Я все пытался приспособить ее для папиных, но неудачно — размер не подходил. Черные часы без крышки на волосяной цепочке (плели павелецкие ребята, волосы из конского хвоста) обычно в лапте на стене. А серебряные «Тобиас» на длинной цепочке, надеваемой на шею, хранились в столе.

Папиросочница в виде домика. Приподнимешь его, подставка остается на столе, по коньку образуется щель; опустишь — на коньке папироса. Очень нравилось возиться с ней, поражало, как это появляется папироса. Тогда папа не курил один, только с гостями. Покупал иногда коробку гильз и набивал табаком, укладывал в эту папиросочницу. Сережу и меня интересовала процедура. Помогать в набивке разрешалось и нам. Но дело кропотливое — и Сережа, и папа вскоре отставали, больше приходилось на мою долю, да и до конца иной раз доводил больше я. Ни Сережа, ни я никогда не пробовали курить, как это делают обычно мальчишки. Вспоминаю лишь совсем маленьких: сидишь у папы на коленях и пристаешь — дай покурить! даст; понатужившись, так дунешь из себя, что огонек летит на пол... Я пробовал курить лет так в 18–19, противно, бросил навсегда. Пробовал курить я не только из интереса, почему другие курят. Были и практические соображения. Для каждой, хотя бы и минутной, работы с пчелой приходилось разводить дымарь. Быстрее и проще дымнуть папиросой. Но нет! уж лучше дымарь.

Самое интересное в столе. Иногда папа разбирал, иногда мы просили показать... В верхнем левом ящике картон с бархатным служебником дяди Павла, толстый иерейский молитвослов в красивом переплете, очки синие и дымчатые — когда-то требовались папе в семинарии, лупа — вот сейчас она у меня в руках (увеличительное стекло — называли мы), громадные карманные часы с улиткой (целы, не ходят). В среднем — бумаги, папки, Псалтырь,



О. Иоанн Журавлев, 10 января 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

мамин портрет за стеклом (теперь он у меня в ящике шкафа), позже и Сережин. Правый — мамин бархатный альбом, деревянная коробка с портретиками по углам — в ней бумажные деньги (их бывало мало), серебряные рубли и полтинники, самодельная печать, сургуч, солонка на трех лапках — в ней серебряная мелочь, золотые хранились в круглой коробочке, точеной из карельской березы. Все это, кроме, разумеется, денег, цело. Была там еще посудина для меди. Здесь же серебряные часы с цепочкой и приходо-расходная книга.

В тумбах все шесть ящиков заложены. Лекарства, коробочки от лекарств, в одной или двух — зеленый мох, он очень интересовал нас. Электрический звонок, кнопка, проволока — на одной из прежних квартир он работал... В одном из ящиков справа три копилки: Сережина, моя и Катина. Это жестяные коробки, у Сережи от чаю, у меня и Кати от красок.

Как и полагается ребятишкам, всякое отклонение от повседневности воспринималось как событие. Одно из них — раз в месяц делили кружку. Папа приходил от вечерни позже обычного и

приносил мешочек с деньгами. Такие мешочки у мужиков применялись под табак и именовались «кисет». Обилие меди и серебряной мелочи. После чаю раскладывал столбиками, пересчитывал, укладывал в ящик. Мы при сем увлекательном деле обязательно присутствовали. Кончалось получкой небольшой серебряной монеты. Каждый клал ее в свою копилку. Попадали нам монетки и от дедушки с бабушкой. Мы копили, не расходовали. Когда-то папа забрал у Кати всю мелочь, было меньше пяти рублей, и положил золотой. Та в слезы: было много, а теперь лишь одна денежка...

Все ящики стола всегда заперты: чтобы ребята не забирались.

Ключи на знаменитой «золотой» от употребления цепочке носил в кармане штанов, цепочка цела, на ней лишь один ключ древний — от верхних ящиков. В том же кармане обычно и портмонет. Так называли у нас тогда кошельки для денег. Поношенный, плоский, из кожи. Стол покрыт черной клеенкой. Под столом корзина для брошенных бумаг... Цветы на окнах комнаты.

В одном из ящиков — знаменитое яйцо цесарки. Всякий раз рассматривали его с большим любопытством. И вид необычный и красивый, и еще одно свойство — прочность. По словам папы, если биться куриным и этим, всегда разбито будет куриное. В народе бытовала пасхальная забава, азартная игра — биться яйцами. Один подставлял тупой конец, другой бил яйцом, тоже тупой стороной. Разбитое переходило в собственность счастливого владельца прочного. Мошенства — бить острым концом или некуриным — жестоко преследовались...

Просто чарующее впечатление было у меня и у Сережи от печати и сургуча. Папа когда-то сделал ее сам, криво выточив из мягкого камня. Не припомню, зачем ее применял в это время. Позже она давалась запечатать сургучом бутылки с ягодами. Пожалуй, тетя это делала уже в новом доме. Как только я научился мало-мальски писать, начал составлять списки очень нужных мне вещей. Предполагал — приобрету их себе, как только буду большим. И в самом начале списка — печать, сургуч...

По центральным улицам Скопина иногда ходили китайцы-разносчики с тюками мануфактуры. Тетя, случалось, у них покупала; помню, брала материю «чесуча», называя ее «чесунча». Однажды у такого китайца были еще статуэтки из камня.

Мы пристали к тете, и она купила пару львов — Сереже и мне. Позже мы сообразили — камень мягкий, и сделали из них печати, прорезав свои инициалы.

Мечта сбылась...

* * *

Прихожая. Большой мамин сундук по стене от кухни, на той же стене проволочная вешалка. Прибита высоко: папа большой, костюмы длинные. Двери столовой и зала открывались в прихожую, дверки закрывали угол, за ними на гвоздиках наши детские одежки. После мамы купили большой шкаф, мы его звали гардероб. Левая половина для одежек. Правая — четыре полки, да внизу выдвижной ящик, на второй от верха полке была неходкая чайная посуда, банки с вареньем. Нас в количестве варенья за чаем не ограничивали, брали ложками из общей вазы. Подавали часто, почти каждый день. Ешь сколько хочешь, только «не безобразничай!» — нельзя накидываться с азартом, черпать ложку верхом и капать на стол... Но днем таскать не полагалось. А так иной раз хотелось сладкого! Возьмешь, бывало, из тетина стола ложечку, потихоньку заберешься в гардероб — с полу я не доставал — и повозишь вареньица. Очень нравилось малиновое варенье. Его клали в небольшую плоскую четырехугольную вазу из розового стекла — еще мамина.

Высота комнат 4 аршина, значит, 2,84 метра, на 8 сантиметров выше, чем в нашей сокольницкой квартире.

3 декабря 1969 г.

От парадного до коридора устроен деревянный пол. Огорожено — перила и точеные балясины, многие из них подгнили и вывалились. Все это мы называли крыльцом. В наше время крыши над ним не было. В коридор широкая одностворчатая дверь. Слева окно. В углу друг на друге две громадных корзины с рухлядью, в нижней — большая мамина перина. Цела только половина ее. В Москве спал на ней папа, теперь в силу обстоятельств я. Рядом с чуланом ломберный стол. Как только потеплеет, с чаями, обедами мы выходили в коридор. Ломберный стол раскладывался. Сидишь за столом и в окно видишь Успенскую колокольню. Помню своеобразное и несколько тревожное впечатление: ужинали поздно, сумерки, а колокольня

совсем светлая. Вот и сейчас она в памяти предо мной... А в хорошую погоду стол выносили на крыльцо и харчевались на свежем воздухе... В чулане совсем маленькое окошко. Полки по бокам. Банки с вареньем. Запас топленого масла и всякие прочие продукты, разное тряпичное имущество, ящик с книгами. Чулан всегда заперт висячим замком. Продукты тетя выдавала кухарке ежедневно. За чуланом окно поменьше. Здесь ящик с грязным бельем, на нем деревянное корыто. Дверь в уборную (называли «сортир») и черный ход на двор.

В кухне громадная русская печка без плиты. Рядом широкая лавка. В углу стол, над ним образ. Справа от входа, помнится, тоже лавка, над ней небольшие полати... Одна-две табуретки. Здесь все простое, сосновое, некрашеное. На столе накрыт тряпкой черный хлеб. Покупали в булочной — 1 копейка фунт, значит, 2,5 коп. кило. Пекли в четырехугольных формах, чисто ржаной, душистый с чудесной верхней корочкой — темная блестящая, хорошо было потереть ее чесноком. На столе большой никелированный самовар, его кипящий подавали в столовую. Был еще маленький желтый самовар и синий эмалированный чайник для заварки. Это для кухарки, она могла при желании ставить себе вне обычного нашего расписания. Ей полагалось ежемесячно выдавать условленное договором при найме (устным) количество чаю и сахару на руки — «отсыпное». Белый хлеб тоже полагался по выдаче. Прочая еда общая, обедала она после нас одна в кухне. К праздникам полагался подарок на платье. Значит, на хозяйских харчах, плата 5 рублей в месяц и два отреза на платье в год.

Около широкой лавки у печи купали ребят в деревянном корыте. Мылись взрослые, поставив на пол широкое корыто.

Впрочем, совсем маленьких купали у тети в комнате, против устья печи.

Вода в своих колодцах во всем городе непригодна для питья. Питьевой снабжали водовозы из Пращонского <так!> колодца, 1 копейка ведро. Каждое утро водовоз сам вносил и выливал в кадушку 4 ведра. Кадушка стояла в коридоре близ кухни, зимой в кухне. Черпать воду — корец, это ковш с крючком на конце... Есть мой снимок Пращонского колодца 17 августа 1927 г.

Введение, 4 декабря 1969 г.

После мамы купили умывальник, конечно, старый, по случаю. Такие теперь можно видеть лишь на картинках. Мраморный столик с тазом, внизу шкаф с ведром, по бокам два узких ящичка со стеклянными ручками. Мраморная доска закрывает бак. Двусторонний кран: повернешь в одну сторону — струйка вниз, в другую — вверх, забавно! Летом стоял в коридоре, зимой... не припомню. В новом доме он в прихожей около двери в папину комнату. Скоро вышел из строя, сгнил. Заменили латунным журавинским — чикалка.

САМОЕ РАННЕЕ. ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА

Помню крестины Кати в зале. Купель. О. Иван Соловьев в ризе, думаю, по этому случаю — большой обеденный стол в зале. За ним люди, папа, я стою около него, под столом бутылки.

В спальне мама, не помню ее лица, кто-то из взрослых около нее; момент, связанный с кормлением Кати.

Приезд тети после смерти мамы. Я больной, на папиной кровати в его комнате, реву и обдираю ногтями бабушку Левитову, она пыталась взять меня. Подходит только что приехавшая тетя, моя радость, иду к ней на руки. Круглый стол из зала стоит в столовой, около него сидит бабушка Левитова, я вижу с кровати чрез дверь.

Из двери тетиной комнаты Катя ползет в зале. Сережа и я прижались в уголок к стенке у двери и смеемся. Впереди зелень фикуса.

Я ем землю из горшка фикуса. Колупаю глину из трещин тетиной печи и ем. Помню вкус печной глины.

До покупки своего сада (1906 г.) нас водили гулять в городской сад. Там мы играли с Нюрочкой Брежневой, дочкой Степана Никифорыча. Помню, вероятно, одну такую прогулку — Сережа, я, Нюрочка возились, взрослые на скамейке; но кто был с нами, совсем не помню, не няня ли еще? Ибо у тети не хватило бы терпенья сидеть без дела на скамейке. Нюра Брежнева позже училась в гимназии вместе с Катей, а в 20-е годы — в институте физкультуры (Москва). Умерла тогда же.

Я и мама ездили в Раненбург весной 1904 г. Это — трагическая поездка, дело закончилось смертью мамы. Следующая поездка — папа с тремя детьми — в 1905 или 1906 г. чрез Ряжск и Богоявленск. Против 1905 г. говорит то, что я совсем не помню дедушку Леви-

това; это было бы понятно, если ездили в 1906 г.: он умер 2 марта 1906 г. Против 1906 г. — только что купили сад, папа мог не выбрать времени. Впрочем, именно это могло побудить поскорее отделаться от неприятной для него обязанности.

Мои самые ранние воспоминания, связанные с Раненбургом, — только отдельные моменты. И теперь я не все могу разделить, что к какой поездке относится.

Пристань и лодка на цепи в «Иван Якличевом» саду. Река — Ягодная или Становая Ряса, обе они сливаются где-то около Раненбурга.

Беседка в саду близ пристани — кусты, стол, чай, за столом мама — помню факт ее присутствия, но не помню ее саму. В поездку 1912 г. я все эти места узнал по воспоминаниям.

Мама, я, дядя Паша плыли на лодке, греб дядя Паша, подплыли к очень высокому черному обрыву берега. Дядя Паша поднял меня и посадил на траву. Помню зелень травы. Пока я осматривался в новой обстановке, подошли мои взрослые спутники.

Очень смутно: раскрытая дверь в одной из комнат раненбургского дома и как будто постель на полу, связанная с дедушкой.

Очень смутно: двор, покрытый травой, больше сорной и тощей; мое пребывание на нем связано с какими-то тревожными переживаниями.

Сад у дома, за сараем вниз по склону бугра. Помню балкон из сарая, с него я смотрел вниз, и мне казалось — стою я очень высоко. Это место я тоже узнал в 1912 г., но балкон уже полуразрушен, а высота его ничтожна, хотя верно то, что он стоял на верху довольно крутого бугра.

Длинный, казалось мне, коридор, сплошные окна с одной стороны. Серая старая краска, быть может, в своей молодости была голубой.

Мы с папой в темноте подъезжали к Скопину. Помню свое томление от усталости в дороге, ожидание приезда, конца пути. Смотрю в окно, темно, огни приближающейся станции Скопин и темный силуэт какой-то станционной башни, мимо которой проходил поезд...

5 декабря 1969 г.

Глава тринадцатая

Будни



В своюочередную неделю папа уходил рано, мы еще спали. Вставали около восьми часов. Одевались, без верхней рубашки шли умыться холодной водой. Надев рубашку и причесав волосы, если было что причесывать, ибо стригли нас наголо, молились Богу, каждый поодиночке, утром — в зале. Только после молитвы утренний обряд считался законченным и разрешалось заняться своими делами. Но обычно около восьми тридцати приходил папа, и мы едва успевали сесть за стол чайпить.

Слово это и нами, и в народе произносилось и воспринималось как одно. Глагол «чайпить», существительное «чаепитие». «Когда мы почайпили...», — писал в своем сочинении Анатолий Кобозев. И мы так говорили. Но писал я уже «по-литературному».

Обычай — всякий раз, садясь за стол, крестились, выходя из стола, дети должны были вслух сказать: «Слава Богу!» и перекреститься. За столом у каждого свое место...

У каждого своя посудина. У папы «бокал». Сохранилась лишь Катина маленькая, розовая чашка. У папы своя чайная ложка — серебряная, сильно истертая. У Кати тоже серебряная, круглая, с тонкой витой ручкой. Таких ложечек в сундуке лежало несколько — мамины; ушли в торгсин. Всем остальным — дюралюминиевые. Позже из Журавинки Сережа получил серебряную — она сейчас у меня с ночным питьем, я — из польского серебра (нейзильбер). В Журавинке они от Лоховых. От них же «Юрий Милославский» и еще книжка, в свое время не раз мною прочитанная, — «Тайны загробного мира»[1]. Василий Иваныч служил коридорным в гостинице у Саввы Сторожевского. Уехали гости, забыли. Повторяю — «забытые»: народ безусловно честный...

Чайпили с молоком, вприкуску, детям полагалось половина чашки жидкого чаю, прочее — молоко. Вплоть до голодных лет папа совсем ничего не ел до обеда, только пил чай. Нам всем — завтрак, иногда вареная колбаса. Помню, как ходили за ней. Это за маленьким углом, рядом с Кудиновыми, колбасная Рудакова. Он делал сам вместе с работником, сам и продавал. Иногда говорил — придите чрез полчаса, вынимаем. Чрез полчаса за 20 копеек получали фунт теплой вареной колбасы. Этот сорт соответствует тепе-

[1] В каталогах центральных библиотек с этим названием обнаруживается только книга И.В. Протасова 1915 г., что, кажется, слишком поздно для книги, которую может иметь в виду Д.И.

решней «любительской». Была еще 15 коп. фунт — теперь иногда, очень редко, попадает подобная «отдельная». Ребятам и она очень нравилась. Ее покупали, когда надо было угощать приехавших из деревни. К ней — ситный. Когда ходили в школу, на завтрак яйца, сосиски, кетовая икра... И где-то писал: сыру и сливочного масла не было. Вволю белый хлеб, всегда булки, иногда ситный, баранки. На старой квартире по утрам ходил разносчик. У него иногда брали Сереже посыпушку, мне плюшку. Считалось — кто что любит. Но я при случае и посыпушку уписывал с не меньшим удовольствием. Покупали иногда и другую мелочь: калачи с мукой, розаны, просвиры... На первой неделе великого поста — гребешки, рога... посыпаны маком, на постном масле. Так давно все это было, ведь нормальная, налаженная жизнь начала разваливаться в первый же год войны, да так никогда и не наладилась. Возможно, мелочь на масле и с маком была и в Рождественский пост. Помню лишь — малыши ждали: гребешки! Ближе к весне, в марте в продаже появлялись жаворонки: глаза — изюминки, посыпаны маком, очень занимали малышей. Большая булка стоила 5 коп., мелочь 5 коп. пара. Трудно сравнить старые размеры с теперешними. Но большое все было. Все свежее; вчерашнее, по пониженной цене, мы не брали.

Булки, баранки, пышки, когда тетя их пекла, нам разрешалось таскать самим весь день без ограничения. Частенько, побегав, наведывались в шкаф тетина стола.

Около чаю громкий заливистый лай Дружка — почтальон в форме, как на открытке «Скопин», принес газеты. А несколько раньше восьми тоже отчаянный лай возвещал приезд водовоза. Почему-то собаки очень не любили их и жестоко лаяли и злились, хотя водовоз привычный — каждый день один и тот же. В новом доме почтальон приходил незаметно: был почтовый ящик; водовоза встречали жестоко: метался и лаял Дружок, цепная собака из себя выходила, в бешенстве бросалась грызть забор, запорку у ворот... В чем дело? стук пустых ведер?

Я страдал малокровием. Одно время часам к 11 по совету Липеца мне варили на керосинке кофе, вероятно, на молоке и в горячий вбалтывали сырое яйцо. Была повинность выпить эту штуку. Очень старались накачать меня молоком. В самые древние времена у Сережи и у меня были свои маленькие эмалированные кружки для молока — в них можно подогреть над лампой. Сережина синяя цилиндрическая — еще на старой квартире ее не стало. Моя белая, коническая; она в работе, и в новом доме, и сейчас у меня в шкафу, обитая и дырявая, уже без дна. Лишь как память давно минувших дней.

После чаю папа читал газеты или шел в школу. Тетя хозяйничала, шила. Кухарка убирала постели, подметала пол, топила зимой печи, готовила обед. Но основная часть ее дел в кухне, у нас за глазами. Мы туда забегали редко. А у нас, как и полагается ребятишкам, много своих дел: бегали на дворе и улице, играли — время заполнено.

* * *

В час, а когда ходили в школу, и позже — обед. Вся посуда эмалированная, ложки деревянные лодочкой, у каждого своя. У ребят были и свои маленькие тарелки. Сперва закуска: журавинская ветчина или яйца всмятку, постом квашеная капуста с сахаром — взрослые ее очень любили, селедка, картошка холодная толченая с луком и постным маслом. Яйца всмятку ели стопками. Теперь, в наш трезвый век, слово «стопка» в ходу только, пожалуй, в одном смысле — чарка, посудина для выпивки побольше рюмки, поменьше стакана. Прежде — заноза, щепочка, впившаяся в тело; «кисель на стопочке висел»; у нас и в селе — особой формы ложечка есть яйца. Она делалась из свиной косточки с плоским расширением с одной стороны. У каждого своя, папина цела. Очень удобны. Чайной ложкой я и теперь не умею управляться — хлеб в скорлупе не размешаешь и не вкусно. Предпочитаю в кружке, как когда-то нам давали совсем маленьким. А стопкой все мы ловко действовали.

Горячее — щи или картофельный суп с мясом. Второе блюдо немясное — каша черная гречневая, белая пшенная, обычно с молоком, иногда с маслом; картошка жареная, картофельная запеканка — позже я прозвал ее «казенная», ибо тетя одно время излишне часто давала. Она пеклась в особой горшечной посудине — жаровне... В заключение — кружка молока. Папа любил молоко и пил кружка за кружкой; у него была особая — белая внутри, коричневая снаружи, с отбитой ручкой, фаянс, — «папина».

Я не все перечислил, стол все же разнообразили. Например, вместо каши крошили черствые булки с молоком, гренки с яйцами, очень редко компот из сухих фруктов... В среду и пятницу — постное. В продаже постное масло двух сортов: конопляное и подсолнечное, у нас принято последнее. Похлебка грибная или со

снетками, иногда щи с соленой рыбой. Любили мы на второе рисовые котлеты со сладкой подливкой, ее тетя умела делать совсем по-особому. Детям в эти дни полагались молоко и яйца. Очень следили, чтобы мы ели с хлебом. Черный; белый к обеду не подавался. Да и всегда хлебом называли ржаной, а пшеничный — булка, ситный и проч. Если иной раз попытаешься без хлеба, тотчас же окрик папы: Что ты как галка! В воскресенье и праздники второе блюдо тоже мясное: котлеты, телятина, гусятина... Обед варился каждый день свежий; остатки вчерашнего, если и были, не подавались.

После обеда папа ложился «отдыхать», спал, накрыв голову подушкой, а в жару газетой.

К четырем часам папа уходил к вечерне. В шестом возвращался. Его обязательно уже ждал кипящий самовар, и все — за вечерний чай.

* * *

Вечером папа часто уходил: требы, в шесть или семь часов — собрание отделения или собрание правления; они длились редко часов до одиннадцати. А мы ложились в девять, не дождавшись его. Когда научились писать, оставляли ему на столе записки с пожеланиями спокойной ночи и другими дополнениями. <...>

Вечер тетя обычно читала. Иногда что-либо рассказывала нам. Иногда читала вслух, тоже для нас. Помню Юрия Милославского. Все его приключения так захватывали, так переживались. Помню сказки Андерсена. Слушали, затаив дыхание, напряженно ждали каждого тетина слова; она читала медленно. Интересно очень! Особенно сильное впечатление от «Огнива», где солдат спускается в дупло и что-то там страшное. Мои переживания — выше всякой меры.

Очень любили мы досматривать картинки в старых журналах. Годовые экземпляры «Нивы» и «Родины» были переплетены. И вот тащишь на стол такую громадную тяжелую книгу и начинаешь листать. К «Родине» прилагались юмористические листки. Они были переплетены вместе, и эта книга считалась Катиной и хранилась в ее игрушках. Картинки с короткими подписями. Рассеянный дворник:

Укажите, милый друг,
Где живет профессор Круг?
Их квартира будет там,
Где в окне сидит мадам!

Картинка: дворник шлангом поливает улицу, в окне женщина, рядом с ним другая. Еще картинка: дворник шлангом показывает на окно, струя на даму... Голый толстяк в виде почти шара, низ в черных поперечных полосах. Это трусики, о них мы и понятия не имели, и эта часть мне напоминала что-то вроде котла или бельевого чугуна, нарисованного для смеха. Шутка в том: он вошел в пруд, вода выступила из берегов, кого-то подмочила, чуть ли не художника за мольбертом... Чаще из жизни большого города: водопровод, люк канализации... Похоже, немец издатель брал все из немецких журналов. Думаю, даже древний математик, определявший число песчинок, не смог бы подсчитать, сколько раз мы перелистывали с неослабевающим интересом эту книгу и еще не умея читать, и разбирая по складам. Были там и рассказы. Но их я читал уже в новом доме, впрочем, с успехом мог бы и не читать: чепуха.

Подобную же книгу юмористических листков другого журнала прислала нам игуменья вместе с «Душеполезным чтением». Это времен революции 1905 г. и всеобщей стачки. Великосветской даме в роскошном салоне щеголь подносит именинный подарок — связку баранок. Еще картинка: идет оборванец, стоит крупный, плотный полицейский.

— Ты куда идешь?
— Не знаю!
— Как не знаешь? Эфто дело не чисто! Пожалуйте в участок!

Вторая картинка: в комнате за столом сидит чин вопрошающий, стоят оборванец и полицейский.

— Ты куда шел?
— Я не знал.
— Как не знал?
— Как же мне было знать, что попаду в участок?

Если папа дома, мы вертелись около него, в его комнате. Он нам никогда не рассказывал, кроме коротенького, да и не читал сказок, разве лишь кое-что из хрестоматии «Родина». Помню басню «Лебедь, рак и щука», но особенно картинку к ней да к басне «Волк и журавль». Впрочем, с осени 1906 г. начал учить нас по букварю, тем стало больше. Показывал и объяснял картинки в книжке по природоведению; мы твердо знали перечень: водород, кислород,

углерод, хотя и не понимали ясно, что это такое. Дал нам прозвища: Сережа — медведь, я — заяц, Катя — птичка-синичка. Позже он предпочитал называть меня «карась», думаю — по Помяловскому, Катю — «дщерь фараоня», а Сережу — без прозвища. Иногда доставал из стола хрестоматию «Родина», смотрели картинки, детские вопросы, ответы. Папа любил пофантазировать. Вероятно, уже купили сад. И вот он нам все объяснял, какой острый топор он купит: не надо рубить, положи на сук, придешь завтра — сук отрублен. И верно: купил топорик для распечатки ящиков. Очень тупой. Обух — молоток. Служил долго. Несколько раз обламывалась ручка, укорачивали ее, отломился и топорик. В Москве остаток я оформил как молоток — вон он у меня в шкафу, почтенный старичок: ему более 60 лет. Ручки из такой древесины обычны в американских инструментах. У Колтырева по улице недостроенный кирпичный дом, и вот папа все живописал, как мы откроем в нем лавку и будем торговать. Придет чья-нибудь кухарка и спросит: — Дайте мне щиколату! — Впрочем, всякие такие туманности больше по утрам, не в папину неделю. Он не прочь был, проснувшись, поваляться. Я рядом, перелезал Сережа, иногда прибегала Катя. Валяясь, болтали всякую чепуху.

Раз уж о шоколаде зашла речь. Как-то вечером я очень раскапризничался, истерично приставал: «Папа, купи бомбу! хочу бомбу!..». Это шоколадный шарик в фольге, стенки (увы!) тонкие, внутри — сюрприз, чаще жестяная тарелочка с семитку, в больших и, вероятно, дорогих даже кошелечки. Папа сидел, у себя за столом, читал и не обращал на меня внимания, хотя я лез к нему и мешал. Наконец надоел. Он взял что-то из ящика стола и вышел в коридор. Вернулся: «На тебе бомбу!» — и дал мне не очень круглое, но в фольге, — картошка.

* * *

Книг в нашей дошкольной библиотечке, если можно применить это слово, было очень, очень мало. Я перечислю все. Едва ли что забыл. Мы их очень берегли.

«Природоведение», старый учебник, в нем разные картинки, в том числе звери. Книга папина, хотя мы могли брать ее в любое время. Но интересно смотреть ее только с папой.

Хрестоматия «Родина»[2], упоминал ее не раз. Папина, хранилась у него в столе.

«География» Пуцыковича для начальной школы. Считалась моей. В ней много картинок. И эскимосы с их жилищами, и... Но особенно интересны таблицы-картинки во всю страницу, на каждую страну света отдельная, — дикобразы, утконосы, птица киви без представления о ее размерах, казуар... все было на картинках так интересно и стало так знакомо. Запомнилась таблица «коровы» — одна так походила на нашу. Все мы книгу перелистывали несметное число раз.

Кован. «Практическое пчеловодство». 1901 г.[3] Книжка папина, лежала на этажерке и всегда доступна нам. Я помню ее с самых давних пор. Малышами мы рассматривали картинки, еще не умея читать. Рассматривали и читали по складам: «эк-лек-ти-че-ский у-лей». Из этой книги мое первое знакомство с жизнью пчелы. Берегу ее.

У Сережи и у меня были альбомы, составленные и изданные М.Н. Кормильцевым[4]: рисование по клеткам. Фигуры такого типа, как на уроках черчения у нас в училище. Бережно хранились, но редко смотрели и рисовать по ним только иногда пытались.

Не помню, кто подарил нам — не журавинские ли дедушка и бабушка? — Сереже книжку небольшого формата в красивом цветном переплете, «Сказки» Андерсена, мне — сказка Юрьина «Городок». Моя цела. После смерти Сережи мы сохраняли его ящик и тумбу в столе так, как он оставил. При обысках в годы революции все перерыли. В свое время книжка выпала у меня из памяти, и ее нет.

Моей считалась еще одна книга —переплетены вместе русская хрестоматия и немецкая, издана в 1872 г., готический шрифт. Без

---

[2] Возможно, имеется в виду книга: *Радонежский А.А.* Родина: Сб. для класс. чтения с упр. в разборе, уст. и письм. излож.: в 3 ч. Курс приготовит. и 4 низших кл. 1876.

[3] *Коуан Т.У.* Практическое пчеловодство. СПб., 1901 г. — одно среди многочисленных переизданий (первое в 1891, М.; это перевод книги: *Cowan T.W.* British Bee-Keeper Guide Book).

[4] Руководство для преподавания рисования по стигмографическому способу в классе и дома / сост. М.Н. Кормильцев, преп. рисования Оренбургской г-зии. Оренбург, 1893. М.Н. Кормильцеву принадлежит также, например, кн.: Пчеловодство: Материальная сторона и поэзия пчеловодства. Оренбург, 1909.

картинок. Перелистывали только первую. Вероятно, уже научившись читать, а быть может, и раньше, я очень любил

В реке бежит гремучий вал...

Знал наизусть, просто очаровывало самое звучание этих слов. Твердил один, упиваясь звуками... Не трогали немецкой: без картинок, мелко и плотно напечатана, непонятно. Но и она пригодилась! На третьем курсе университета учебники по вакуум-технике, по катодным лампам, а позже и другие, на немецком языке. Втроем готовили вакуум-технику: я, Ступоченко, Фрумкин в качестве знатока немецкого. Трудно было, мешали друг другу, лишние разговоры. А время дорого. Приехав в январе 1925 г. на рождественские каникулы, я вплотную взялся за эту книгу — другой не было, начал с первой страницы. Помню про ученого турка: спросили, почему он так много знает. Ответ: никогда не стыдился спросить, если чего не знал. Не помню, сколько успел прочитать, но следующий экзамен готовил один. Строго говоря, с этой книжки началось мое умение понимать по-немецки. Нет ее.

С осени 1906 г. у нас буквари. Они стали любимыми детскими книжками. Коротенькие басни, милые стишки.

В качестве одной из книжек у нас фигурировала самодельная тетрадь из белой бумаги в 1/8 долю листа — рисунки карандашом ребят Кормильцевых. Уж не знаю, кто из них рисовал. Хорошо. Непосильно нам, да и папе. Гоголь. Лошади... <...>

* * *

Был случай: из Раненбурга прислали нам ящик с игрушками. Когда? Еще при жизни дедушки Левитова, до марта 1906 г.? или позже? Каждому по складному металлическому фонарику, высотой около 10 см, цветные целлулоидные «стеклышки», долго они нам служили: на Вербное и на стояние с ними ходили, на Рождество и Пасху дома в зале с ними возились. Две книжки — Сереже и мне, действительно детские: обложка — девочка в цветном нарядном платьице. Обрезана по контуру девочки. Внутри картинки, стишки. <...>

В посылке для Кати проволочная мебель. Что еще? С древних времен у Кати из Раненбурга красивая нарядная кукла с фарфоровой головкой и закрывающимися глазами, хранилась в картонной коробке в сундуке. Кате выдавалась на праздник. Имени не имела.

И лишь Аня назвала ее Лида. Аня сразу же раздела ее. Кукла, раздетая впервые за время своей жизни, по скрытым формам оказалась непригодной для раздевания. Но так и не одели ее! Возвращался я с Аней с прогулки на Девичку, засунул в пальто. Забыл про нее и стал раздеваться, — упала, разбилась. Катя в слезы, Аня ее успокаивает: «Что ты? Дядя ее склеит!..». Имел терпение, собрал из кусочков... У Кати под кроватью ящик с ее игрушками. Кроме этой мебели самодельные куклы из тряпок, некоторые от тети Кати и среди них — «жених». Здесь же кубики с картинками, из шести один рано потерялся, заменили без рисунка, долгой практикой научились моментально собирать и менять картинки... Ящик выдвигался, и все это добро начинали расставлять. В куклы с Катей больше играл я, Сережа реже.

Игрушек покупали мало. Совсем не помню когда, значит, очень рано, появились такие.

У Сережи — собака, у меня — кошка, гипсовые или из папье-маше. Собака широкая, кошка высокая. Собака белая, точнее грязная, с желтыми пятнами, кошка серая. Обе сидят.

У Сережи жестяной паровоз, у меня вагончик, похожий на вагон старого трамвая. В декабре 1913 г. папа и я подъезжали к Рязанскому вокзалу в Москве. На горке я увидел: бежит трамвай. Видел впервые, но показался таким знакомым.

У Сережи велосипед, у меня конь, большой, на деревянных колесиках, можно садиться верхом и «ехать». Помню его уже ободранного, колесики обломались, и на памяти им почти не играли, скоро забросили совсем. Но вот велосипед пользовался большим успехом, пока не выросли из него. Трехколесный. Задние колеса на оси, на нее можно встать пассажиру.

Сиденье — продолговатая доска до руля. Крупный и сильный мальчик Сережа — за рулем и на педалях, я стою сзади, Катя впереди Сережи. В таком составе гоняли по кругу чрез двери — зал — тетина столовая — прихожая — зал.

Да еще иной раз с песнями во все горло:

Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса...

Катались и поодиночке. На дверях были царапины — задевали осью. Летом, вероятно, на дворе. Узкие железные обода без резино-

вых шин, как делают теперь, впивались в сырую землю, а по камням мостовой на тротуаре совсем тяжело: слишком неровно.

Очень давно, не помню когда, из Павельца Сереже и мне привезли по колокольчику. Их привязывали к дугам лошадей. Размер порядка по диаметру 8–10 см, высота 10–12. Сережин гладкий. Мой с надписью — валдайский. Играли в них мало. Сережин в новом доме повесили как уличный. Мой валялся на чердаке коридора. Так там оба и остались... А хорошо бы иметь теперь настоящий валдайский.

Кегли! С незапамятных времен. Любили играть, и все трое много и долго играли с увлечением.

Какие еще игрушки? Забыто, и уже не столь важно вспоминать. Жестяные водокачки у Сережи и у меня, скоро сломавшиеся; плита у Кати... Вот сохранился Сережин пистолетик — закладывается бумажный пистончик, нажмешь курок — сверкнет и пукнет. Был и у меня такой. Еще пистолет, большой, заряд — стержень с резинкой, стрельнешь — он пристает к стенке. Быстро сломался. Были и ружья: пружина, пуля — горошина...

Любили мы ехать. Запрягали лошадь и в путь. Лошадь — кровать, телега — сундук: на накрытую постель ни ложиться, ни садиться не разрешалось. Привязывали к кровати веревочку — вожжи. Усаживались и воображали — едем. Лошадь погоняли. Всякие приключения в пути. Если играли в зале, лошадь, телеги — черные стулья, иной раз составляли целый поезд.

<...> Мишка Сычиков года на три старше Сережи, постоянно болтался по улице без дела. Вот предо мною снимок дома Сычиковых — 1904 г. На нем должен быть виден знаменитый камень Сычиковых. Громадный, четырехугольный, он лежал у ворот и служил скамейкой. Бывало, по вечерам на нем собиралась сычиковская молодежь. <...> Но самое главное — на нем удобно высекать огонь: найдешь красноватый камень, «огненный», называли мы такие, и со всего маху черкаешь им по сычиковскому. Длинная полоса искр.

Ребята Сычиковы запускали на улице большие змеи, иногда с трещотками. Сами мы очень любили это дело. Запускали сперва галок. Бумажные галки летают невысоко и только тогда, когда бежишь. Увлекались все. И Катя тоже. Потом дошло дело до змея и у нас...

По нашему тротуару столбы телеграфа от почты к станции. Провода — враги нашим галкам и змеям. Приходил человек, привязывал к ногам кошки и лез по столбу вверх — ремонт. Как мне хотелось влезть на столб, вооружившись кошками! без них не влезешь на толстый столб, пробовали. «Уличные» мальчишки старались попасть камнем в провода. При удаче раздается звук, бегущий по проводу. «Пошла телеграмма,» — совершенно серьезно объясняла нам тетя.

Весною, летом основное, оставшееся в памяти, все же — походы в сад. <...>

Зима на улице. Лопатки чистить снег. Всегда были лубяные салазки. Тогда различали санки — в них впрягают лошадей, и салазки — возят люди сами. Делались они и покупались для разных хозяйственных надобностей — возить что-либо зимой, но они же и детям. Были двух размеров. Когда-то Кате отдельные маленькие. Катали мы друг друга и на дворе, и на улице. Очень любила катать на салазках меня и Катю Леля Сычикова. Она кончала вторую ступень в одном классе со мной, но старше меня. Помню, в морозный вечер при ярком свете фонаря, по Успенской улице до моста и обратно. Один год Сычиковы ребята устроили ледяную горку у себя на дворе. Сережа с восторгом катался с ними, а я только раза два рискнул: на месте самой большой скорости сделали вал, салазки здорово подпрыгивали — особое удовольствие.

Дедушка и бабушка журавинские подарили Сереже и мне коньки «снегурочка». Вделали в башмаки пластинки и — на улицу. Сережа быстро научился, и по ребячьей манере больше бегал, чем катился. Впрочем, не очень покатишься: не лед, а утоптанный снег, катались по улицам, предпочитали восточный тротуар Успенской, до моста. Там тише, совсем редко прохожие, да в сторону моста спуск, под горку интересно. Сережа очень любил коньки, всегда возбужденный, веселый, пылающие щеки. А у меня ничего не получилось, ноги подвертывались, коньки просились набок. Не хватало сил. А хотелось не отстать от Сережи.

Еще одно развлечение — прокатываться на проезжих санях. Едет, а ты сзади впрыгнешь, на углу соскочишь. Это уж если войдешь в азарт и есть другие ребята. Тетя, конечно, такое развлечение строго запрещала. Многие непрошеных попутчиков гоняли, ругались. Иные относились добродушно: остановятся, посадят, подвезут. Раз

Катя вскочила в розвальни, а выпрыгнуть на ходу побоялась: мужик остановил лошадь, помог вылезти... Разные бывают люди.

Город хорошо освещался. Старая традиция, еще в «Географии» Семенова это отмечено, нарушена только теперь, в эпоху полетов в космос. Из самого раннего детства припоминаю фонари с керосиновыми лампами на столбах вдоль тротуаров. На нашей памяти посредине многих перекрестков на высоких столбах мощные газокалильные фонари. Сильный белый синеватого оттенка свет, чудесно красив свежий снег в его лучах, изумительно сверкают падающие снежинки. Как только подходит фонарщик — ближайший фонарь против маленького угла — мы бежим смотреть. Спускает фонарь вниз, наливает керосин, денатурат, поджигает — красивый синий огонек. Накачивает насосом, сетка вспыхивает. Устройство — особого рода примус, на его горилку надета сетка Ауэра. Она раскаляется в пламени примуса и ярко светит. Еще занятнее, если меняют сетку.

<...> У нас елок никогда не устраивали. Причина одна: не было в Журавинке, а папа ничего не перенимал, придерживался своей традиции. Григорий Иваныч Егоров всегда устраивал елку. Готовились заранее. Под руководством Григория Иваныча девочки клеили из цветной бумаги цепи, делали что-то еще. Мы не всегда, но иной раз при сем присутствовали, немного помогали, но больше мешали своими шалостями. Праздник «елка» в любой день святок, ибо елка — рождественская елка, а не новогодняя, как придумано теперь. Игрунки, блестки, свечки среди зелени — какой красивой казалась елка! Как интересны хлопушки! Кроме нас приходили и еще дети, помню — Венчуковские. Много взрослых: Шабулины, учительницы... папа, тетя. Григорий Иваныч от души веселился. Общее пение, он запевал: «Солнце всходит и заходит...». Прыгали около елки. Девочки говорили стихи. А затем угощение за столом. Окорок всегда подавался целый, и неизменные шутки о будто бы медвежьем окороке...

9 декабря 1969 г.

Глава четырнадцатая

Праздники



Монашка Маша (сторожиха), Пасха 1927 г. Фото Д.И..Журавлева

Елка — большое и радостное событие, праздник. И здесь речь пойдет не только о праздниках в собственном смысле, но обо всем, что радостно нарушало повседневный будничный ход жизни: гости городские, приезжие, наши поездки и прочие события, если что вспомню, ибо для детей всякого рода приятное отступление от обычного — праздник.

Пред Рождеством и Пасхой — генеральная чистка квартиры: скребут, моют, вытирают, достают из сундука красивое тряпье: мамин ковер, скатерти на круглый стол, на подзеркальник и столик под образами. Доставали и мамины подсвечники и ставили у зеркала. В своем месте я не упомянул: у нас были скатерти, связанные мамой. Они кружевного типа. Тетя берегла их. Всегда мне нравилась из коричневых ниток с красными суконными кружочками — праздничная. А теперь Катя стелет ее на тот же стол в саду как расхожую. Были еще белые. Мамин большой ковер стелили пред диваном под стол и кресла. Теперь этот ковер у Ани на «тахте». Украшался по-праздничному лишь зал, а в других комнатах только чистка. Сережа и я в этой суете старались тоже что-то делать, настроение приподнятое, возбужденное. Праздник ждали с большим нетерпением. Сережа сочинил даже нечто вроде стишка:

Завтра встанем,
Завтра скажем:
Завтра Рождество!

Заменяя «завтра» на «послезавтра» и «ныне», твердил с 21-го числа. Но совсем праздничное настроение только к вечеру накануне. В зале, в будни темном, кроме лампады зажигали фонарь. Кругом так красиво, все блестит. Мы выносили свое добро — игрушки и всякие свои «хорошие вещи». Я ставлю кавычки: это выражение Сережино. Так он называл то, что берегли мальчики: цветное стеклышко, камушек. У Сережи был обрезок уголка из красивого металла... Каждый выбирал себе местечко на полу и «красиво» все расставлял. Помню, как я раз устраивался под зеркалом. Маленький подсвечник (высотой сантиметров 8) с горящей свечой, в будни нельзя «баловаться огнем». Подсвечники были у каждого, вероятно, присланы из Раненбурга в ящике. Фонарик. Открытка — курица, заяц, яйцо. Пакетик с орехами, пряниками, конфетами. Близ кануна праздника приносил папа, или приносили от Самышкина

его заказ с такими лакомствами. В будни, если куплены конфеты, давалось по одной, по две штуки. Теперь в распоряжение каждого поступал целый пакет. Игрушки. У меня было большое красное яйцо, внутри другое, третье... все разноцветные. Кате из Киева (1909) бабушка привезла матрешку — в шляпе, рисунок выжжен, в ней несколько младших в платочках. Доставали раненбургскую куклу, ставили орех с белкой внутри...

Тетя очень занята: на ней и уборка, и праздничная стряпня. Пеклись пироги, толстые — с рисом, с малиновым вареньем. Мы красили яйца, сводили рисунок с мраморной бумаги. Но немного, ибо крашеных яиц было изобилие: папа ходил по приходу, с ним христосовались и давали яйца. Сопутствовал мальчик с корзинкой. Из блюд на святках очень памятны, вкусны и нравились кишки. Так у нас величали колбасы из гречневой каши с луком, печенкой, свининой... Такие колбаски в свиных кишках подавались на второе горячими с жидкой подливкой. Объяденье!.. Пишу, и слюнки текут...

Сочельник. Начало проходит в суете подготовки к празднику. У нас утренний чай с большим опозданием, часов в 11, если не позже. Со словом «сочельник» у меня связывается представление о вечере накануне Рождества, когда все успокаивается и беспорядок и суета сменяются праздничным настроением. В сочельник мальчики славили Христа: ходили по знакомым и незнакомым, пели пред образами в прибранной комнате рождественские песнопения: «Рождество Твое, Христе Боже наш...», «Дева днесь...», «Христос рождается, славите!..», или только кто что знает и может. Получали угощение по усмотрению хозяйки, монетку. Сами мы у себя тоже славили. Не знаю, музыкально ли получалось, но текст знали твердо, правда, только «Христос рождается...». Подросли, стали стесняться петь при взрослых.

14 ноября начало шестинедельного Рождественского поста... в сочельник строгий пост — ни рыбы, ни даже растительного масла, мы очень хотели быть как взрослые. Помню, как Липец меня уговаривал: «Будешь взрослый, будешь поститься. А теперь тебе нельзя!». Но вот в сочельник и мы не ели скоромного. Приходил папа от рождественской службы, в зале славил Христа, поздравлял каждого, и в столовой мы усаживались разговляться. Вскоре же папа уходил — по приходу. Оставались дома тетя и мы. Появлялись поздравители. Первым водовоз, ему полагалось на чай 20 коп. и водки. Затем почтальон — 20 коп. Сторожа из Духовного училища, рассыльный отделения... кто еще? всем полагалось дать по расписанию: 10, 15, 20 коп. Нам интересен почтальон: приносил поздравительные открытки с картинками... <...> На святках обязательная и радостная поездка в Журавинку.

* * *

Масленица. Семь дней: понедельник — воскресенье. Три последних дня — широкая масленица. На всю неделю отменяются обычные обеды. Рыбная закуска — у нас любили соленую севрюгу, отваривали сами, с хреном. Очень памятная бутылка с хреном всегда валялась под столом. Не бьется, были мы уверены. Пробовали бросать — верно, не разбилась... Росший в изобилии на журавинском огороде хрен сушили и толкли в порошок. Готовили наподобие горчицы и в полбутылку от шампанского.

И блины. Помнится, на масленицу у Львова — у него завод пива и фруктовых вод — брали корзину пива и меду. Так мы называли фруктовые воды. Тогда не было нужды применять синтетику, соки натуральные, нагазированы сильно, запечатаны пробкой, пробка прикручена проволокой. Эта проволочка для мальчиков большая ценность: мы собирали ее для разных поделок. Любили пить мед. Иногда давали нам черное пиво (портер) с сахаром.

Подсолнухи были у нас в большом ходу, как и во всем тогда крещеном мире. Как себя помню, помню ящик от двух фунтов чаю. Он всегда с подсолнухами. Мы увлекались ими иногда. Особенно на святки, на масленицу, при зимних поездках в Журавинке, и всегда при приездах павелецких. Те страстные любители и поглощали их в любое время и в любом количестве.

Совсем не помню, к масленице или уже Великим постом папа покупал большие жестяные коробки халвы и помады. Это то же, что и мессинская помадка, но только большим куском. <...>

Последние дни масленицы люди катались на санях и санках по городу. Сбруя разукрашена цветными лентами. Колокольчики, бубенцы... Максимум веселья в Прощеное воскресенье — последний день масленицы.

* * *

А в понедельник — первый день Великого поста — с утра заунывно гудит колокол, призывая к покаянию. И вот в моей памяти масленица ассоциируется с роскошной, снежной зимой. А великопостный звон — с оттепелью, серой, ненастной погодой. Пост строгий в первую и последнюю седьмую, Страстную, неделю. С шестилетнего возраста на первой неделе или на Страстной говели: с понедельника постились и были в церкви на всех службах; в пятницу после вечер исповедь — мы ходили к Успенью, вся наша семья исповедовалась у о. Ивана Гортинского, он наш духовник. После исповеди до причастия совсем ничего не ели. Причащались в субботу за обедней. Поздравляли друг друга: «С принятием Святых Таин!». В дни первой недели в церкви читается канон Андрея Критского. Это одно из величайших произведений мировой поэзии.

Еще за три недели до поста за всенощной после Евангелия начинают петь великопостное «Покаяния отверзи ми двери...». Из хора выходят пред царские двери мальчики и поют трио. Впечатление большое. Пел в свое время Антоша Чехов. Впрочем, иногда поет и хор. В Москве на это время выключают ток и великопостное пение во мраке.

С первого дня поста духовенство в черных ризах. Преобладают грустные напевы. Всякий раз как удар по струнам сердца переживается часто повторяемая священником молитва Ефрема Сирина. <...>

* * *

В предпасхальной суете тетю очень заботило приготовление «паски»: все боялась, как бы не получилась слишком жидкой — осядет, когда вынут из формы... Подготовка к празднику иногда совпадала с важным событием:

Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса!
Майков, 1854 г.

Все точно так на старой квартире. А в новом доме на улице тихо, и благовест дальний.

Я писал о Пасхальной службе. После ранней обедни, часа в четыре утра садились за торжественный праздничный стол разговляться: пасха, кулич, красные яйца, телятина... чай. И спать. Хуже, если папа служит позднюю обедню. Тогда разговлялись после его прихода, часов в семь, восемь утра.

Трезвон весь день с обедни до вечерни. И так всю неделю. Разрешалось подниматься на колокольни всем. Звонили любители. Сережа и я были на Пятницкой колокольне, не уверен, кажется, и на Успенской. Сережа бывал и на Соборной. Мне это тяжело доставалось, не хватало сил, быстро уставал, поднимаясь по лестницам, да еще очень неудобным.

Пасхальная игра — катать яйца. Конечно, крутые и крашеные. По желобку спускали... и вот уже не помню правил игры. Мы катали одни, но желобка у нас не было. Пасха часто в первые дни весны, и игра на дворе.

Чрез семь недель после Пасхи в воскресенье — Троица, зеленый праздник. Церковь украшают березками, пол застилают травой. Многие и дома ставили березовые ветки. На следующий — Духов день крестный ход от Собора в Троицкий монастырь с участием всего свободного духовенства. В монастыре престольный праздник. Около монастыря — многолюдная ярмонка. Раз принес нам папа с ярмонки по деревянной дудке, с переборами. В другой — шоколаду в плитках, с орехами, не завернутый. Вкусно очень!

Никогда я не был на этих крестных ходах и на военных парадах у Собора в царские дни.

Покров. На Покров мы в Журавинке, и дома предпраздничной подготовки и суеты не было.

* * *

Дедушка и бабушка журавинские приезжали к нам редко, дедушка особенно. Я не помню случая, чтобы кто-либо из них гостил у нас сколько-нибудь длительно. Бабушка всегда спешила назад — у нее хозяйство, скотина, птица: нельзя оставить без присмотра. <...>

Помню бабушку, приезжавшую зимой. На ней много одежек. Она и дома всегда ходила покрытая ситцевым платком. В поездке сверх того большой шерстяной платок. А лоб завязан особым платком, сложенным так, как подвязывали щеку при флюсах.

<...> Тетя с нами ходила к учительницам, жившим в школе, были у брата и сестры Русановых, молодых учителей. Раз была с нами у купчихи Татьяны Власовой (умерла в 1907 или 1908 г.) по ее настойчивому приглашению. Она — очень хорошая, душевная женщина. Подошли к парадному их большого двухэтажного дома. Теперь там почта. Заперто, кнопка электрического звонка. Как позвонить? Никто не знает. По нашему представлению, надо дернуть, но не уцепишься. Предоставили в конечном счете мне как тогда главному мудрецу. И крутил, и тащил, только нажать не догадался... Прошли чрез калитку. Чай с сухарями, хорошим, дорогим печеньем, какого мы никогда не видали.

Сережа и я потеряли чувство равновесия, никак не удержимся: съедим и опять жмемся к тете, просим. Съели всю вазу, досталось нам после от тети. По ее представлениям, надо церемониться, ждать, когда угостят.

<...> У нас никогда не было «приемов», не было званых гостей на дни рождения, именины, праздники. И совсем не помню, как справлялись наши детские именины и дни рождения. <...>

* * *

Водила нас тетя в зверинец — их устраивали не каждый год среди арбузных балаганов. Помню чучело казуара, я его сразу узнал, так знаком по картинке у Пуцыковича. Водила в цирк, тоже наезжий. Помню балаган где-то у станции и представление — велосипеды по стенке. Водила смотреть фокусника. Очень занятно. Между прочим, из пустого бочонка без конца доставал и вещи, и, кажется, кроликов, и в заключение — нарядную деву.

Какой-то последний фокус закончен музыкой под полом сцены. Тем выдал себя: я сразу сообразил — все доставалось из-под пола...

* * *

В городе было несколько прудов. В свое время они были устроены и поддерживались как противопожарная мера. Я знал не все. Три на одном ручейке: на дворе женской гимназии, два разделенных проездом ниже — на Никольской площади. Один из них виден на старинном снимке Николы. Более знакомый нам пруд Калика на Троицкой улице, близко от нашей квартиры, очень близко от терешнего дома Палишиных. Кругом Калики перила, со стороны улицы пожарная водокачка, окрашена красным. Это громадный деревянный чан в железных обручах, диаметр несколько метров. Поставлен на столбах, под крышей. Подвозили пожарную бочку под кран и быстро наливали. В чан воду из пруда, вероятно, качали насосом. Он всегда с водой. Примерно около 1910 г. Липец, тогда городской санитарный врач, добился, чтобы все пруды спустили — борьба с малярией. Трудно мне судить о целесообразности меры Липеца: украшавших город прудов не стало, но остались заболоченные места, безобразившие город. После второй войны Калику, вероятно, пытались восстановить: я не видел воды, но видел гипсовую фигуру среди пустого пруда. Теперь пруд засыпан, и ничего там нет.

На Калике каждую зиму каток. Подальше от улицы сколачивали раздевалки. Иногда устраивали праздники. Когда? На святки? Тетя ходила с нами на эти праздники. Стояли около перил. Гремела полковая музыка. Пруд блестел, сверкал огнями. И под звуки музыки волны катающихся. Все они казались такими нарядными, совсем особенными людьми. Отличались ловкостью некоторые приказчики Черкасова... Кто там еще? Помню одно: было народу много и на льду и на берегу у перил; было шумно и весело; было светло, интересно и радостно даже стоять и только смотреть.

А летом иногда тетя водила нас на станцию. К приходу пассажирских поездов на асфальте перрона собиралась публика, не только встречать, но больше погулять. Яркое освещение, зелень и клумбы, асфальт — в городе он только около полиции, совсем немножко. Курьерский поезд стоит одну минуту. Его отправление с предыдущей станции возвещает звон в колокол. Когда вступает на территорию станции — один удар колокола: первый звонок. Подлетает к перрону в клубах дыма, пара, с блеском огня, шумом и грохотом, совсем как сказочный дракон. Подлетает на большой скорости и быстро затормаживает. Очень эффектно. Так с шиком любил и умел подъезжать машинист Костин, папин прихожанин, я знал его — видел у Пятницы, всегда спокойно стоит, высокий, стройный... Только затормозил — два удара колокола: второй звонок, чрез минуту третий, тотчас же свисток и отправление. Самый темп развертывающегося действия, его быстрота и громадность бурлящей машины оставляли большое впечатление.

Одна минута стоянки полагалась только скорым и курьерским (максимум скорости). Простые пассажирские стояли пять, десять минут и больше, если ждали встречный. Первый звонок чрез несколько минут после остановки, второй — предупреждение пассажирам занять места, по третьему — немедленно свисток, и поезд трогался.

Интересно было, когда одновременно стояли два встречных поезда — больше людей, больше оживления, да и самый подход их к вокзалу: вдали три глаза, медленно растущие, шум, столь же медленно для напряженно наблюдающего усиливающийся до грохота. Все повторяется с другой стороны... Ходили с тетей по перрону взад и вперед, ждали поезда, наблюдали подход, суету стоянки, отправление и получали праздничное удовольствие. Возвращались вдоль полотна чрез старую станцию, чрез сад при ней.

Эдак в 1908–1910 гг. Липец организовал «Детский сад имени А.П. Чехова». Это не то, что теперь называют «детский сад». Работал он только летом, возможно, лишь в каникулярное время, дети приходили без особых разрешений начальства, хлопот и путевок — все желающие. Был приведен в порядок Никольский сад, прочищены дорожки, сделаны площадки для игр, открытая сцена. Молодежь — студенты, с ними Чиликин, Алексей Иваныч Егоров, тогда реалист старшего класса или уже студент, — организовывала игры детей, работая бесплатно. Иногда устраивали праздники. Много народу. Раз или два были мы на празднике. Конечно, с тетей.

И еще одно ежегодно повторявшееся событие, не праздник, но радостно возбуждавшее. С давних пор папа запас чаю на весь год выписывал у Дубинина из Москвы. Эта небольшая фирма должна была выдерживать конкуренцию крупных чаеторговцев и по заказу высылала небольшие партии чаю. Разные сорта, очень хорошего качества, цена значительно ниже магазинной. В компанию с папой входили И.М. Федотьев, Титов, дьякон Ильинский, М.Г. Фадеев... Получали два-три ящика. Сперва это хорошие ящики из орехового дерева, позже — фанерные с выдвижной крышкой. Они служили нам для разных хозяйственных целей. Маленький ореховый с Катиным бельем всегда под ее кроватью. Ящики приносили в зал. Папа распечатывал и по списку раскладывал чай на кучки. Мы — самые активные помощники в этом деле. С торжеством вынимали премию — отрывной календарь. Да и каждый цибик чаю не без торжества. Помню, уже в новом доме Сережа и я на салазках отвозили чай И.М. Федотьеву. Заказ в декабре 1913 г. папа вместе со мной занес Дубинину сам — маленький магазин на Покровке, последний или предпоследний нечетный дом.

Выписывал немного кофе и особенно памятное мне камерун-какао. Дешевое, очень ароматичное и вкусное. Все кондитерские фирмы продавали «какао голландский», по крайней мере в скопинских магазинах мало ароматичный и не такой вкусный. Какао по утрам пил я до 1916 г. Считалось, что я люблю. У меня просто вошло в привычку, от которой я не без удовольствия освободился, уехав в Рязань. Старшие, вероятно, камерун-какао принимали за средство борьбы с малокровием. Почему дешево? Камерун — имя германской колонии в тропической Африке. Какао, очевидно, немецкого происхождения. А на мировом рынке тогда господствовала голландская монополия на какао-бобы.

15 декабря 1969 г.

ИВАНОВ ДЕНЬ В СКОПИНЕ

29 августа старого стиля, 11 сентября нового, память усекновения главы Ивана Предтечи — Иванов день. У нас дома — папины именины. У Пятницы — престольный праздник.

В городе — ярмонка, осенняя, многолюдная, после сбора урожая. Уже накануне начинался съезд. В день праздника вся средина города сплошь забита подводами и народом — продающим, куплющим, праздным. Да так три дня.

Выходишь из нашей старой квартиры и — телеги вдоль тротуаров, у ворот Сычикова суета, его три двора заполнены. Идешь по тротуару до большого угла — и впереди до Щемиловки, и направо по Садовой до Духовного училища, и налево сплошь телеги, лошади. Поставлены мордами к тротуару, но больше распряжены и привязаны к телегам.

Пройдем среди толкотни в сторону Собора до перекрестка. Здесь начинается базарная площадь. Направо между трактиром Кудинова и городским садом подводы до Щемиловки. Прямо с левой руки возы с картошкой, овощами вплоть до Собора, с правой — вдоль ограды городского сада балаганы — открытые с одной сто-

роны сараи. Их грубо сколачивали на лето из нестроганых досок продавать овощи, фрукты, но больше всего арбузы. Скопин выделялся среди других рязанских городов обилием арбузов, конечно, привозных, больше царицынские. И балаганы завалены до отказа, и пред ними на соломе громадные пирамиды из арбузов. За Собором против балаганов ряды лотков: сидят торговки фруктами, овощами. И опять возы — с огурцами, с яблоками. Около лавки Никитина почти до Николы с обеих сторон ящики, телеги. И все яблоки и яблоки. И так плотно, так нагромождено, что с дороги на тротуар можно пробиться лишь кое-где, да и то с большим трудом.

Повернем от перекрестка пред городским садом налево, в сторону Пятницы. Трудно дойти до церкви среди толпы и подвод: стоят по бокам, едут и вперед и навстречу, пробираясь среди народа. Пятница окружена телегами. Ее низкая ограда — редкие столбики и две перекладины — как будто нарочно сделаны для привязи лошадей. К югу от Пятницы, слева бойко торгуют рыбные лавки, справа — ларьки и палатки, а на дороге вплоть до начала Большой улицы — толкучий рынок. На толкучке — молоко, масло, яйца, куры, и прочая, и прочая.

Если пойти из нашей старой квартиры направо, к маленькому углу, за домом Кудинова Успенская площадь. Здесь на фоне обычного базарного шума мычат, хрюкают, визжат — продают скотину. К телегам привязаны коровы, телки, на телегах поросята, свиньи, овцы, не помню — здесь ли большие кошелки с гусями, вытягивают шеи наружу, гогочут. Все это не умещается на небольшой площади, скот чуть ли не до Реального училища. Лошадей здесь не продавали. Не знаю, где лошадиный базар. Пишу только, что сам видел. Шла большая ссыпка хлеба нового урожая, где-то на дворах купцов, за глазами.

На Никольской площади сено и обилие гончарных изделий. Так тогда называли в Скопине керамику. А делали ее горшечники. Выложены на земле блюда, кувшины, махотки, горшки... гончарки, свистушки разной формы — товар, ходкий на ярмонке, радость мальчишек. Гончарки — керамические трубы диаметра примерно 15 см и с полметра длиной каждая. В деревнях трубы у печей делали из гончарок, наставляя их друг на друга. В Скопине гончарное дело процветало. «Скопинские свистушники» — называли скопинцев любители давать прозвища. Когда-то купили и нам по

свистушке — маленький кувшинчик с водой, сбоку трубка. Дуешь и раздается трель, если не соловьиная, то во всяком случае не уступит свистку полицейского. Для мальчиков это целое событие.

А у Вознесенья — топливо: дрова, торф, солома...

Всюду изобилие. Многолюдство. Шум, гам, крики. Суета и гомон. На телегах завтракают: селедки, колбаса, ситный, баранки, арбузы, арбузы... Безобразий, скандалов, драк, да и пьяных — незаметно. Порядок поддерживался как-то сам собой, без видимых насилий. Нигде не видно бродячих полицейских. Они стояли лишь на своих обычных постах. Каждый покупал и продавал, не спрашивая ни у кого разрешения, не уплачивая никаких сборов — за место и проч. Власти требовали лишь, чтобы весы и гири были клейменые, значит — проверенные, меры для картошки, огурцов — стандартные.

Жизнь кипела. Общее настроение приподнятое, веселое. Для крестьян поездки в город — купить, продать, потереться в таком многолюдстве, для иных зайти в трактир, — праздник. На старой квартире мы в черте этой бурлящей жизни. На Первой Новой — в стороне, и на улице почти по-будничному спокойно. Лишь кое-где телеги с отпряженной лошадью.

А дома у нас Иванов день — праздник своеобразный. Вечером накануне мы, ребята, стояли торжественную всенощную, утром — позднюю обедню, церковь переполнена народом, трудно пробиться — войти и выйти. Были поменьше, из-за давки в церковь не ходили. Нашего именинника два-три дня нет дома с раннего утра до позднего вечера. Он занят. Весь день служатся молебны, заказывают приехавшие на ярмонку. Вечером опять всенощная — 30-го память Александра Невского. Да еще по случаю престольного праздника надо ходить по приходу. Именины без именинника никогда не справлялись. Не приходили по этому случаю гости. Не готовили особых праздничных блюд. Да и день постный — память о смерти Ивана Крестителя. Дома именинник появлялся поздно и сильно утомленный... А Сережа очень любил попраздновать. Хотя бы арбуз! Но бабушка возражала: в этот день нельзя — напоминает голову.

Иванов день запомнился мне как день чудесной погоды ранней осени. Такой, какая стояла в этом году почти восемь дней, с 10 по 17 сентября. Такой, какая описана Толстым в «Войне и мире» —

том 11, стр. 323[1]; тоже восемь дней — с 26 августа по 2 сентября 1812 г. (ст. ст.). Такой, как у Тютчева:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Когда весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Впечатлений мокрой ярмонки не осталось в памяти; в ненастье сидели дома.

Покровка. 11-е сентября 1969 г. — Иванов день.
Я и Катя в саду. Посадили сегодня куст черной смородины,
пересадили шесть кустов малины, Катя удобрила и окопала
одну яблоню. День чудесный, редкий в эту весну и лето.
Пчела облетывалась... А Аня и Сева в Крыму,
в Коктебеле-Планерское. Должны вернуться 20-го.
Я сижу за столом и пишу эти строки.
10 часов вечера. Кончаю. Ставлю точку.

---

1 Д.И. отсылает к Юбилейному ПСС.

Глава пятнадцатая

Ученье



Отец и дочь

Первое обучение — молитвы. Уже с самых малых лет мы лепетали: «Слава Богу!», — «Господи помилуй!». Совсем нет возможности припомнить последовательность научения молитвам. Наращивались постепенно, по мере возраста. Зато помню, как трудно мне было отличить правую руку от левой, чтобы креститься. Правило: какой удобнее. Пробовал не раз, а каждый раз, получалось одинаково удобно. Но вот сломал палец на левой руке, и оказалась примета: когда надо различить руки, автоматически пальцами левой же нащупываю горб на безымянном.

* * *

В углах оконных проемов кирпичных домов против нас (Черкасова, Никитина) ласточки лепили гнезда. Быстро пролетали, часто садясь на телеграфные провода, садились будто нанизанные на проволоку и были первым впечатлением молодой весны. Быть может, поэтому первое, вероятно, наше стихотворение:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит...

Знали сперва одну строфу, потом две и три. Очень рано знали и очень любили «Сенокос» Майкова, 1856 г.:

Пахнет сеном над лугами...

Совсем не помню, кто нас учил стихам и как. Быть может, все усваивалось мимоходом. Но вот «Пахнет сеном...» мы твердили с папой. Знаю: все делалось только по охоте, никакого принуждения здесь не было, никто не обучал с целью поразить знакомых выучкой детей. Очень нравились и хорошо знали две строфы «Песни пахаря» Кольцова, 1831 г.:

Ну, тащися, сивка,
Пашней десятиной!
Выбелим железо
О сырую землю.

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.

Эти стишки почему-то в памяти ассоциируются с Кормильцевыми, быть может, лишь потому, что в тетради их рисунков был пахарь с сохой и лошадью. Но, вероятно, оно все же от папы. Знали несколько строф:

Ах, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети!
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете!

Уж не распевали ли мы ее в свое время? И еще одна, Ушинского, до букваря:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля!
Тебе поем мы песню,
Вечерняя заря!
Темнеет уж в долине
И ночи близок час.
На маковке березы
Последний луч угас.

Как ранняя припоминается «Ночь в деревне» Никитина, 1859 г. Знали наизусть сперва две строфы. А потом все пять, помещенные в букваре. Все эти стихи объединяет одно — их музыкальность. С каким восторгом позже Сережа и я твердили и распевали:

По синим волнам океана...

Я уже писал о впечатлении от

В реке бежит гремучий вал...

А у Чуковского не песня, не музыка, у него речитатив, барабан. И все же самые ранние — народные:

Сорока белобока
Кашку варила...
Кшиии!!!

Это — стишок-игра: малыш подставляет ладонь, взрослый водит по ней пальцем и говорит, кончает, взмахивая рукой, как будто прогоняет птицу: кши! Малыш тоже лепечет, если умеет, но машет

руками обязательно. Забыл я средину, впрочем, все это общеизвестно, хотя могут быть варианты. Еще:

Петя, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что так рано встаешь?
Что так громко поешь?
Ване спать не даешь?

* * *

10 мая 1906 г. Сереже исполнилось 6 лет. Осенью папа вручил всем нам по букварю, по тетради в три линейки с косыми и по карандашу. Усадил вечером в столовой. Папа, Сережа, рядом с ним я, а сбоку Катя. Самое первое — писать палочки: учитель показал, написав у каждого в тетради по одной палочке. Сережа и я старались. А Катя моментально исчеркала всю страницу: только заканчивался третий год ее житья на белом свете. Больше она с нами не занималась. Лишь присутствовала. Мальчики уже знали некоторые буквы. Как писать букву «К», показала когда-то мне тетя Лиза — дело было у тетина окна, помню: я все пытался написать на белой притолоке...

Папа, видимо, хотел учить всерьез Сережу; меня и Катю присоединил, чтобы не капризничали. Так мы и садились: учитель около Сережи и ему все показывал, да и объяснял. А я сидел рядом... Любили свои буквари, берегли. В 1931 г. Сережин и Катин я привез в Москву, а свой оставил вместе с книгами, которые Ваня Кормильцев должен был переслать в Москву. Букварь он выбросил...

Почему не взял с собой? Я никогда не обладал достаточным запасом физических сил, быстро уставал, выдыхался. А в это время мы здорово, мягко выражаясь, недоедали. И работа. Значит, тем более. Не только нести. Самое главное, слишком трудно было сесть в поезд. Посадка с боем, требовалось напряжение всех сил, чтобы втиснуться в вагон, чтобы тебя не оттеснили и не остаться в Кремлеве до другого поезда и не повторять все снова, да и в Скопине тоже. Тогда поезда останавливались с криком проводников: местов нет! Толпа их сминала, и люди набивались в вагон. Вещи очень мне

мешали при такой посадке. Приходилось отбирать каждой золотник... Вот заглавный лист:

> БУКВАРЬ для СОВМЕСТНАГО ОБУЧЕНИЯ письму, русскому и церковнославянскому чтению народных школ. Составили Д.И. Тихомиров и Е.Н. Тихомирова. С картинками в тексте. Издание 148-е, исправленное... Главный склад: Москва, Б. Молчановка, дом Д.И. Тихомирова. М., 1904 г. Цена 20 коп.

А сзади на обложке объявление о подписке на 1904 г. на журналы «Детское чтение» и «Педагогический листок», издательница Е.Н. Тихомирова, редактор Д.И. Тихомиров.

Так радостно было прочитать уже в 50-е годы в «Записках писателя» Телешова об авторах букваря Дмитрии Иваныче и Екатерине Николаевне Тихомировых. Букварь Телешов называет знаменитым.

Перелистываю Сережин букварь: МА-МА... УСЪ... РА-МА... У-ШИ... СОТЪ... Так вот и тогда перелистывали вперед и смотрели, когда дойдем до рассказов. Так помнится страничка курсива — граница, за ней рассказы. Невзирая на трудное дело прочитать, короткие простые басни увлекали, их содержание переживалось. И бесхвостую лису было по-настоящему жаль. И простой цветочек дикий, нечаянно попавший в один пучок с гвоздикой, воспринимался как совсем живой, как человечек. А картинки к ним уже заранее были хорошо знакомы.

«Мать» Плещеева мы учили наизусть. Очень нравились «Работники»:

Мы-то, детки, день деньской
Кирпичи таскали,
И под нашею рукой
Стены вырастали...

Рассказы из священной истории читали уже довольно бойко, за занятиями я следил по книге, а Сережа читал вслух о мучениях и распятии Христа, и вдруг чтец расплакался. Папа встревожился, что такое: «Жалко Христа!» — сквозь слезы объяснял Сережа. Я, видимо, не воспринимал так живо. Странички чистые: только читали. А учили по книжке Закона Божия. И странички «Церковнославянской грамоты» чистые. Тоже знакомились разве лишь с буквами, учебник был другой. Начальный счет по букварю. Но, видимо, задач не решали — перешли на учебник по арифметике.

Очень любили мы свои буквари, берегли и старались всячески украсить. Берегли — не мяли, не пачкали, не черкали. Старались, но не всегда успешно. Кое-где все же поначеркано. У Сережи на стр. 40 гуси, на стр. 44 два гуся и городовой; увлекался Сережа, забывая все; когда пыл сошел, пытался стереть.

Украшали. В нашем распоряжении был один ценный с нашей точки зрения способ — сводные картинки. Папа показывал, как сводить. Все три букваря залеплены ими. Но и картинки эти воспринимались живо, и почти все подписаны. <...>

За букварем — учебники начальной школы. Но не было резкой границы: еще читали по букварю, а уже пошли в ход другие.

У каждого был свой славянский учебник, в сером коленкоровом переплете. В начале азбука, основная часть — тексты из Библии. Однажды мы читали вслух. Фараон приказал убивать еврейских младенцев-мальчиков. Одна еврейка положила своего в тростник, близ места, где купалась «дщерь Фараоня». Увидела дочь Фараона младенца, очень понравился, взяла на воспитание. Это был Моисей. Катя слушала, слушала и заявила: «Это я — дщерь Фараоня!». Так за ней папа и сохранил это прозвище, забыл птицу-синицу.

По арифметике — тонкие книжки Цветкова. Думаю, не ошибаюсь в фамилии. По Закону Божию — учебник Агафодора. По нему папа тогда преподавал в церковно-приходской школе. Он сохранил новый экземпляр последнего издания:

Наставление в Законе Божием. Учебное руководство для одноклассных церковно-приходских школ... Агафодора, архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского. Издание 21-е... Петроград, 1917. Цена 47 коп.

Припоминаю я только молитвы и рассказы из Ветхого и Нового Завета. Возможно, в прежних изданиях последние главы были короче или их совсем не было.

По русскому языку два выпуска «Курса правописания» Н.Я. Некрасова — первый тоненький в розовом переплете, и второй зеленоватый малость потолще.

С тех же пор у нас еще одна книжка, тогда зеленоватая, а теперь — она предо мной — облинявшая:

Некрасов Н.Я. Руководство к практическому курсу правописания, составленному тем же автором. Пособие для учащихся в начальных училищах. Издание 10-е, цена 60 коп. С.-Петербург, 1907.

Из нее папа диктовал нам. В старших классах школы и мне и Кате доводилось заниматься с отстающими. <...> Диктанты писали по этой книжке. Скучая за уроками, я уснастил ее стихами.

Большой недостаток наших занятий: после Букваря у нас не было хрестоматии. А она совсем необходима: правила правописания не могут увлечь, а хорошие стихи, живые рассказы, картинки к ним интересны детям. В «Родине» многое так знакомо, особенно картинки — лебедь, рак и щука, волк и журавль. Вероятно, еще от добукварного времени? да, да, конечно!

Свои исписанные тетради Сережа заботливо собирал. Так все они и остались в амбаре своего дома, начиная с первой.

Занимались мы с папой зимой. Но в каком месяце начинали и в каком кончали, сколько времени пошло на букварь, — не помню, начало — осень 1906 г. И конец могу указать. В Скопине предприимчивая дворянка, из разорившихся, Мячина, открыла частную начальную школу. Осенью 1909 г. (едва ли раньше) она пригласила папу преподавать Закон Божий. Платила 15 руб. в месяц. Это —хороший заработок. Очень убеждала папу отдать к ней своих мальчиков. Уговорила. Сперва пошел Сережа один. Вероятно, папа рассчитывал — подготовится к экзамену в Духовное училище. А после рождественских каникул, значит, в январе 1910 г., отвел и меня. Как только Сережа начал заниматься, Мячина перестала платить, хотя из ее слов папа заключил: ребята будут учиться сверх платы. Сережа, более живой и общительный мальчик, бегал в школу с большим удовольствием. <...>

Школа помещалась где-то близ Реального. Большая, очень — казалось мне — большая комната. Впереди младшая группа, где я. За классной доской сзади — старшая, там Сережа. Мне с первого дня не понравилось. Дичившийся, болезненно застенчивый мальчик никогда не был в толпе ребят. Да и ученики — все дети из богатых семей. Как-то не получалось ничего общего. Не могу сказать почему, но и несколько месяцев занятий ничего мне не дали. Вот теперь, при переписке, догадываюсь: я все время занимался наравне с Сережей, значит, следовало быть в старшей группе. <...>

* * *

Пение и музыка совсем необходимые элементы обучения. Я писал: папа мечтал купить фисгармонию как инструмент, пригодный для церковной музыки и, значит, с его точки зрения, не зазорный для



И.Е. Прудков

него. Но мечты остались мечтами. Висела в комнате у папы года два школьная скрипка. Никто не играл, лишь иногда П.А. Преображенский. У Григория Иваныча была гитара, он играл. Купил папа граммофон. Но это все же не то: слишком велика разница активно играть и пассивно слушать. Теперь слушают свыше всякой меры, а молодежь совсем не поет, и музыкальные инструменты редкость.

Уж не помню, когда Сереже загорелось купить балалайку на деньги из своей копилки. Учились играть оба. Наш учитель — Иван Ефимыч Прудков. Он познакомил нас с гитарным и балалаечным строем. Играли больше на гитарном. Репертуар небольшой:

Ах вы сени, мои сени...

Еще мотив частушки:

Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса!

Как у дядюшки Луки
Мы стащили нуль муки!
У Петра — осетра,
У Арины — две перины.

Почему-то полагалось все тащить. Позже:

Ах, зачем эта ночь, Коробушка...

Были у нас цифровые ноты. Но это уже когда учились в школе. Играли оба, Сережа и я, не ссорились. Но балалаечников, свободно игравших, из нас не получилось.

Название нот — до, ре, ми, да, соль, ми — знали с очень ранних лет. И лишь позже остальные. Папа учил иной раз петь эти ноты. Мальчикам поорать было приятно. И Сережа, и я очень любили петь. Но, вероятно, все же достаточно хорошим слухом мы не обладали. Конечно, задатки развиваются. А дома у нас никто не пел. Когда Сережа или я запевали, папа тотчас же нас прерывал и всегда одним и тем же: «Полутонишь! Полутонишь!» — и тут же изображал, как надо петь, старательно вытягивая каждую ноту. Очарование свободно льющегося голоса исчезало. <...>

* * *

Очень важны трудовые навыки, ремесло. Мы помогали чистить снег на дворе, грязь весной, колоть дрова — я мало, а Сережа очень любил и колол помногу. «Работали» в саду, но не по заданию, только по своей охоте и то, что затеем сами. Летом я пытался столярничать, строгать шаршепкой, той самой, которая считалась моей и которой я работаю в саду и теперь. Систематического обучения и здесь не было. Но вот выпиливать из фанеры разные вещички папа нас поощрял. <...> С давних пор мы знали, что сам он в Журавинке выпиливал. Впрочем, ничего сделанного им мы не видели. Но сохранился его станок, лобзик, дрель с черной ручкой и плоскогубцы — тогда мы звали их щипцами. Знал я назначение валявшегося без пилки в чулане лобзика, примерялся и никак не мог себе представить, как он действует: как ни возьмись — пилить неудобно. Были у нас и листы рисунков для выпиливания — приложения к «Родине» и «Ниве».

Не помню, когда охота выпиливать загорелась у Сережи. Григорий Иваныч подарил ему свой лобзик, более совершенный. А папин стал моим. Старательно срисовывали фигуры с листов на фанеру чрез переводную бумагу — в Скопине была тогда только синяя. Помню, как Леня Кормильцев нам показывал и помогал пилить. Он учил: попилив немного, надо отдохнуть, а то пилка перегорит. Приехал Митя, тоже стал помогать. Мы закричали на него; «Стой! стой! подожди! пилка перегорит!». Засмеялся он: «Да ну! железо и перегорит! Просто у него силенок мало». <...> Так теория перегорания пилок отпала. <...> У меня действительно сил не хватало, быстро уставал. Начнешь вилять лобзиком, и пилка рвется. Прямые линии не получались. Так ничего путного и не сделал. Сережа выпилил и сам склеил пенал. Вероятно, подарил папе, ибо тот сохранил его и привез в Москву. Выпилил коробку в виде куба размером 10–12 см, лежала у него в тумбе стола. Выпилил птичью клетку нормальных размеров. Григорий Иваныч отдавал ее склеить столяру. Тот покрасил морилкой, кругом снизу и углы сверху обложил черной полоской багета, клетка получилась красивая. Висела в своем доме в зале до конца, конечно, без птицы. <...>

Теперь от всего этого остались пенал — первая и наименее удачно сделанная вещь, да папина дрель. Вот она предо мной: вынул из ящика стола, живет в семье уже лет 75! Прежде у нее был поводок. Стерся. Я поставил от сломавшейся дрели. Не знаю, каждый ли год, в Скопине приезжие открывали на время магазин «американский базар». Самые разнообразные товары. Но цена на все одна — 25 коп. И товары — дрянь! Папа купил для нас дрель с желтой ручкой — сломалась! Плоскогубцы, они сейчас в саду у меня на столе, — железные. Правда, прослужили они нам весь Скопин вместе с пчельником. Да и всю Москву. Новые я купил после войны.

* * *

Настольные игры. Шашки, костяные, еще журавинские. Сперва хранились у папы, и мы лишь иногда «играли», расставляя интересные фигуры. Не помню, когда перешли в наше распоряжение и мы стали играть по-настоящему. Папа привез их в Москву.

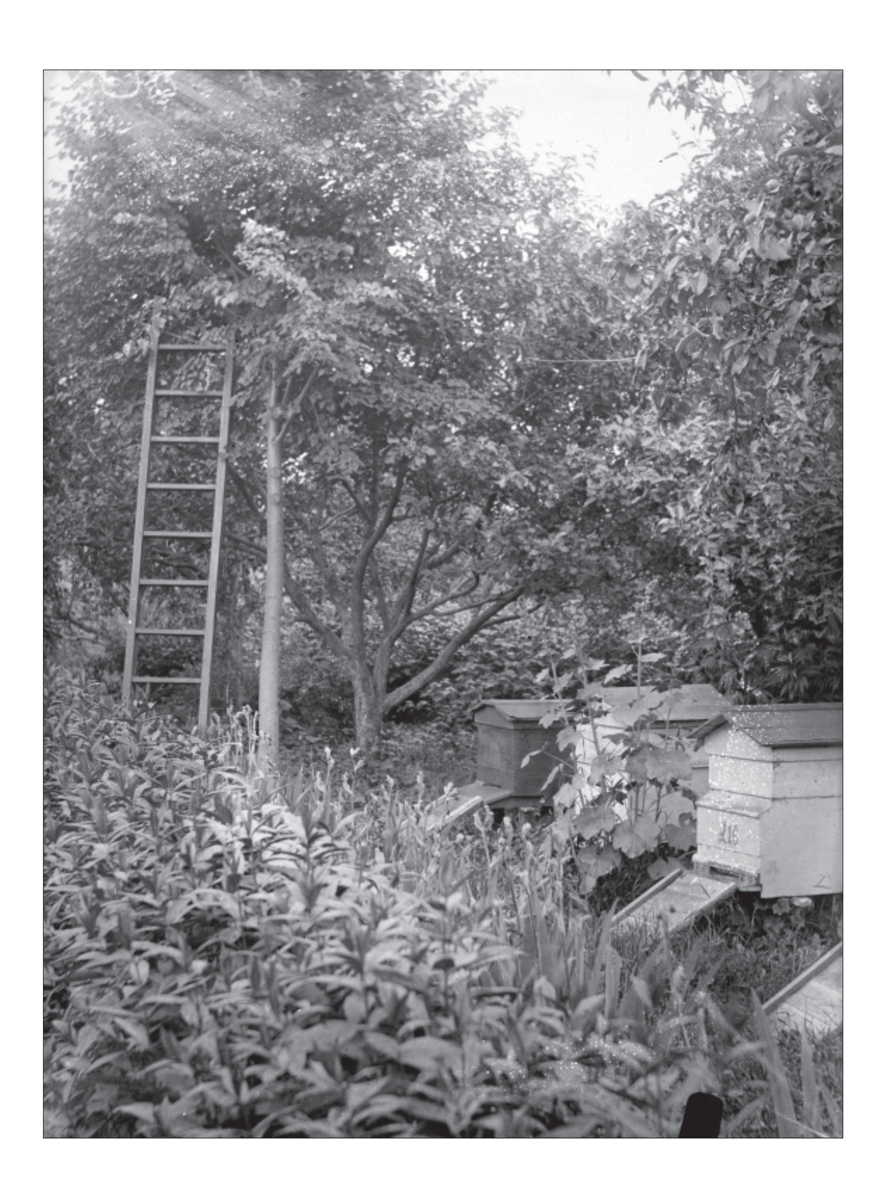
Лото, винт — купил папа для нас в разное время. Винт очень увлекал нас, играли долго, много лет. На деревянной тарелке 20 ямок с нумерами, красные, синие, зеленые. В стойке винтовой прорез. В стойку бросается стеклянный парик. Покрутившись на винту, он вылетает на тарелку и в конечном счете попадает в ямку. Выиграл тот, у кого номер ямки выше. <...>

Карты, народные игры: пьяницы, зеваки, дураки, в три листка и в пять, питерские жулики (подкидные), мельники, короли, акулины (червонная дама так величалась), кошки (пиковая дама), веришь совести... Когда Аня была маленькой, я пытался вспомнить, но дальше перечня, вероятно, неполного, не пошел. Забыто! Пьяницы, зеваки, три листка — первые детские игры. Подросли, играли больше в подкидные. Развлечение это зимнее, обычное на масленицу, но особенно на святках.

21 декабря 1969 г.

Глава шестнадцатая

Сад



Весной 1906 г. куплена усадьба на Первой Новой улице — северная окраина города, ограниченная высокой насыпью чугунки. <...> Заключена сделка о продаже за 1200 рублей «усадебного места с постройками и плодовым садом» в 17-м квартале под № 21, по Солдатской улице. Размер усадьбы: длина (вглубь) 26 2/3, ширина (по улице) 171 1/3 сажени. <...>

Наша улица прежде называлась Солдатской, номер квартала был 17, соседняя земля с востока Хрупова. На моей памяти улица всегда Первая Новая, квартал 26, дом 21. Жестянки с номерами квартала и дома во всем городе набили перед войной. Когда изменили название улицы и по-новому пронумеровали кварталы, я не знаю. Наш сосед с востока всегда сапожник Николай Михалыч Каменский.

<...> Первая от улицы — угловая усадьба соборного протоиерея Стахия Полянского. Забор — сплошные горизонтальные доски, серые от времени — принадлежал нам, стоял до конца. Здесь у самого забора, около средины, у Стахия была соблазнительная вещь — «тонковетка». У нашей старой хозяйки груш не было. А тут по нашу сторону забора висят чудесные. Мы потихоньку забирали все падавшие к нам. А иной раз палочкой из-под забора выкатывали и с их стороны. Груши только что с дерева, превосходные, таких не купить ни тогда, ни теперь... Дальше — зад сада «учительницы». Так мы всегда величали этих соседей, фамилии совсем не помню, хотя должен был знать: в 1919–1921 гг. два года я был секретарем квартального комитета. В первые годы нашего появления этот сад приведен в порядок, построены круглая деревянная беседка на средине сада, забор от нас и от Стахия — высокий (3 аршина = 2,1 м) штакетник. У учительницы около средины забора памятная мне липа: на нее часто садились наши рои. По той же причине памятен и клен здесь же в углу у Стахия.

Еще южнее — зад части сада Ивановых, плетень, вдоль плетня высокие ракиты. Офицер Иванов, отец Сережина товарища Толи, купил эту усадьбу позже нас. Она была совсем запущена, вроде нашей. Новый хозяин расчистил и устроил хороший сад, благо рабочие руки бесплатные — денщики. <...>

* * *

По улице с востока на запад: забор, ворота, калитка — за ними двор; дом — четыре окна глухо закрыты ставнями; забор сплош-

ной дощатый, серый от времени, сверху набиты гвозди, за ним яблони. <...>

Двор большой, поросший бурьяном. Дом крыт дранью, обшит тесом; на окнах ставни, запиравшиеся изнутри. <...> Пять небольших комнат, две из них темные, одна без печки. Я помню лишь одну печь, с лежанкой, но была и вторая. Дом старый, в стене на двор — сквозные дыры. Не знаю почему, но летом мы обосновывались в амбаре. В доме пахло мышами, гнилью, темно — ставни закрыты, пыль. Ребятишки в нем даже не играли. Правда, можно бы и навести порядок. Кухня сильно поразвалилась, совсем забыл, не могу и схематически изобразить на плане. Рядом с нею погреб, тоже сильно пострадавший от времени, без дверки на твориле. <...> Сарай 6 × 6 аршин из теса, покрыт дранью. Мы всегда называли его «амбар». От соседа двор и сад отделены полуразвалившейся низкой городьбой. Между двором и садом — хороший штакетник. В нем калитка в сад.

Большая часть сада совершенно непроходима. Сплошной густой кустарник — вишни и тёр — густо разрастающийся, колючий. Так в наших местах называют тёрн. Над кустами возвышаются в бесконечном количестве осина и клен. А под кустами и вместе с ними крапива, лопухи, купырь, опять крапива и все, что только может засорять сад. Лишь сзади вдоль южного соседа Губанова свободное место: хозяйка сажала картошку. Помню, как мы с взрослыми пробирались чрез заросли вдоль восточного забора на зад, там остатки картофельных грядок. Летом — обилие птиц, много соловьев. Тропинка от калитки вела в центр сада — черемуховую беседку. У входа в тень черемухи слева — громадный куст сирени, а не доходя до нее справа — куст таволги, спиреи бородавчатой, мы звали ее «кашка». Куст громадный. От него все наши посадки. С черемухой совсем срослась большая яблоня, сорт неизвестный, мало вкусный, впрочем, одно время нравился мне. Звали мы ее «ранет», но больше «старая яблоня». Мало на этом громадном дереве бывало яблок, снимать зрелые никогда не приходилось. В беседке стол и с трех сторон скамейки. Кругом беседки заросли вишен, крупные, красные, кислые, у нас определили их сорт — «морель». С запада между черемухой и вишнями, вероятно, была небольшая прогалина: здесь росла молоденькая яблоня — антоновка. Она и старая яблоня сохранились до конца, т.е. до 1931 г.

Конечно, нам интересна беседка — столько ароматной зелени! весной особенно, — соблазнительна созревшая черемуха, столь любимая тетей еще с журавинских лет. Но, пожалуй, еще более интересны яблоки, в несметном количестве зревшие в другой части сада.

* * *

Прямоугольник, ограниченный с севера улицей, с запада усадьбой Стахия, весь засажен яблонями. Когда папа посадил яблони сам, эти мы величали «старые». Но они в 1906 г. были молодыми. Теперь думаю: лет десяти, двенадцати, шестнадцати. Яблони посажены неумело, слишком густо, чрез 3 аршина вместо минимальных шести, затеняли друг друга. <...> Яблонь было много. <...>

Три превосходные антоновки. <...> Вдоль забора я сажал клены, чтобы отгородить яблони от хищных прохожих. А в 1924 г. мы с Катей из Измайловского Зверинца привезли сюда же маленькие пару дубков и пару сосенок.

Три чудесные боровинки, крупные, красивые и вкусные осенние яблоки, быть может, лучше, чем наши молодые мичуринские. Один анис, настоящий наш среднерусский сорт. Яблоня в 10-е годы почему-то закоржавела. Я ее омолаживал. <...> Хорошо разрослась и снова давала урожаи.

«Сережина» — каждый выбрал себе яблоню по вкусу — единственная яблоня чудесного летнего сорта «царский ранет». Крупные яблоки белого цвета сбоку залиты сплошным розовым румянцем, мякоть сахарная. Красивы и вкусны. Мы ее очень ценили: яблоко еще чуть больше ореха, но уже достаточно сладкое; все другие при таком размере очень кислы. У нас было строго запрещено рвать яблоки, есть можно только падаль. Потихоньку пытались рвать, но скоро убедились — очень кислы. Быстрее дозревают и осыпаются сперва червивые, они уже съедобны вполне, а на яблоне совсем незрелые. Червей было много: зло городских садов. Летние сорта в лежку мы не снимали. И с этих, и с молодых. Смысла не было. На одном дереве до полного вкуса яблоки созревают не в одно время. Созревшие опадают. И так естественным порядком отбираются самые вкусные. Мы были так избалованы избытком яблок, что летние на другой день после сбора не ели, шли собирать свежие... Сережина хорошо разрослась. Одно горе: очень под-

вержена гнили. Много прелых висело на яблоне, много падало с гнилыми боками... Наш интерес к ней упал в 20-е годы: гнили все больше, мы с нею не боролись, и изобилие чудесных яблок молодого сада.

Самый интересный сорт для нас, ребят, — ранний летний «терентьевка». Красивые, довольно мелкие — как грушовка — яблоки. Зеленая кожица покрыта темно-красными полосами. Было много яблонь, много срубили из за тесноты, до конца сохранилось три-четыре. <...> Сорт урожайный, яблок было много, до мичуринских — основная наша продбаза.

Терентьевка и мирончик местные рязанские сорта. Мирончик — вкусные, яблоки оригинальной формы — неправильные, продолговатые. Такие пресные именно только на любителя, в их числе оказался я: при «дележе» яблонь я выбрал себе мирончик. <...>

Одна «титовка» (громадные яблоки!) и несколько наливных — мало урожайный сорт, осенние яблоки, некоторые наливались, делались почти прозрачными и непригодными к лежке; довольно вкусные; точного названия сорта мы не знали.

Совсем плохие сорта: «зеленка» — хорошо разросшаяся яблоня типа антоновки, но кислее и с несколько иным ароматом; впрочем, осенью ели с удовольствием, особенно прямо с дерева. «Репка» — осенний сорт, яблоки по цвету и форме похожи на репку: отсюда наше название. <...> «Мягкая» — одна яблоня, летняя, мягкие зеленые яблоки, невкусные. «Пичок» — одна яблоня, ранне-зимний сорт, оригинальной формы желтые яблоки с белыми крапинками, вкуса сомнительного, хотя я сказал бы — красивые. Все эти названия наши, точных мы не знали.

* * *

Вдоль забора Стахия от улицы — заросли ежевики, далее сливы, за ними крыжовник. Сливы росли здесь до конца, корневая поросль разрасталась и заменяла засохшие. Так ни разу и не окопали, никакого ухода, только иногда вырежешь сушь. А плоды были. Отсюда брали для посадок. Крыжовник красный очень лохматый. Был еще один, два куста очень мелкого зеленого, тоже душистого; вкус сладкий мускатный — очень хорош, но слишком много терпения нужно: мелок, в избытке лохмат, в этих пушинках и грязь, и паутина, и все, что только может пристать. Был куст красной смородины, было немного запущенной малины, очень колючая, ягоды крупные, тетя ценила их для варенья. Была и клубника, задичавшая и почти без ягод.

* * *

Уже в 1906 г. начались наши походы в сад, началась расчистка бесплодных зарослей и подготовка к посадкам. Папа, если свободен, уходил пораньше. А мы с тетей несколько позже, когда она управится с хозяйством. Если неделя папина, то после чаю — с ним. У нас было два пути. По Соборной улице, так мы называли Садовую, мимо Духовного училища чрез «большой» мост. Преимущество, очень важное в сырую погоду: улица мощеная. Кроме того, пологие спуск и подъем у моста чрез лог с ручьем из Калики. Да и мост высокий. Но мы считали более близким и удобным путь по Успенской улице (Ряженая). Очень крутой и глубокий спуск к «маленькому» мосту чрез тот же ручей. Теперь этот спуск срыт и сделан положе. Здесь внизу слева одинокий домик — маленькая избушка с громадным семейством: дети всех размеров — от взрослых парней до грудных младенцев. А дальше более пологий подъем. Я очень уставал, и меня вели за руку. Но вот при подъеме уж обязательно брали на буксир. Поднялись — пред нами среди улицы овраг, уходящий влево. Обходим его. Грязно было в сырую погоду, улица не мощеная, приходилось с осторожностью пробираться. Но бывали совсем непроходимые места, особенно перекресток Дровяной улицы, близ Григория Иваныча.

Каким раем казался нам сад! Столько зелени! деревья, кусты, трава. Так густо! Всюду можно ходить, траву мять, валяться, срезать громадные лопухи — каждый лист целый зонт! из трубок купыря делать сикуши... Масса вишневого клею. Для мальчиков это сущий клад. До конца Скопина вместо конторского у нас был в неограниченном количестве только вишневый клей. Невиданное до того изобилие ягод, яблок, да еще тетя сажала огород, специально для нас бобы, сахарный горох...

К востоку от дорожки позади сарая — площадка. Если не в 1906, то уж никак не позже 1907 г. на ней устроили качели: два высоких столба, перекладина, к кольцам привязаны две веревки. Можно качаться одному, сев на веревки; можно вдвоем, даже еще с пассажи-

ром, положив на веревки доску. Все это прочно и массивно, могли стоя качаться и взрослые. Очень помнится такая картина: мы сидим на лавочке, на качелях папа и Григорий Иваныч, раскачиваются так сильно, что взлетают выше перекладины. Душа замирала смотреть на них... А впереди, в саду Марьи Григорьевны, громадным шатром раскинулся могучий клен, высокий, мощный, толстый, таких великолепных мне не доводилось видеть нигде. Южнее его липа, тоже большая и красивая, но клену уступала. Судьба клена: с согласия хозяйки его обрубил сосед, совсем обезобразил. Повод — затенял его сад. Мы жалели, а он объяснял: «Зачем он? Совсем не нужен!». Это было в начале 20-х годов.

В саду у нас было целое хозяйство. Сосед брал нам ведро воды у водовоза. Под кустом кашки прятали кухонный самоварчик, чашки... В сарае оставались папины черные часы. Пили чай... Летние вечера в саду хорошо помню. Любили, набегавшись за день, посидеть на лавочке. Пред нами слева сарай, колодец, рядом кадушка с водой, а в ней головастики. Прямо — качели, правее сирень, беседка. Качели в покое. А на фоне темно-синего неба громада клена... Запах маттиолы. Вдали, из городского сада, музыка...

* * *

Нанимали поденщиков. Особенно много работал и, быть может, сделал большую часть братень. Это Ермолай Мохов, из Журавинки, крестник дедушки или бабушки. На этом основании он звал папу «братень». Потому и все мы его звали так же, по крайней мере заочно. Он умер в 1926 г. Крестьяне тогда предпочитали работать «поляцкими» лопатами — деревянная, но режущая часть обложена сталью. Ермолай сломал две лопаты у нас в саду. <...>

Часто работал поденщиком Борис Ефимыч, фамилии никогда не знал. Небольшого роста мужичонка из Вослебова. Умер в августе 1921 г. в сторожке у Пятницы — остался ночевать, по нездоровью не пошел домой, далеко. Был у врача, получил сердечные капли, на ночь выпил весь пузырек и не проснулся. <...>

Я не помню, чтобы мы с Сережей когда-либо скучали в саду, тосковали от безделья. Всегда были заняты, всегда находили себе «дело». Взрослые не давали нам поручений по саду. Сами придумывали. Однажды Сережа посадил себе сливу около забора Егорихи, тотчас же и я посадил себе, а третью мы посадили вдвоем.

Сзади сарая папа посадил две-три сливы. Чрез пару лет мы облюбовали это место, и слева от средней сливы Сережа устроил себе садик. А я справа. Расчистили от сорняка, он одолевал нас, что-то насадили без учета роста. А когда разрослось, забросили.

Между колодцем и забором я устроил себе «клумбу»: отвалилось дно у лоханки, ободок я опрокинул, засыпал землей и посадил настурцию. Меня очень увлекали капельки воды на ее не смачивающихся листьях. Подолгу наблюдал их, перекатывал. Нравились и ее цветы, и острый запах листьев, семян. Любил я настурцию и сажал несколько лет. <...>

Сережа, конечно, больше меня работал в саду. Бывало так, что он уходил в сад с папой раньше, а я и Катя позже с тетей. Обзаводясь садовым инвентарем, папа купил ему лопату — «Сережина» — меньше обычной, но вполне пригодна для работы, не меньше той, которую мы теперь предпочитаем в саду. Купил ему лейку, мы говорили — поливалку, а лейкой называли воронку. Поменьше ведра. Позже Сережа окрасил ее зеленым. Служила долго. Был у Сережи, вероятно, позже, свой небольшой, но пригодный для работы топорик. Был и у меня, поменьше, похуже, из Журавинки. Сережин служил нам до конца: рубили гнилушки для дымаря.

Об инвентаре. Купил папа для себя хорошую стальную лопату — «папина». Еще: садовая пилка с дугой; кошка с черной ручкой, мало пригодная для работы; сикуша, в первые годы что-то опрыскивали парижской зеленью. Все три вещи теперь в саду, в Покровке. Сикуша применяется для погони за роем. Много лет это ее главное дело и в Скопине.

От старой хозяйки у нас были сирень, кашка, серберинник (шиповник) и кустик фиолетовых ирисов. Их мы звали «дикие огурцы», по форме семенной коробочки. В первые годы папа сеял грядку маттиолы слева по дорожке около беседки и где-то резеду. Чудесный аромат маттиолы в летний вечер! Но все же в цветоводстве пальма первенства принадлежит Сереже. Входишь со двора и сразу справа Сережа устроил «клумбу» — вскопал землю и посадил кустик «разбитое сердце» и заячью капусту. Сердце считалось Сережиным, капуста моей. Здесь же были две «елочки» — вероятно, от Григория Иваныча, однолетние. И «царские кудри» (тигровые лилии) с бульбочками, посадил папа. В 1913 г. на этом месте посадили первые флоксы, от них все бывшие позже у пчелы. Сажал

у скамейки, ближе к дому. Сперва сеял дома в ящиках. Первые наши цветы: астры, петуния, львиный зев, левкои, ночная красавица. Разводили из года в год, вероятно, до смерти Сережи.

* * *

Что же сделали в саду? Срубили и выкорчевали все заросли, оставив черемуху у беседки и вишни вокруг нее. Оставили несколько кустов теру по заборам, большой клен и осины вдоль соседского забора. Позже эти осины понемногу рубил Сережа. В 20-е годы было лишь несколько в южной части. Клен обрубил уже я. Зачем?.. Рядом выросли еще клены, и в 20-е годы этот юго-восточный угол был тенистый. На благодатном скопинском черноземе клен размножался поразительно: чрез два-три года широкая площадь покрывается кленовой порослью из семян. Без Сережи войну с этой опасностью вел я. Очень трудно было уничтожить тер: из каждого обрывка корешка шли новые побеги. Оставленные по забору пришлось тоже выкопать. К тому же ягоды почти все червивые.

Вскопали всю землю, вероятно, пахали сохой. <...> Помню следующий этап: ямы для посадки яблонь. Ямы глубиной в аршин — и всё чернозем! длина почему-то больше ширины. Ряды с севера на юг. Между рядами 7 аршин (5 метров), в рядах между яблонями 6–8 аршин. <...> Помню процедуру посадки: папа окунал корни в жидкую глину, утоптав ногами землю каждую, подвязывал к колу... Двухлетние саженцы выписаны из Козлова от Мичурина. Два его прейскуранта сохранялись до конца. Мичурин не был тогда знаменитостью. Папа считал необходимым взять где-то близ Скопина из-за сходства климатических условий. Тогда широко рекламировались рижские садоводы и питомники. Из рижских питомников брать не следовало, наши зимы суровей. Но там было преимущество очень важное: немцы придавали большое значение формированию кроны, Мичурин на крону не обращал внимания. Ошибка! Мы ее осознали, когда яблони стали большими. Да и теперь в Покровке очень остро чувствуем этот же недостаток.

Сколько-то лет назад, уже имея покровский сад, я вспоминал и не сразу вспомнил, но все же вспомнил, что было посажено. Малгоржатка, две груши, мелкие, лимонно-желтые, сочные. Более чем вкусные. <...>

«Царская», три груши. Вот удивительно: Мичурин рекламировал ее как очень выносливую и рекомендовал сажать вокруг сада в качестве защиты. Но в первую же зиму две погибли; от одного корня пошел дичок, а вторая засохла совсем. Чрез год-два на ее месте папа посадил тонковетку — хорошая выросла, большая, обильно снабжала нас грушами! Оставшаяся «царская» болела и плохо росла. Плоды «царской» — красивой формы, как «бере-победа», но узкая часть длиннее; вполне созревшая желтая и румянец сбоку. Вкусна! «Дюшес!» — уверенно определял сорт сосед, любуясь на груши (она рядом с забором) и считая наше название не заслуживающим внимания недоразумением.

Авенариус, три яблони. Крупные, очень красивые по форме и по окраске яблоки, красные полосы, блестящая восковая кожа, похожи на игрушку. Сладкие и пресные. К 20-м годам все три погибли.

Грушовка, три яблони.

Белый налив, тоже три.

Сахарная, летний сорт, одна.

Скрыжапель, зимний сорт, лежат до весны, вкус неважный. Славянка, мало известный тогда мичуринский сорт, ежегодный урожай, яблоки крупнее, чем теперь у нас в Покровке, и совсем без парши. Вероятно, тоже к 20-му году получила много ожогов на стволе и погибла. Мы очень жалели: яблоки превосходные по вкусу и лежали в подвале до июня; дерево было уже большое.

Бессемянка, две чудесные груши, одна особенно хорошо разрослась.

Розовый апорт, две. Крупные яблоки, по форме не похожи на обычный апорт. Очень подвержен гнили и, вероятно, малоурожайный сорт: не помню, чтобы когда-либо было много. Поздне-осенний, как и простой апорт.

Китайка, одна, особый сорт, круглые яблочки без вихорчика, значительно крупнее обычной.

Антоновка полуторафунтовая, две, сорт мичуринский, теперь его очень рекламируют. Это антоновка, но мало вкусная, хороша лишь в мочне.

«Бабушкино», три, зимний сорт, в подвале лежала до июня. По вкусу неважные.

«Розмарин», две яблони, одна чрез год-два погибла, вторая оказалась белым наливом. Хорошо разросшееся дерево, так и сохранили мы за ним имя «розмарин». Вместо погибшего чрез несколько лет посажен настоящий апорт, типичный. Так мы и звали дерево — типичный.

Коричневая, две хорошо разросшиеся яблони, крупные чудесные яблоки, хорошие урожаи.

Дымчатый аркад, одна яблоня, летний сорт анис, две яблони.

Боровинка, две яблони, так хорошо и не разросшиеся, все ломались.

Зеленый ранет, эту яблоню прислал Мичурин в виде премии, мелкие, твердые, темно-зеленые яблоки, лежавшие до мая, июня. <...>

Василий Иваныч Смирнов <муж сестры И.Д.> прислал из Ростова несколько сортов клубники (помню — ананасная, виктория...), кустики крыжовника — «варшавский», «бутылочный», хаутон... 3–4 куста черной смородины. Кусты посадили в рядах молодых яблонь. И так много мы имели с ними дела, ежедневно уплетая ягоды, начинали еще с зеленых, что казалось — никогда не забудешь, где они. Но... забыто! Лишь кое-что шевелится в памяти... Выходишь из беседки назад мимо старой яблони и сразу здесь куст крупной красной смородины (из Ростова?), за ним «бутылочный»... А налево, у «славянки», куст темно-зеленого крыжовника, ягоды сладкие, ароматные, хотелось бы иметь теперь такой. Много трудились над громадным кустом около «бабушкиной» — мелкий, как хаутон, очень сладкий... Черная смородина ростовская — кусты небольшие, урожайные. На нее всегда табу: в тетино распоряжение — на варенье и пересыпала сахаром в бутылках. Позже посадили еще и много, кусты громадные, но ягод мало, зато в нашем распоряжении. Табу и на крыжовник «бутылочный» и «варшавский», тетя рвала его незрелым на варенье. <...>

По всему саду за беседкой посеяли траву: костер вдоль западных заборов; две полосы люцерны — интересная трава с листиками, медонос, очень любила корова; тимофеевка. Костер такой высокий, что тогда я мог спрятаться в нем стоя. Помню простор и полосы люцерны. <...>

Тогда же посажены около анисов две вишни хорошего сорта — крупные, темные, сладкие. И у пчелы — три белые сливы — «очаковские», сладкие, вкусные; несколько раз вымерзали, но шли побеги. Позже, быть может, уже после постройки, посадили три низкорослые сортовые вишни. У соседа были хорошие вишни, владимирка — решительно определял он сорт. Тетя покупала у него на варенье: своя морель кисла, варенье хуже. Взяли у него несколько отростков, посадили, ягоды получились мелковатые. Посадил кое-где папа сливы. Да еще три простых рябины по соседскому забору. Хорошо разрослись, давали урожай, иногда рвали — бабушка любила подмороженную, но, пожалуй, чаще оставляли на дереве.

Вот еще одно: до постройки дома за беседкой папа посадил дватри черенка дикого винограда. Помню, кругом трава, на маленькой грядке колья, по ним вьются еще жалкие побеги. Построили дом, пересадили к террасе.

Тетя не могла не видеть, как в Ростове ухаживают за клубникой. Но все эти процедуры, вероятно, не в ее характере: в своем саду клубника осталась без ухода и быстро сошла на нет. Зато небольшой огород полностью на ее попечении. Устраивали его севернее грядок с клубникой. <...> Тетя сажала редиску с моей помощью, я ее любил. Салат у нас не был принят. Бобы, горох для детей. Огурцы, морковка, репа... Самосевом еще от старой хозяйки на огороде вырастала огуречная трава (бораго). Такой чудесный, свежий огуречный запах у ее листьев. Летом мы часто ели окрошку из своего белого квасу, пока нет огурцов, клали эту траву.

Два первых у нас никогда не виданных кустика помидоров (у нас их почему-то звали баклажаны) принес папа. Хорошо унавозил, вбил кол, подвязал, куст получился высокий. Пробовали есть без соли: совсем несъедобно! Впервые съедобность их открыла бабушка при поездке в Киев. Не помню, когда их начали сажать каждый год; мы еще не ели их за обедом, а тетя уже мочила целую бочку литров 10–15 впрок, клала во щи...

<...> Сад наш добровольно и с большим усердием караулил сосед Каменский. Он же из своего сада по вечерам приносил мешок травы корове, не знаю, как с ним рассчитывались. Очень честная была семья, даже маленькие ребятишки никогда ничем у нас не соблазнились. Зато когда сад в 1931 г. перешел в чужие руки, не вложившие в него ни капли своего труда, они сносили весь сад. И правильно делали!



Д.И. Журавлев в саду журавлевского дома в Скопине. Начало мая 1929 г.

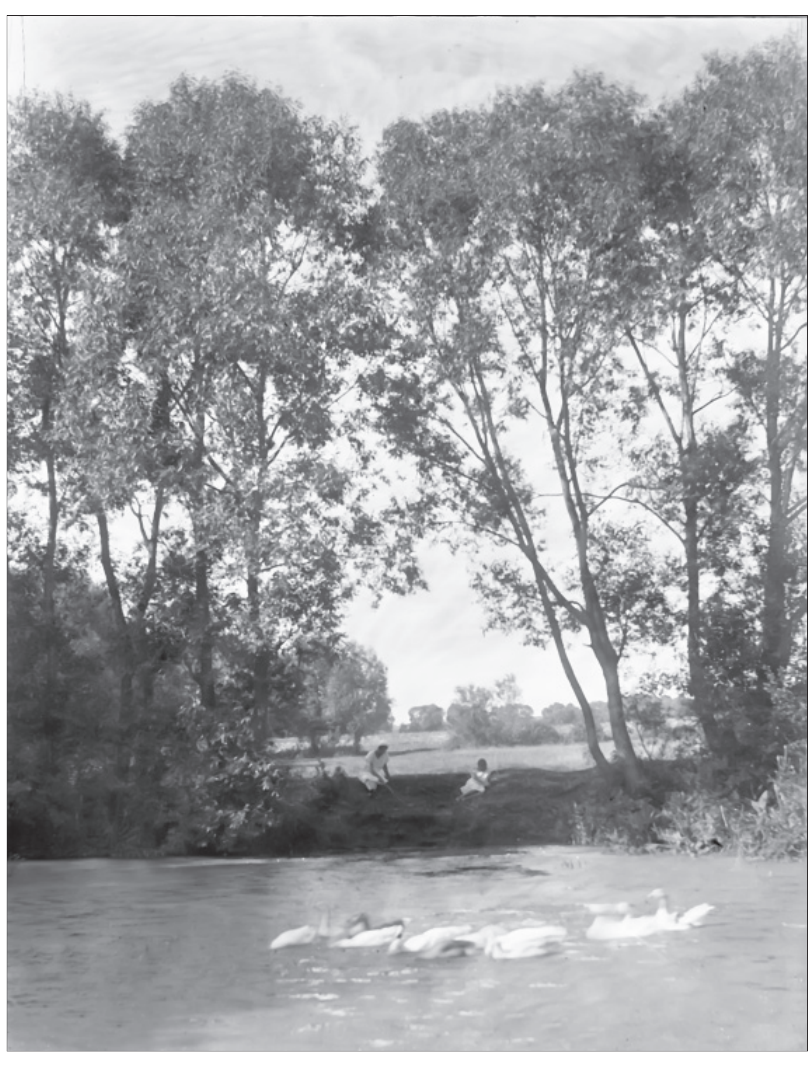
* * *

Я пишу о саде и наших походах в сад, и не могу забыть о пчеле. Уже осенью 1906 г. на зимовку дедушкину пчелу привезли в наш старый дом. А с весны она у нас в саду близ забора учительницы. Постоянно привлекала наше внимание. Дуплянки. Выставка весной и первый осмотр чрез открытые колодезни. Уборка осенью. Наблюдали, как летает, как облетывается, ловили для забавы трутней... Караулили рои. Всегда очень интересен самый процесс ройки. Сперва заструнивает, но рой может еще и не выйти; потом пчела все гуще; поражает стремительность вылета пчел, густота, шум, клубящийся рой у улья, затем у привоя. Поражает интенсивность, энергия события, мощь и радость жизни. Папа огребает рой, мы около. Вечером сажать...

29 января 1970 г.

Глава семнадцатая

Конец Журавинки



Река Вёрда, 1927 г.

Мне казалось — совсем неожиданно выяснялось: едем! Утром приезжал извозчик, усаживались: в пролетке на сиденье папа слева, тетя справа, Катя у них на коленях, на скамейке против них Сережа и я. <...> Путь в Журавинку от нас мимо Собора, Николы, по Виниковой чрез два моста: Вёрда и ее рукав. Значит, мимо Глебовых; но никогда не останавливались повидаться с ними, перекинуться словом. Деревня вытянулась дугой в одну линию по большаку в Журавинку. Проехать приходилось ее всю. Помню, ехали рано утром на Покров. Солнце и совсем-таки свежо, просто холодно, зяб. Удивило: холодно, а виниковские девки с корцом в руке выбегали на улицу умываться... Дальше поля. Показывается справа ольховый лес, уже журавинский, а впереди первые избы. Навстречу с лаем бежит собака. Провожает злобно, иные просто подкатываются в бешенстве под ноги лошади. Но вот подбегает от соседней избы другая, третья. Первая резко обрывает и как ни в чем не бывало мирно возвращается домой. И так под лай меняющихся псов проезжаем весь длинный порядок. Но вот мостик чрез ручей. Не всегда извозчик рискует на мостик. Предпочесть должно его объехать справа: в ручье воды воробью по колено. За ручьем сразу же поворот налево и дом наших. Первыми встречают, конечно, псы — один-два «мальчика»[1]. Крыльцо. Сени. Изба...

<...> Тетя и ее запреты как-то уходили на задний план. Бабушка иногда приставляла к нам своего «малого». Бывали хорошие парни, и с ними интересно, весело всюду побегать, сделать кнут, дудку или свисток из ветлы, вырезать палку, украсить ее нарезкой, и всякие прочие дела, недоступные дома. Иногда бабушка посылала за Яшей Лоховым. Он старше Сережи года на три, но, как все деревенские ребята на лоне природы, самостоятельней и опытней своих городских сверстников. Да и места ему знакомые. С ним Сережа и я бегали в Конюхах внизу пред их домом, по долине их речки — огороды, луга, лозняк по берегу, купались, ловили рыбу... У бабушки в избе часто бывала банка с вьюнами: по ее заказу Яша приносил к приезду внучат.

---

[1] Именно «мальчиком», как объясняется в воспоминаниях, в семье Журавлевых обычно называли небольших дворняжек, не сидевших на привязи.



У реки Вёрды, 12 августа 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

Папа обязательно ходил купаться на Вёрду, направление похода — вдоль ручья. Ловил и приносил домой раков. Варили для нас. Иногда мы его сопровождали, но не помню, купались ли.

Зато помню: однажды вдоль реки гуляли с Егоровыми. Григорий Иваныч приехал с девочками. Ловили рыбу. Поймали пару маленьких. Одну живую рыбку взяла Маня, продавила ее ногтем и бросила в воду: не поплыла, погибла. Меня поразила ее жестокость. Поймать, принести домой, съесть — понятно и приемлемо. Но бессмысленно терзать!.. До сих пор в глазах этот след ногтя на рыбке. Быть может, поэтому запомнилась и прогулка. А прошло более 60 лет...

Без провожатых Сережа и я бегали по паже, вокруг церкви, около старого кладбища, исследовали ручей на огороде. Воды в нем мало, купаться негде, но канава промыта глубокая: дно от уровня берега на аршин, даже больше. Вода бывает в паводки. Об одном летнем не раз рассказывал папа. Он был еще мальчиком. Едва перебрался чрез ручей — вдруг слышит шум. Оглянулся: стеной валит поток воды. Испугался он, если бы захватил в ручье, унес бы: мальчик еще маленький. Стремительный шумный поток запомнился на всю жизнь. <...>

Бывали в Журавинке карусели. Кстати, бывали они и в городе, не каждый год, и тетя водила нас и катала. Однажды привозили в Скопин и слонов, видели мы их с тетей: приезжало что-то среднее между цирком и зверинцем. <...>

На Пасху с Сережей лазили на колокольню. Журавинская и для меня была доступна: невысоко.

Летом мы ходили с папой на старое кладбище, на могилу тети Кати и всех родных. Папа служил панихиду. Кладбище было огорожено и запиралось. <...>

Был такой случай. Сережа и Катя гостили в Журавинке, а папа, тетя и я оставались дома. Не знаю, почему так. Скучал я один, возился, мастерил и сделал «мельницу»: проткнул спичечную коробку, вставил проволочку от «меда», сзади скрутил ее как рукоятку, а спереди приделал крылья как у ветряной мельницы. Крутишь ручку, крылья вертятся. Рад был, показывал тете и папе, и все не терпелось показать Сереже и Кате. Вернулись они полные журавинских впечатлений, а моя забава их не заинтересовала.

В 1909 г. большое, очень большое событие: бабушка ездила на богомолье в Киев. Железнодорожникам полагался раз в год бесплатный билет для близкой родни. Один журавинский кондуктор за умеренную плату взял с собой бабушку под видом матери. Путь был дальний, ибо для кондуктора это связано с его рабочей поездкой, и маршрут определен службой. Бабушке пришлось проехать чрез девять губерний. В служебном купе спокойно, и этот ее вожатый, ласковый человек, хорошо о ней заботился и в Киеве всюду ходил с ней.

Бабушка была в Киево-Печерской Лавре, осматривала город. Умная и наблюдательная, она привезла много впечатлений. А рассказать интересно для собеседника она умела. Город, орехи, растущие на улице, — она привезла в зеленых шкурках каштаны, грецкие орехи, — трамвайные вагончики, бегущие по улице... Привезла нам игрушки. Привезла «панораму» — ящичек с лупой смотреть картинки; открытки из Лавры; пачку карточек — картинки на библейские темы и палестинские виды, издано в Иерусалиме; Киево-

Печерский патерик в русском переводе. Все это, кроме игрушек и, быть может, некоторых открыток, сохранилось. Привезла бабушка и помидоры, и вкус к ним. Крупные и сладкие в Киеве, они очень понравились бабушке. А по ее примеру постепенно вошли и в наш обиход. — «1909 года. Сентябрь» — написал папа на Патерике. Очевидно, дата бабушкиной поездки.

* * *

И вот Великий пост 1910 г. Вербное воскресенье 11 апреля. Началась Страстная неделя. Ежедневные долгие службы у дедушки и у папы. Дедушка простудился и слег. <...>

Мы узнали, когда бабушка прислала Михаила Маркина. Все мы тотчас в Журавинку. Папа не мог здесь остаться: служба. Был из города Липец: воспаление легких. Для 76-летнего старика тогда это смертельно... Приехал еще раз папа — проститься, навсегда! И тотчас же уехал. А мы жили в Журавинке. Дедушка лежал в избе, на большой кровати. Нас к нему не пускали.

Мучила жажда. Попросил он соку от квашеной капусты (или огуречного рассолу?). Помню, бабушка и тетя обсуждали, можно ли дать больному. Дали...

Дедушка сознавал, что умирает, и утешал спутницу долгих лет своей жизни: «Я скоро приду за тобой!». Они крепко любили друг друга. Старинушка — звала его бабушка...

Смерть наступила во вторник Пасхальной недели, 20 апреля 1910 г., в 10,5 часов утра. На листке численника за этот день кто-то из ребятишек — я, но вернее Сережа — карандашом нацарапал дважды:

«Дедушка кончился».

Вот этот листок, предо мною. Чрез три месяца ему 60 лет... Я впервые был на похоронах. Много переживаний. Похоронный обряд на Пасхальной неделе отличается от обычного. Трогательная музыка похоронных песнопений постоянно перемежается величаво торжественными, радостными напевами Пасхи. Панихиды, всенощные по маме слышал я не раз. Но только теперь глубина чувства в похоронных песнопениях дошла до сердца...

<...> День похорон... Служил о. Василий Кобозев. <...> Похоронили на старом кладбище, но не в общей семейной могиле, а сделали новую с дубовым накатом рядом с могилой тети Кати, к югу от нее. Памятник в виде креста из жести поставил Ваня Кормильцев, из Москвы. Есть моя фотография 31 июля 1927 г. В нижней части памятника был жестяной лист с надписью, его вскоре сорвали. В мае 1922 г. в этой же могиле похоронили бабушку. <...>

После похорон поминки, не помню их, но помню угощение «мира». На крыльцо вынесли много водки, ситного и колбасы. Сельская публика вытянулась в длинную очередь. Каждому давали стаканчик водки, изрядный кусок колбасы и краюху ситного. <...>

* * *

В течение лета бабушка ликвидировала хозяйство, собрав последний урожай. Осенью переселилась к нам. Помню, в новом амбаре насыпали на пол гору овса нового урожая. <...> Перевезли к нам мебель: две кухонные лавки, столы некрашеные.

Больше ста лет место, не меньше полутора столетий усадьба переходили из рода в род в нашей семье. Теперь КОНЕЦ. На место дедушки перевели дьякона из села Александрова Матвея Нестерова. Его старший сын Константин учился с Сережей, второй, Петр, со мной, третьего захватила революция, нигде не учился, крестьянствует. Новый дьякон получил усадьбу бесплатно, ибо она церковная, а постройки за бесценок, продать другим можно только на слом. <...>

Бабушка вставала раньше всех; летом, встав, шла в обход по саду, собирала яблоки. Любила: «Смотришь, а оно и лежит!» — говорила она. После утреннего чаю немного полежав, брала свой нож (был у нее для всяких целей) и банку с солью, шла по саду, срезала лопухи, конский щавель и корень солила: расти не будет, погибнет.

Бабушка очень любила поговорить с людьми, говорила, интересуясь человеком. <...> Каждый ей был интересен — старый, молодой, ребенок...

В одиночестве бабушка вязала. И на моей памяти ей требовалось много лежать. Дремала так, что казалось — спит. Когда скажешь почему-либо — бабушка спала или спит, она очень обижалась: «Я не спала, совсем не спала!». Не знаю, почему ей казалось обидным. Но только теперь, когда я сам достиг меры возраста совершенна, мне понятно: можно так дремать, что впечатление со стороны — спишь.

<...> Вечер в новом доме любила бабушка посидеть на улице, на крылечке. Выносила Сережину табуретку. Всегда оставляла ее в коридоре около парадной. Тотчас прибегали к ней соседские ребятишки. В Скопине жила купеческая семья Трушиных. Они имели булочную на Большой улице, да, кажется, и дом офицерского собрания (против синей аптеки, угол Троицкой) им принадлежал. Бабушка не раз рассказывала драматическую историю одной особы из этой семьи. Умело рассказывала, слушатели все это переживали. Но я, конечно, не помню ничего, ибо все и не слушал, лишь то, что бабушка добавляла, как она сама видела героиню. В разгар событий рассказа бабушка приезжала на базар и стояла с телегой и лошадью близ дома Трушиных. Выскочила на улицу героиня и, протягивая деньги, обратилась к бабушке: «Эй, молодуха, сбегай...», — не помню за чем, чуть ли не за папиросами. Бабушка ответила: «Молодуха сама смотрит, кого бы послать!». Эта фраза, повторявшаяся без изменений и с подчеркиванием, запомнилась.

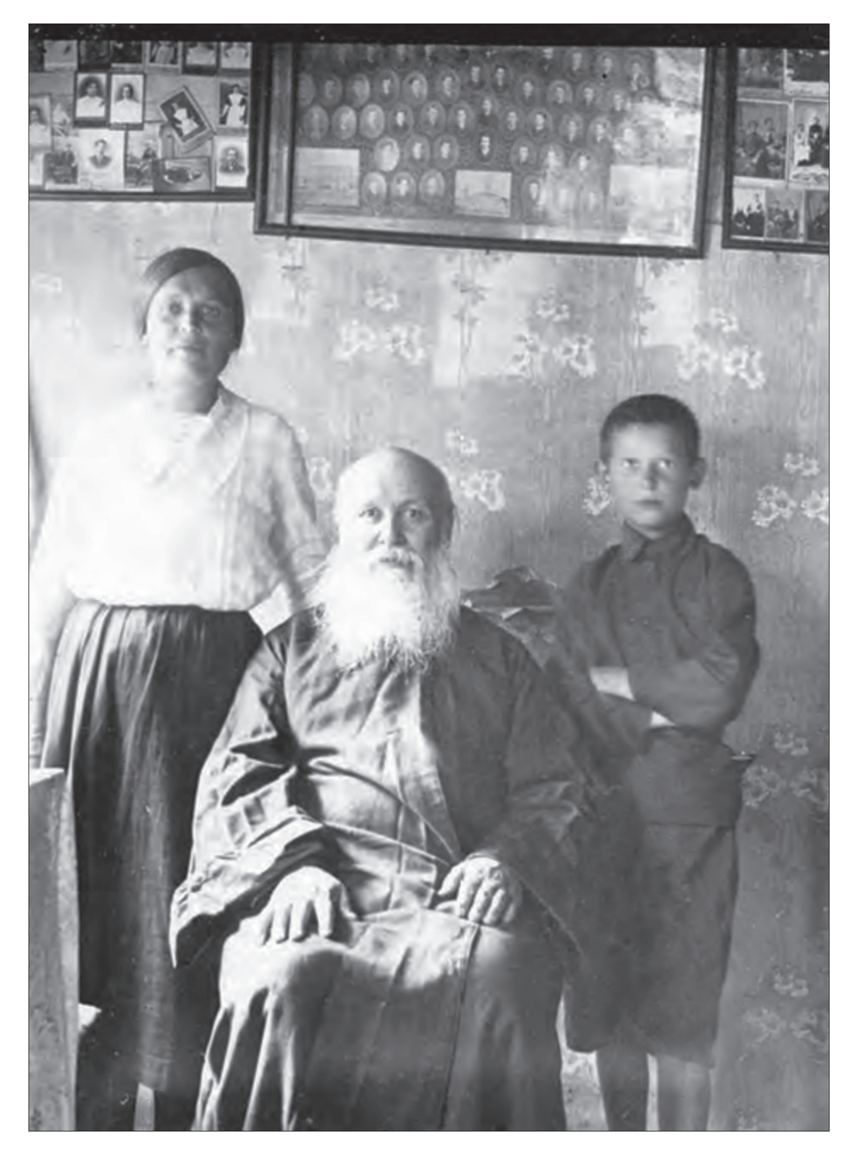
* * *

Когда умер дедушка и кончилась наша Журавинка, в причте церкви остались два дедушкиных сослуживца: священник Василий Иваныч Кобозев и псаломщик Иван Николаевич Егин.

В.И. Кобозев родился в 1868 г. Женился на Варваре Ивановне, дочери журавинского священника о. Ивана Вышатина (умер 1 сент. 1897) и занял его место. Старшая дочь Анна родилась, вероятно, в 1898 г., окончила Епархиальное училище в Рязани и была учительницей в своем селе. При коллективизации вынуждена бежать. Скрывалась, работая с земляками в торфу. Как «неграмотную» ее обязали пройти курс обучения грамоте. Поражала учителей своими успехами... Живет в Скопине, сперва с отцом, теперь одна, в хибарке, без пенсии...

<...> Сын Анатолий, 1901 г. рожд., учился со мной. Со мной же окончил школу второй ступени. Был учителем в селе. Убит под деревней Вова Ельничского района Смоленской области 16 августа 1942 г. Есть дети.

В конце 20-х годов о. В. Кобозев переселился в Скопин. Так стало тяжко дома. Умер в Скопине 29 апреля 1940 г. 72-х лет. Всякую поездку в Скопин вижусь с Анной Васильевной. У нее интересные старые фотографии. Я переснял выпуск Сережина класса. Там



В. Кобозев с семьей

наши учителя. Мой выпуск не снимался: второй год шла тяжелая война. В 1965 г. в Солнечногорске жил еще 92-летний Иван Иваныч Кобозев, брат Василия. Он был священником в селе Нагорное, в 5 км от Ряжска. Здесь он регент в церковном хоре, писал и читал все еще без очков.

* * *

Здесь мне хотелось бы в заключение помянуть добрым словом близких нашим среди крестьян. Но мало я знаю, было мне 9 лет, когда кончилась для нас Журавинка. Попробую перелистать папин Помянник, там из журавинских записаны только близкие. Но не всюду помечены фамилии и прозвища, да и из помеченных не всех я знал, значит, здесь пропущу. В начале я пишу дату смерти по Помяннику.

Мария Фофаниха, 1913 г., вероятно, ноябрь. Эту мастерицу печь блины мы хорошо знали и я не раз уже упоминал. Много раз вспоминал ее папа и всякий раз удивлялся: печет блины весь день у огня, а когда уходила домой, очень благодарила наших. А ведь надо благодарить ее. Она уходила по-праздничному сыта и довольна: бабушка умела хорошо обойтись с человеком, сердечно приласкать. Фофан — прозвище мужа. Посадили его в острог, обвинили в краже щитов с чугунки. Марья уверяла — без вины, и рассказывала, как было дело. Фофан на берегу реки пел. «Попоет, попоет, отойдет и послушает!» — повторяла Марья, и у нас оставалось впечатление: отходил он послушать свое пение. Отошел и... сторожа его сцапали. Все может быть, свидетелей нет, сторожам надо отчитаться... Марья умерла в Москве, у дочери.

Анна Назаркина, 20 июня 1914 г. «Бабушка Назаркина» — глубокая старушка, пережила всех своих детей, быть может, и внуков и, как говорили у нас, не могла вспомнить родства тех, с кем жила. Бабушка ее очень любила. Спрашивала ее, как она относится к смерти, и та отвечала: «Пожила, слава Богу! пора! Но все же пожить еще хочется!». Возраста своего она не знала. Думали, умерла лет 90, быть может, больше. В деревне женились в 18 лет, выходили замуж в 16 лет. Сколько поколений прошло при ней?

Иван Чумихин, 19 декабря 1919 г. ст. ст. Семейство Чумихиных жило на углу против наших, чрез пажу. Имели лавочку. Помнится, Чумихины — прозвище.

Мария Обух, 31 декабря 1919 г. ст. ст. Марья Ивановна Обух часто фигурировала в разговорах наших. Соседка, ее усадьба рядом с псаломщиком, но отделена от него большой пустошью, быть может, большим огородом. Вероятно, зажиточна, ибо их семейная могила в железной ограде. Она рядом с нашей семейной, к югу. Обух прозвище. Бабушка любила давать прозвища и, вероятно, метко: они приставали к людям, забывали все фамилию и знали человека только по прозвищу. Это взято из пословицы о расчетливом, скупом: на обухе горох молачивал, зерна не утачивал.

Пелагея Краульничиха, 1921 г. Опять прозвище. Произносилось и у папы записано без А после К. Была близка, часто о ней разговоры, но я ничего не помню.

Агриппина Хованская, 1/14 октября 1922 г. Тоже близкая. Бабушка прозвала ее княгиней Хованской. Так она и называлась всегда с титулом или без титула — Хованская. Фамилии не знаю.

Михаил Маркин, 10/23 января 1926 г. Его фамилия Назаркин, вероятно, частая в Журавинке.

Ермолай Мохов, 1926 г. «Братень».

В Помяннике записаны умершие еще при жизни дедушки. Я упомяну здесь только две еще фамилии — Точилкин и Большаковы. Последняя мне хорошо знакома: «Большаков» назывался рамочный улей, приобретенный когда-то дедушкой у Большаковых.

Еще два имени запишу по памяти. Часто бывала у наших в Журавинке, а после переезда бабушки в Скопин у нас, Марфа Назаркина, из другой семьи, не Михаила Маркина. Ее сын когда-то работал у наших в качестве «малого» и после помогал.

Пелагея Павловна Мекаева, бабушкина крестница. Еще девочкой она постоянно бывала у наших. Ее очень любили. Часто наведывала бабушку и в Скопине. Была у нас в Москве 13 сентября 1953 г. По ее словам, после смерти тети Кати наши хотели взять ее на воспитание, но почему-то это не состоялось. <...>

Вижу: не могу очертить круга близких журавинских. Могу лишь помянуть их добрым словом. А имена — их же имена Ты, Господи, веси!..

Вторник. 3 февраля 1970 г.



В.И. и М.Г. Лоховы, август 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

Глава восемнадцатая

Школьные годы



Е.И. Журавлева, 1918 г., Скопин

Наш первый школьный год — 1910-й от Рождества Христова. <...>

В августе Сережа поступил в первый класс СДУ, Катя — в первый класс церковно-приходской школы. Я лишь в начале 1911 г. стал ходить во второй класс приходской школы. <...>

Где учить ребят? Относительно Кати вопрос решался однозначно: в Скопинской женской гимназии. С мальчиками сложнее. В Скопине Реальное училище и Духовное. Отец для мальчиков наивысший авторитет. Учиться, конечно, там, где учился он. Оба мы считали: вырастем и будем священниками. Я не думаю, чтобы у папы были какие-либо соображения относительно нашего будущего. По крайней мере со мной никогда он не вел разговоров о выборе профессии. Но вот относительно настоящего и ближайшего будущего соображения были. Помню его разговоры с тетей. В Реальном обучение платное, если он умрет — дети останутся без образования. В Духовном — бесплатно, и сироты духовенства учатся на казенный счет — общежитие, питание, одежда, учебники. Значит, и сироты без средств, а мы остались бы без средств, при желании и способностях могли получить даже высшее образование. Конечно, и платить за троих было тяжело. <...>

Когда речь зашла обо мне, Григорий Иваныч Егоров убеждал поступить в Реальное. <...> В Реальном было семь классов. Основной предмет математика. В седьмом классе — элементы аналитической геометрии и дифференциального исчисления, солидный курс космографии. Изучались хорошо немецкий и французский языки. Но права поступления в университет оно не давало, только в технические вузы. Папа усвоил семинарскую точку зрения — считал математику и новые языки делом весьма трудным. Липец тоже уговаривал меня поступить в Реальное, убеждал в этом и папу. Тот ссылался на трудности с языками. Липец возразил примерно так: «Языки необходимы. Когда он окончит, поступит на работу в фирму. Переписка с заграницей — на иностранных языках».

* * *

Итак, Сережа поступает в Духовное училище. Приемный экзамен в августе. Папа не взял на себя подготовку. Наняли учительницу. <...> Начались сборы к занятиям. В ДУ, строго говоря, формы не

было. В понятие формы входили «серебряные», как у гимназистов, пуговицы на рубашке, такая же пряжка с буквами «СДУ» на ремне, черная фуражка с бархатным околышем, без канта, с значком — две ветки, между ними «СДУ». Но все это не обязательно, и все прочее — у кого что было. Требовалось лишь — рубашки темные. «Казенным» ученикам выдавали все серое — из чертовой кожи. У реалистов форма — темно-зеленые шинели и фуражки, зимой башлыки, желтый кант и «золотые» пуговицы и пряжки.

Сережа любил пофрантить, и экипировка к занятиям его очень радовала. Сшили темно-серые брюки навыпуск, серую суконную рубашку с ясными пуговицами. Купили ремень с пряжкой и форменную фуражку. Торжествуя, приделал к ней Сережа значок. Обувь — сапоги, и училищные брюки навыпуск у Сережи, позже у меня, поверх сапог.

Сам папа круглый год носил сапоги особого покроя, из хорошей кожи, но не выдерживающей воды. В сырую погоду, в холода — еще калоши. Они тогда были двух родов: мелкие — лето, осень, и глубокие с толстой суконкой — для зимы. Мы были очень рады, когда за несколько лет до того нам тоже сшили сапоги с калошами: как у папы! Так круглый год и ходили в сапогах. Позже, уже в училище, Сережа выпросил себе башмаки, его единственные башмаки, если не считать ранних детских. Не успел износить. Стали моими, тоже первыми.

Ученикам полагалось стричься наголо. Впрочем, и дома мы всегда стрижены. Я уже написал — Сережа любил пофрантить. Папа сам, особенно в молодости, тоже. Но удивительное дело! Жестоко преследовал наши попытки в этом направлении. Как-то уже в новом доме сели мы обедать, хотя стриглись наголо, но волосы иной раз отрастали. Сережа попытался сделать себе «прическу» — зачесал несколько набок. «Это что за безобразие!» Здесь же за столом при всех последовал резкий нагоняй. Я сгорел со стыда, хотя это меня прямо не касалось. Я понимал: папа, наш непререкаемый авторитет, не прав. И мне было стыдно и Сережу жаль.

Очень важный момент подготовки: в земской книжной лавке купили учебники, отнесли переплесть Асманову. Из этих учебников, позже перешедших ко мне, сохранилось два. Вот они предо мной.

1. А. Киселев. Систематический курс арифметики. Издание 22-е. Москва, 1910. — Переплет Асманова, на корешке напечатано «С. Журавлев», позолота букв совсем потемнела.

2. Учебный обиход нотного пения. Москва, 1899.

Один из предметов первого класса — черчение. Купили готовальню, грушевую тонкую линейку, резинку, тушь, слоновую бумагу — был такой сорт, до того нами не слыханный, у папы обычно № 6 — тоньше, дешевле. Все это внимательнейшим образом рассматривалось как нечто имеющее особо большую важность. После все свои чертежи Сережа собрал и вместе с остатками слоновой бумаги отдал переплесть Асманову. Альбом этот у нас сохранился. Цел и футляр готовальни с обломками инструмента. <...>

Сережу очень увлекала школьная жизнь: события в классе, учителя, он любил называть их прозвищами — Шишка, Морж, Дутый... товарищи, их было 40 человек, но алфавитный список он знал наизусть и часто твердил, так что и я помнил. Любил Сережа побывать в их обществе, утром из дома уходил почти на час раньше — «повторять уроки», ибо из общежития учеников направляли в классы в 8 часов — утренние занятия, а уроки начинались в 9. <...>

Обычный прием в ДУ около 25 человек. Но, по-видимому, твердой нормы не было. В 1910 г. оказалось сдавших экзамен, небывало прежде и позже, много — 40. В верхнем этаже четыре классные комнаты. Каждая носила постоянный номер класса. И каждая группа ежегодно переселялась в другую комнату. Самая большая — четыре окна на улицу, крайняя с севера — первый класс. Но вот Сережин как необычно большой просидел в ней все четыре года. Оканчивая весной 1914 г. училище, уже после смерти Сережи, класс снимался. Снимок, попорченный временем, я впервые увидел у А.В. Кобозевой в 1957 г. Я переснял. Это единственные у меня фотографии учителей. Не многих учеников на снимке узнать и вспомнить смогли мы — Анна Васильевна, Арсений, я. С тех пор я все понемногу припоминал фамилии, и вот получился список. Но относится он не только к первому классу.

2 января 1971 г.

Учились с Сережей, осень 1904 — весна 1914

Альбов	Колосов	Некрасов?	Твердов
Амарантов	Комаров	Нестеров	Трейеров

Архангельский	Крестов	Никандров	Тюшевский
Бессребренников	Кротков	Никольский	Хитров
Глаголев			
Дегтянский	Круглов	Побединский	Цветков
Живетин	Лавров	Поспелов	Чекалин
	Лебедев	Светлов	Черкасов?
Иванов?	Меркушин	Сервилин	Чудаков
Кивотов Павел?	Минаев	Смирнов	Шевцов
Кобозев	Нарциссов	Спасский?	Юрков

* * *

Кто из них сидел с Сережей на одной парте? Это важное обстоятельство — сосед и, значит, постоянный собеседник и со-консультант на уроках — мне, конечно, хорошо было известно. Но забыто!.. Вот то немногое, что знаю о Сережиных товарищах.

Кобозев Иван — старший из сыновей о. Василия, священника из Журавинки, Лопатино тож. <...> Умер от туберкулеза 13 мая 1917 г. Нестеров Константин — старший сын журавинского дьякона Матвея, поступившего на место дедушки. Теперь где-то под Москвой, квалификации не имеет. Тюшевский — сын о. Константина из с. Александрова, папина товарища по семинарии. О. Константин <...> широко известен в деревнях: «заговаривал» от пьянства — с молитвами брал клятвенные обещания не пить и многим помогал. Альбов Василий Иваныч — большой шалун, с постоянными минусами в поведении, сын пятницкого дьякона, умершего в 1901 г. В 1918–19 учебный год он в четвертом классе школы второй ступени. Взят в армию, отправлен на фронт против Колчака, там расстрелян. За что? Тогда жизнь человека ничего не стоила, убийство не считалось преступлением и за него не отвечали... В последний раз встретил его в шинели и с винтовкой. Прощаясь, он так застенчиво и мило улыбался — до сих пор помню.

Архангельский — в 1918–1919 гг. тоже в четвертом классе нашей школы, есть на выпускном снимке школы. Нарциссов Сережа — два года учился в семинарии. Умер 11 ноября 1916 в Скопине, в больнице. Сервилин Аркадий — сын псаломщика из с. Кораблина, с Сережей учился в первом классе, а в четвертом уже со мной. Лебедев — в годы НЭПа он подрядчик, держал в Москве гужевой обоз. Женился на одной из дочерей Хрущева, последнего предводителя дворянства в Скопине. Чудаков — интересна судьба его отца. Жестянщик-слесарь, он возил по деревням тележку с инструментом и красивым мощным басом взывал: «Чиним, паяем ведра, тазы, корыта...». Встретился кто-то из духовного начальства и уговорил петь в церкви. В годы войны он солдат и в Скопине. Я помню его в солдатской шинели в пятницком хоре.

Самый выдающийся ученик — Иван Юрков. Он поражал всех. О нем в училище все говорили как о чуде. Учителя не встречали никогда равного ему по способностям. Всегда первый ученик. И на экзаменах, и в течение года — только пятерки. Удивительна многосторонность дарования: не только описательные науки, арифметика, древние языки, но и пение, и чистописание, и черчение. И мышление, и память, и искусство. Тихий, скромный, он не был коноводом в классе. Но все ему удавалось, не знаю — легко ли, но всегда успешно, без промаха.

Юрков — сын крестьянина, «казеннокоштный», т.е. учился на казенном содержании. Я уже писал — такая возможность получить стипендию натурой была для сирот духовенства, но давалась и способным детям крестьян. Где он теперь? Когда в 1956 г. хоронили папу, бюро не могло дать катафалк далеко за город, нужно разрешение начальника базы. Таковым оказался Иван Павлович Юрков. Дал без возражений. Не он ли?

Да! Мало иметь талант. Чтобы таланту дозреть и развернуться, нужна еще и среда благоприятная. <...> Среди известных людей имя «Юрков» никогда не встречалось ни на каком поприще. Но может быть, и в живых давно нет: болезни, гражданская война, коллективизация, тридцатые годы, снова война...

А запас возможностей у человека был огромный.

<...> Однажды Сережа пришел из класса возбужденный. Рассказывал, какой он видел у товарища пугач. Стреляет громко, как револьвер. Впрочем, ни он, ни я револьверного выстрела никогда не слышали. Опасно ли? — Да! Вот на таком расстоянии можно даже убить, — Сережа показал руками сантиметров 10. Оказалось, продается у Черкасова. В конечном счете пугач куплен. Дуло затыкается пробкой, а в ней заряд. Выстрел очень громкий. Позже, пока можно было купить патроны, зимою мы стреляли из форточки папина окна, чтобы прогнать ворон, галок из сада: считалось — они обламывают плодовые ветки. Пугач, уже бес-

полезный — нет патронов, мы берегли как память о Сереже. Но в 1931 г. Катя везла разные памятные вещи, в Кремлеве чемодан у нее украли.

В другой раз Сережа увидел у товарища резиновый наборный шрифт. Тоже загорелось купить. <...>

3 января 1971 г.

* * *

В 1910-м году Кате до 7 лет не хватало около полутора месяцев. Но она решительно захотела идти в школу. Ее ближайшая подруга Соня Егорова поступала в первый класс церковно-приходской школы. В Скопине была тогда только женская. <...> Тете всегда неприятна мысль, что Катя в чем либо отстанет от Сони. И ее согласие было обеспечено. Все учительницы школы нам знакомы — получали у папы жалованье. Вот они: О.М. Попова, Елизавета Ивановна Любомудрова, Ольга Петровна Сионская и Нина Васильевна Сныткина (буква Ы). Трудно мне писать об их возрасте, вероятно, совсем молоденькая только Нина Васильевна — она всегда была очень нарядна. Катя и Соня — в ее классе. <...> Начались дома бесконечные рассказы о событиях в школе. Главный герой рассказов — «Боишкина», Борискина — девочка в четвертом классе — очевидно, много занималась с малышами, опекала, играла. <...> Она дочка печника, жившего на Первой Новой, близ нашего сада. Мы на старой квартире, школа вверху двухэтажного дома на Садовой, между лавкой Никитина и Первой Мещанской. А внизу торговля.

Чрез год, в августе 1911 г. Катя и Соня с приемным экзаменом поступили в младший приготовительный класс гимназии, эти классы не в громадном двухэтажном деревянном здании гимназии. Тогда для них был снят верх нового кирпичного здания Мызникова на юго-западном углу перекрестка Садовой и Первой Мещанской. Это совсем близко от школы, да и от гимназии. В сентябре 1911 мы жили уже в своем доме. И Кате приходилось ходить по скопинским понятиям очень далеко. <...>

Конечно, в связи с поступлением в гимназию тете большие хлопоты — заботы о всяком тряпичном снаряжении и прежде всего забота о форме. Ее тетя не дерзнула шить сама, шили портнихи Рудаковы. Из того времени помню лишь одно событие. Провожала

Катю на экзамен и в первый день занятий тетя. Вывесили объявление, какие учебники нужны. Тетя по писаному читать не умела. Разбирала объявление Катя. И вот — нужен учебник «спиритень». Папа и мы недоумевали. Оказалось — «первая ступень».

1911–13 учебный год — Катя в старшем приготовительном. А с 1 сентября 1913 г. в первом классе, и занятия уже в большом здании гимназии. Сохранились немецкая грамматика Кейзера, два французских учебника и эмалированная коробка для акварельных красок. Она требовалась на уроках рисования, вероятно, уже не в первом классе. Да еще карты от учебника русской истории (4-й класс?), они лежат в первом томе Соловьева. Меня когда-то поражало количество тетрадей, исписываемых Катей на уроках чистописания. Я, правда, писал медленнее своих товарищей, и за год вышло едва ли больше двух тетрадей. А Кате тетрадь почти только на один урок. Теперь рассказывает: девочки соревновались, кто больше напишет; качество не учитывалось.

Утром после завтрака причесывала Катю всегда бабушка. Волосы вились от природы. Надзирательницы обвиняли Катю — завивается, а это преследовалось. Бабушка обильно смазывала волосы репейным маслом и косу заплетала туго. Наша гимназистка со страстным порывом, с увлечением спешила пораньше уйти на уроки. Но привлекали ее туда суетня, игра, бесконечные шалости с подругами. По этой части она коновод. А учиться решительно не хотела. Бывали переэкзаменовки при переходе в следующий класс. Лишь с пятого класса увлеклась науками. В гимназии у каждой ученицы был «табель». <...> Ежедневно туда записывали все уроки и проставляли все отметки из классного журнала учителя, да и отметки за поведение ставились чуть ли не каждый день.

В новом доме, с осени 1911 г., в тетиной комнате был ее стол, простой, некрашеный, с большим ящиком. За ним она и заседала, готовя уроки, читая. Читать она любила, читала много, и это занятие увлекало ее несравнимо больше, чем уроки.

Я совсем не могу написать сколько-нибудь подробнее о школьных годах Кати, об обстановке в гимназии. <...> Тогда у нее не было потребности все события дня вновь переживать в словах. Быть может, потому, что за шалости влетело бы.

Банкир Рыков когда-то открыл в Скопине женскую прогимназию — четыре первых класса. Позже она стала гимназией с семи-

летним курсом. Во времена Кати был уже и восьмой класс — педагогический, дававший право на звание учителя. Все девочки ходили в формах — коричневое платье, черный передник.

У восьмиклассниц форма иная. Древних языков не полагалось. Был обязателен один из живых, немецкий или французский. Катя «изучала» оба. Но в пылу патриотических чувств в начале войны 1914 г. немецкий бросила. Конечно, это повод, а не причина. Был «нормальный» класс, в нем дети более интеллигентных и зажиточных семей, и «параллельный». Катя в нормальном. Обучение платное[1].

Я не знаю финансовой стороны дела, но гимназия была городской, а не министерской. Директриса именовалась начальницей гимназии. В наше время вплоть до закрытия гимназии в 1918 г. таковой была Любовь Михайловна Кедрова, родная сестра О.М. Поповой, жена священника Никольской церкви о. Ивана Кедрова, умершего 29 мая 1911 г. Сама лишь со средним образованием — из Епархиального училища, в ее время еще шестиклассного — она умела ладить с разного рода начальством, но не умела с учителями. И потому коллектив преподавателей в гимназии в целом был слабый, хотя случались и хорошие учительницы. Она умерла около 1955 г. 83 лет, жила у дочери где-то на Девичке, близ нашей квартиры на Зубовском. Значит, она почти ровесница тете и в 1912 г. ей было около 45 лет.

5 января 1971 г.

Я В ШКОЛЕ

<...> Папа считал — меня не следует отдавать в училище из-за моей болезненности и физической слабости. Принимали в возрасте от 10 до 12 лет. По особому ходатайству в виде исключения брали и моложе. <...> Было мне 9 лет и 3 месяца, усваивал все я без особого напряжения. И вот Сережа из класса, и я переживаю с ним все события на уроках, и Дутый, и кондуит, и прочая, и прочая. Лишь после Рождественских каникул папа отвел меня в первую приходскую школу в Никольском саду. Сам он был законоучителем в этой школе. <...>

Заведовал школой Николай Григорьич Неокесарийский, пожилой человек, седой. Бездетный, любитель садоводства, снимал квартиру на северо-западном углу перекрестка Садовой и Мяснорядской. Вот предо мною пресс-папье — бронзовый мишка на черном камне, его подарок папе на новоселье. Еще учитель — Владимир Николаевич Шабулин, приятель Григория Иваныча. Было еще очень важное лицо — сторож Яков. Он звонил к началу и концу урока, вероятно, убирал классы, но главное — играл роль надзирателя и командовал ребятами в перемены. <...> Ребята его очень боялись и слушались. Лишь я возмущался: не дело сторожа командовать нами. Под его же команду поступали провинившиеся ученики, оставленные учителем «без обеда». Не отпускал их Яков после занятий около часу. Впрочем, длительность часа определялась субъективно.

<...> У меня в глазах хрестоматия, побольше обычного формата, тонкая, в переплете Севастьяна. Очень нравилась нам сказка «Три девицы под окном...». Твердили в перемены без конца... А в третьем на мотив «Гибель Варяга» распевали: «Как ныне сбирается вещий Олег...».

1911–12 учебный год. <...> Основную часть времени — Агап Степаныч Трофимов. Он только что перевелся из Павельца. Там он был учителем долгие годы. <...> Когда после 1905 г. началась реакция, Агапа вытурили из учителей. Остался с семьей без куска хлеба. Пришлось писать покаянное письмо. И этого тогда оказалось вполне достаточно: приняли вновь. В город перешел, вероятно, чтобы дать образование детям. Сын — реалист, дочери — не помню. Переехав в город, Агап Степаныч позволял называть себя так лишь ученикам. А взрослых поправлял: «Мое имя не Агап, а Агапий!». Был он, мистер Агапий, небольшого роста, кругловатый, плотный, подвижный. Учитель он умелый. Но не нравился мне, да и папе, своей какой-то заискивающей, льстивой вежливостью. Учеников всегда называли по фамилии, но меня как сына одного из учителей он выделил и звал «Митя». Впрочем, ребята не уловили сути дела, не обиделись, восприняли как кличку и величали так же. <...> В деревне «Агапий» бил учеников по пальцам линейкой, грозил и у нас, но не помню, чтобы шло дальше угроз.

[1] В нормальном классе плата 20 рублей (золото!) в год, иностранные языки обязательны. В параллельном они не преподавались, и плата, вероятно ниже. Отсюда разница в подборе учениц. — *Примеч. автора.*

Законоучитель — папа. На его уроках стояла полная тишина. Все слушали его рассказы с напряженным вниманием. Он был ласков с учениками, некоторых величал по имени — Юша! Юша! Ребята чувствовали ласку и любили папу. Спрашивал он как-то так, что это не пугало ученика. Если тот не знает или ошибается, спрашивал соседа — парты длинные, на одной человек с пяток. Так раза два добирался до меня: «Сосед!». Я совсем сгорал от застенчивости, отвечал заикаясь. Ребята его слушались с первого слова, считали строгим, хотя наказаний он не применял.

Я бы сказал так, что учиться было весело и интересно. Не было того нудного, что вносили собой в ДУ Дутый, Доброхотов, древние языки. Не помню, как учителя оценивали успехи, но не было обязательного опроса учеников с отметками в журнале. Не было современной казенщины с ее журналами, табелями, двойками и пятерками с первых дней первого класса. Учиться было интересно, и общее настроение, как я написал уже, веселое. В перемену шумной толпой валили в коридор, в теплую погоду — в сад. В мое время редко, но бывали кулачные бои с Никольской школой, где-то она вблизи. Эти бои двух школ — старая традиция. Я не участвовал: всегда был физически слаб и сознавал это, и не мог не сознавать — быстро уставал.

Состав учеников — самый демократический. Богачи и городская «аристократия» детей в начальную школу не отдавали. Основная масса школой заканчивала свое образование. Иные, как наш сосед Каменский, считали нужным окончить только два класса. «Зачем? — рассуждал он про старшего своего сына Колю. — Пусть побегает на свободе. Все равно чрез пару лет засажу за верстак». Среди ребят не было чванства своим происхождением, богатством. Никто не интересовался, чем занимаются отец или мать. Все равны. И я уже писал, как прошла попытка Агапа выделить меня именем.

«Не много лиц мне память сохранила», даже имена — далеко не всех ребят. Вероятно, лишь по второму классу — Аптекин, он откуда-то приносил пачки дешевых карандашей, бросал ребятам. Коняев — жил почти рядом с школой, я был с ним дружен, но по третьему классу его не помню. Воронов — сын сторожа-контролера в кино «Модерн». Гребеньковы — два брата. Ершов — сын почтальона, родственник Андросова, семья жила в нашем 26 квартале; уехал в Питер; в первые дни Февральской революции 1917 г. пропал без вести. Иванов Ефим — «Юша». Котельников — из семьи, известной в Скопине под прозвищем «Чепикины». Слесарная мастерская против трактира Голубина. Чинили все, даже оружие: мальчик приносил в школу револьверные патроны. В студенческие годы встречались в поездках, он учился в Москве пению, подрабатывал, выступая в ресторанах. «Марфа» — фамилии не помню. Молошников — в 30-е годы в органах безопасности, арестовывал в 1931 г. папу, но был весьма вежлив, докладывая начальству, называл «они». Попов Дмитрий — дворянин, сын бедного водовоза, после школы не учился. Не раз вспоминал я его «дворянство»: как оно ему прошло?..

Еще пять человек, более близких мне. Варфоломеев Михаил — приемный сын лавочника Степана Кузьмича, ближайшая к нашему дому лавочка. Некультурные родители без меры баловали мальчика. У него водились деньги, бросал их на лакомства... С ним я часто возвращался из школы. Судьба не известна. Андросов Александр — 1900 г. рожд., отец — церковный сторож у Успенья Иван Степаныч, мать — торговка. Заикин Александр — из многодетной семьи мелкого торговца, его сестра Дора одно время училась с Катей. Нарциссов Василий — сын успенского дьякона, брат Сережина товарища. Потому и Васька еще во втором классе стал моим приятелем, встречались и вне школы. Фаддеев Иван Иваныч, 1898 г. рожд. Его отец-слесарь имел ларек в торговых рядах около обжорки: железная мелочь, замки, ключи, починка... Ваня старше и выше нас всех на целую голову; и потому звали мы его «батя». Учился с запозданием из-за болезни глаз. Ваня единственный из школы, с кем я поддерживаю отношения до сих пор. Вот предо мною его открытка — поздравляет с новым годом.

В 3-м классе ближе всех я сошелся с Андросовым. Способный, живой и скромный мальчик, учился с большой охотой, что нас и сблизило. Иногда бывал у нас дома. Мать после школы хотела пустить его по торговой части, отдать в лавку «мальчиком»: сперва на побегушках, потом приказчик. Папа настоял, чтобы способному мальчику дали возможность учиться; а путь один — в ДУ, бесплатно. Так получилось, что в августе 1912 г. из класса нас пять человек сдавали приемный экзамен и поступили в Духовное училище: Андросов, Журавлев, Заикин, Нарциссов и Фадеев.

8 января 1971 г.

Я В СДУ

1912-й год. Приемные экзамены — после Успенья, этак 17–20 августа. Помню только диктант. Я старался, принес с собою чернила, ручку с пером — новым, да на всякий случай целых два запасных выложил в парту <...> был очень расстроен: оставил в парте новые перья! Давались они нам скупо, и я очень дорожил ими...

<...> Учебники перешли от Сережи и не были новинкой. Только для черчения купили линейку в 40 см, служит мне до сих пор; да Асманов сделал папку, вытеснив на ней по обычаю золотыми буквами ЖУРАВЛЁВ. Вот она, уже ветхая, в ящике стола с материалами для этих писаний. 1970 – 1912 = 58 — и папке, и линейке 59-й год!

<...> Сперва молебен в училищной церкви. <...> Просторно и светло показалось после школы: высокие потолки, большие окна, белые стены, да и пол далеко не весь уставлен партами — свободно чуть ли не больше половины. Парты на два человека. Рассаживались по желанию, но уж менять место после без разрешения нельзя. <...>

После звонка обязаны сидеть за партами в ожидании учителя. <...> Входит учитель с большим журналом в руках, все встают, дежурный читает молитву «Царю небесный». <...> Звонок — конец урока, и дежурный читает молитву «Достойно есть». Перемена, иные за учителем в коридор, другие остаются в классе, не помню, открывали ли форточки, но духоты не было: простор и способ отопления — всегда поступал горячий чистый воздух, запрещалось входить в чужой класс, спускаться на первый этаж, и коридоре царит надзиратель, учителя в учительской. Чинно гуляем по коридору, обнявшись. Но вот, вероятно, о. Павел распорядился: запретили обниматься, ходи «под ручку». <...> В начале второй перемены сторож Тимофей приносит поднос с половинками булок, надзиратель раздает общежитным. Это завтрак, правда, маловато половины пустой булки, всего-то грамм 200, растущему народу. А прочие, я например, приносят с собой...

<...> В теплую, даже жаркую погоду фуражка обязательна. С непокрытой головой ходить по улице считалось верхом «неприличия» — никто не ходил, ни взрослые, ни дети, даже самые малые. <...>

День начинался в 8 часов выходом общежитных в классы на утренние занятия. В 8 часов 45 минут общая молитва в церкви. К ней обязаны собираться все ученики. В 9 часов первый урок. Каждый урок по 60 минут, перемены все одинаковые по 10 минут. <...> Больше четырех уроков не было и в старших классах.

* * *

<...> Во главе училища стоял смотритель. Однако было еще правление. В его состав входили: председатель — смотритель училища и члены — учителя и представители духовенства. Папа был членом ревизионного комитета по СДУ с 1903 г. по 1 октября 1906 г. и членом правления с 25 сентября 1906 г. до закрытия училища в 1918 г. Как представитель духовенства членом правления был еще о. Александр Митрофаныч Миротворский, священник церкви Богоявления и законоучитель в гимназии. <...>

Новое здание училища заложено летом 1886 г., вступило в строй около 1894 г. Оно двухэтажное, по Скопину большое, из красного кирпича с белыми наличниками окон. Впереди за железной решеткой — палисадник, в нем две башенки, подача воздуха в духовые печи, здание с палисадником красиво, внутри высокие потолки, просторно и светло.

Верхний этаж — церковь и классы, первый — общежитие и квартиры смотрителя и его помощника. Есть еще полуподвальный, там столовая, кухня, прочие служебные помещения, печи духового отопления: во все комнаты чрез отдушины подается чистый горячий воздух. <...>

Домашняя церковь — в память Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. Престольный праздник 11 мая, по новому стилю 24-го. Церковь в юго-восточном углу. Две комнаты разделены лишь с краев, просвет вплоть до потолка примерно в две трети ширины комнаты. Уже когда я учился, сделали деревянную филенчатую перегородку с громадными дверями. На службу открывали, после — закрывали, и задняя комната — зал для гимнастики. У южной части этой неполной стены — свечной ящик. За ним стоял прямой как свеча сам смотритель: он — староста церкви. А у северной, у входной двери, завалясь на стену, бдительно следил за учениками надзиратель Дутый. Ход отрезан: ни войти незаметно, ни выйти

нельзя. В уборную надо было просить у Дутого разрешения. А он то позволит, то нет — это было и глупо, и жестоко. Ученики стояли рядами, в алфавитном порядке, первый класс впереди у самой солеи, старшие сзади них. Во второй комнате — посторонние богомольцы, их всегда мало — несколько человек. Когда жили в своем доме, в их числе бабушка. Ей уже тяжело было ходить к Пятнице — далеко. Нравился ей и простой хор мальчиков.

Служил о. Неофит, с декабря 1912 или января 1913 — о. Павел. <...> Хор на правом крылосе из ребят, регент — учитель пения Троицкий. Он не был музыкален, и в таком же духе получался хор. В первом классе я стоял в первом ряду почти рядом с правым крылосом. В хору лицом ко мне два ученика второго класса — дискант Жилинский и Быстров. Было и два баса, один из них Петр Лонгинов, тогда ученик четвертого класса. Из старших учеников назначался псаломщик — в 1915–1916 гг. Анатолий Тихомиров. Вместе с ним на левом крылосе пело несколько мальчиков. А кафизмы, шестопсалмие, первый час за всенощной, часы и «Апостол» за обедней читали все старшие ученики в обязательном порядке по очереди. Читал и я. Но вот надев стихарь, с «Апостолом» выступить на амвоне из-за болезненной застенчивости я так и не решился. «Я за тебя продеру!» — вызвался Зверев. Просил я на такую замену разрешения у классного «воспитателя» Богородицкого, сославшись на свой тихий голос. И это верно: говорил я тихо, даже отвечая урок, напрягаться, кричать было трудно — не хватало дыхания. Научился говорить достаточно громко без напряжения лишь в зрелом возрасте, читая лекции. А Сережа любил выступить на крылосе. Читал он «Первый час» и у Пятницы. Звонкий альт, достаточно громкий для ДУ, а у Пятницы голос терялся.

Прислуживали за богослужением ученики тоже по очереди, в стихарях, выносили свечи, подавали кадило и т.д.

Да! Бывали совсем особое настроение, особые переживания, когда стоял за службой у Пятницы. А в училище — нет. Богомолье по принуждению и в строю не располагает к молитве. И в первом классе я тосковал, ожидая конца, все смотрел на Быстрова и Жилинского, на их начищенные до блеска башмаки, в мечтах становился рядом с ними и пел, — потому они и запомнились. А в старших классах стоял уже не впереди и шалил, шептался с соседями, толкал их и, в пылу усердия ставши на колени, ударял ребром ладони сзади колена; и зазевавшийся мальчик чуть не падал, впрочем, не я изобрел это развлечение: у Пятницы псаломщик Преображенский проделывал это с ребятами. <...>

* * *

В классе рядом с учительской окна на запад. Хороший вид: простор, долина Вёрды, Красная горка, на горизонте журавинская церковь. Не помню, видно ли отсюда железную дорогу. Ее интересно было наблюдать: медленно, медленно ползет червячок с дымком впереди. <...>

Первый этаж. Все мы, городские, входили чрез громадную дверь главного подъезда. <...> Большой пустой вестибюль со ступенями внутри. Против — лестница вверх, в проходе под лестницу — вешалки; это раздевалка для приходящих учеников.

Большая спальня изуродована — отгорожен угол под кухню смотрителя, да еще посредине кирпичный столб, он поддерживал перегородку в верхнем этаже. Когда в 1918 г. здание перешло в другие руки, новый хозяин Рыков[2] сломал столб и кухню, сделал сцену, получился просторный актовый зал. Говорил папе: поспешил сделать здесь, чтобы высшие власти не успели приказать сцену устроить в церкви. Ее, конечно, закрыли, все церковное вынесли и устроили в ее помещении библиотеку. Заведовал Богородицкий. В углу сложил изъятые философские и богословские книги XVIII и XIX века, столь теперь ценные и, конечно, погибшие. Но не мог решиться изъять Библию: поставил ее в исторические книги.

В 1912 г. библиотека училища — в маленькой комнате рядом с второй спальней, ведал ею И.М. Федотьев. <...> Мало я тогда читал, мало и брал, да и подбор литературы неувлекательный. Однажды Иван Михалыч обратился к папе с просьбой прислать мальчиков помочь ему разобрать книги. Сережа и я по его указанию вынимали и убирали в шкафы стопки книг, кончилось тем, что он вручил нам по 20 копеек. Это — «первый мой заработок». Впрочем, такую

---

[2] Впоследствии первый декан исторического факультета Саратовского университета. См. книгу, посвященную его памяти и содержащую, в частности, очерк о Рыкове: Павел Сергеевич Рыков (1884–1942): биобиблиографический указатель. Саратов, 2009. В семейном архиве Журавлевых сохранились письма П.С. Рыкова к Екатерине Ивановне Журавлевой.

формулировку я даю только теперь — подсказала Аня. <А.И. Журавлева>

За библиотекой коридор входит во второй этаж старого корпуса. Сразу направо — маленькая спальня. <...> Где-то шкафы: на двух учеников полагался один шкаф, в нем их одежки и проч. Этажом ниже — сундучная, там сундуки учеников с их добром, что-то еще внизу, неведомое мне. Но под маленькой спальней, в бывшем папином приготовительном классе — курятник смотрителя.

Вся площадь усадьбы с уклоном на запад, за двором крутой спуск к Щемиловке. На этом бугре жалкий сад, впрочем, общежитные ребята за ним ухаживали — окапывали по приказу начальства и проч. Внизу баня, вверху кирпичный дом больницы. Там царил фершал Пётр Зосимыч Белинский, крещеный еврей. Жил совсем близко — северо-восточный угол Садовой и Мяснорядской улиц (теперь Октябрьская и Лермонтова). В базарные дни у него прием на дому чуть ли не больше, чем у врачей. <...>

Был изолятор для заразных. Был и врач — Дмитрий Иваныч Постников, живший напротив училища, один из трех наиболее популярных врачей в Скопине (Липец, Постников, Кунаков). Лежачих больных лечил он.

В 1918 г. здесь квартира директора школы, жил П.С. Рыков, с 1920 г. — опытная начальная школа при педтехникуме. И я там был, как учащийся педтехникума сидел и поучаясь слушал, как дают урок умелые люди.

декабрь 1970 — январь 1971 г.

* * *

На сколько человек было рассчитано общежитие? Не знаю, плата за него 55 рублей в год. Впрочем, нуждающихся от этой платы освобождали, не платил, например, Лонгинов, хотя и не был «на казенном». «Казенные» получали бесплатно сверх общежития с питанием еще полный комплект одежды — от белья до зимних пальтушек и шапок, учебники, словом — могли учиться без помощи извне, хоть, конечно, и было им голодновато.

Обучение во всех духовных школах для всех бесплатное. Ничего не платили все городские и все приезжие, жившие на частных квартирах. Потому много учеников из мещан, крестьян, бедноты, тянувшейся к свету.

* * *

В первом классе <...> я оказался первым и получил в награду книжку «Хижина дяди Тома», сытинское издание, сокращено для детей. Цела. Но лист, где надпись «За отличные успехи и поведение...», подписи и «казенная» печать, я вырвал. Теперь жаль, очень жаль. Тогда — надо было. <...> Второй класс тяжелый: пять месяцев болезни и смерть Сережи, мои недомогания физические и душевные, полная апатия к жизни и ученью после смерти Сережи. И все же по инерции я оказался вторым учеником и получил в награду «Дочери скваттера» Майн Рида. Цела, и тоже без листка с надписями.

В третьем классе 1914–1915 гг. я опять первый ученик. Награды не получил: война послужила поводом отменить этот расход.

Экзамены после каждого класса. Экзамен за четвертый служил и выпускным и приемным, или лучше сказать — переводным в семинарию. Во время войны — экзамены лишь за четвертый класс, а переходные отменили: переводили по годовым отметкам. <...>

Тетрадки с сочинениями и не могли сохраниться: строго обязаны вернуть учителю. Их очень ценил и заботливо собирал смотритель: нужны ему... заклеивать рамы окон на зиму, как черновая бумага переплетчику. Так на переплете часослова сохранилась у нас надпись «Быстров ученик кл. Духовного училища», — выступила сквозь наклеенный лист. Вероятно, о тетрадях рассуждали в правлении, ибо папа не мог без возмущения говорить об этой мелочной жадности смотрителя Доброхотова. В самом деле, этот «руководитель» и «воспитатель» отказывался понять несоизмеримость двух вещей: с одной стороны — неощутимая, пустяковая экономия, с другой — важность привить ученику серьезное отношение к плодам своих стараний, своих первых умственных усилий. Одно — сделал, сохранил и невольно не раз вернулся, другое — сделал и... в корзину! Ученики ведь сами заклеивали окна своими сочинениями.

* * *

И все же, хоть и дома я жил, самое радостное событие в школьной жизни — роспуск на каникулы. «Завтра роспуск!!!» — бывало, торжествовал Сережа. На Рождество нас отпускали 20 декабря, на-

чало занятий 8-го января. Роспуск на Пасху в пятницу накануне Лазаревой субботы, и до понедельника Фоминой недели, — значит, пасхальные каникулы — 16 дней. Были у нас еще необычные для других школ каникулы: отпускали на масленицу и на первую неделю Великого поста: надо было говеть дома и в училище предъявить справку — «был у исповеди и Св. Причастия».

НАУКИ И УЧЕБНИКИ

Во всех четырех классах преподавались:

Русский язык. В программу входил и церковно-славянский. Было три учебника: грамматика русского языка — этимология (1 и 2 классы) и синтаксис (3 и 4 классы); грамматика славянского языка.

Арифметика. Две книги на все четыре класса: Киселёв. Систематический курс арифметики. Изд. 22-е, М., 1912 (эта книжка сохранилась). Сборник задач по арифметике Малинина и Буренина.

География. Три учебника Иванова. Автор — преподаватель Царскосельского лицея. Он же учил царских детей. Первый класс — физическая география. Второй класс — Азия, Африка, Америка, Австралия. Третий класс — Европа. В четвертом классе — география России.

Пение. Только церковное пение и церковные ноты. Пособие — «Учебный обиход нотного пения употребительных церковных распевов» (М., 1899) — цело.

В первом классе — черчение и чистописание. По черчению никаких пособий. По чистописанию должна быть пропись. По всем правилам каллиграфического искусства — образцы показаны в прописи — переписывали из нее неоспоримые истины: «Азбука — к мудрости ступенька», «Тише едешь — дальше будешь»... Занятие тоскливое.

В первом классе — Священная История Ветхого Завета, во втором — Священная История Нового Завета.

Со второго класса начинается изучение латинского языка. На все три года один учебник: Михайловский. Начальное руководство к изучению латинского языка для классических гимназий и прогимназий. Сохранилась книжка, купленная по указанию учителя Соколова для меня: издание 10-е, СПб., 1912.

Третий класс принес кучу новых наук. И все они на два года. Прежде всего — предметы смотрителя Доброхотова: катехизис и церковный устав. Учебник по уставу у папы был — заглавного листа нет, и автор мне неизвестен, катехизис купили для Сережи и переплели оба вместе. Целы. «Пространный христианский катехизис православный кафолическия восточныя церкви» (М., 1909). Это знаменитый катехизис Филарета, выдержавший без перемен несчетное количество изданий. Это Филарет по приказу царя Александра II написал столь до революции всем известный манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ...». А сам был противником реформы!?!? И вот какое может быть на свете противоречие: искренне верующий христианин и он же фактически защитник мерзостей рабства! А человек был умный. Правда, уже под 80 лет!.. Катехизис составлен до реформы, написан дурным языком книжной учености XVIII в. Содержит элементы отсебятины, отражающей веления царского режима.

Церковная и гражданская история — история первых веков христианства, соборов, разделения до того единой Церкви (западная, католическая, и восточная, православная), крещение Руси и ее история. Преподавал Зыков.

Природоведение. <...> Третий класс — мертвая природа, т.е. элементы химии, минералогии, четвертый — живая природа: начала ботаники, зоологии. <...>

Древнегреческий язык: курс по Коху и Кэги. Часть I — этимология. С краткими греческими и русскими примерами по Везнеру и с отрывками из греческих классических авторов и из церковных книг. Составил М. Григоревский. Наш с Сережей учебник не сохранился. У меня сейчас в руках книга Вани Фадеева, издание 15-е, СПб., 1912. Он подарил ее мне в Скопине в сентябре 1969 г.

Вот весь курс наук ДУ. Изучение его считалось достаточным, чтобы занять должность псаломщика. Все мы за четыре года освоились с порядком повседневной церковной службы, научились бойко читать по-церковнославянски, и не только читать, но и понимать, т.е. уметь перевести по-русски прочитанное там, где такой перевод возможен. <...> Чуждое нашему языку построение фраз и не всегда удачный подбор слов при переводе — иной раз совсем

затемняют смысл. И.М. Федотьев приводил на уроке пример — ирмос Рождественского канона:

Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание, любовию же, дево, песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно есть; но и, мати, силу, елико есть произволение, даждь...

Не так-то легко и быстро уловить здесь смысл, а поэтичность выражения этого смысла и подавно, если не обратишься к греческому подлиннику.

Был в нашем распоряжении «Часослов учебный для начальных сельских училищ» (издания 1896 г.). Цел. Пользовались им на уроках славянского языка и больше — церковного устава. В начальных школах это — первая после славянской азбуки книга для чтения.

Программа Духовного училища не имела характера какой-либо законченности общего образования. Цельное лишь — курс Духовного училища плюс четыре класса семинарии. В этом смысле большую законченность давало городское училище. В Скопине было мужское, и только в 1917 г. после многолетних хлопот было открыто еще и женское. Различали тогда образование начальное — трехлетние школы, реже четырехлетние с повышенной программой, принимали совсем неграмотных; низшее — с четырехлетним курсом — прогимназия (четыре первых класса гимназии), духовное училище, городское — принимали окончивших начальное; среднее — гимназия, реальное училище, коммерческое, кадетский корпус, четыре класса духовной семинарии, женское епархиальное училище; высшее — университет и проч. Городское училище соответствовало прогимназии, но не было древних и новых языков, зато программа общеобразовательных предметов шире, проходили даже физику — хороший учебник Цингера. Официально оно именовалось «Высшее начальное училище». И вот получалось, что псаломщики — люди совсем мало образованные, серые, мало развитые, и мало кому из них удавалось пополнить свое образование самостоятельно. Да и материально они обеспечивались совсем нищенски: недостаточна «зарплата» иерея, а псаломщики получали только одну треть иерейской. И все эти сильва и ипсоме оставались втуне.

21 февраля 1971 г.

УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛИ

В наше время в СДУ учеников 100–120, учителей восемь и два надзирателя. Учителя основных предметов должны иметь высшее образование. Все наши окончили Духовную академию. Преподавать пение, чистописание, черчение и на должность надзирателя — достаточно среднего образования.

† Отец Неофит. Иеромонах, помощник смотрителя. Человек не от мира сего, всегда углубленный в себя, молитвенник, аскет. Сережа у него проходил Священную историю в первом классе и во втором (1910–1912). Имел на Сережу большое влияние. Думаю, они беседовали и вне класса. В декабре 1912 г. о. Неофит уехал из Скопина — был назначен смотрителем Духовного училища в Архангельске. Сережа переписывался с ним. Я в его письме впервые увидел принятый у монахов и других обычай в начале письма ставить крестик. И в добрую память об отце Неофите начинаю здесь этим знаком широты духовной жизни. Сережа делился с папой своими беседами с о. Неофитом и показывал ему письма. Но это общение было в стороне от меня: у Сережи пробуждалась мысль, а у меня еще детство.

О. Неофит погиб, в припадке безумия выбросившись из окна. Было это в Архангельске 9-го апреля 1914 г., чрез 12 дней после смерти Сережи. А чрез 55 лет Алексей Лонгинов пытался найти это здание, но никто не мог указать, где оно. Позже нашел. <...>

Отец Павел, Павел Михайлович Попов — сын полуграмотного «пономаря». Старший чуть ли не из шести детей, он в школе показал себя очень способным мальчиком и был принят в Духовное училище на казенный счет. Окончив семинарию, стал священником в селе. Но не удовлетворила его участь бесправного, придавленного приходского священника. Он сдал приемные экзамены и поступил в Духовную академию. Думаю, прямо после Академии приехал в Скопин на смену о. Неофиту. Вероятно, с декабря 1912 г. он — помощник смотрителя СДУ. Преподавал Священную историю в первом и втором классах. По воскресеньям и праздникам служил всенощную и обедню в училищной церкви. На нем же лежала и основная административная (увы! воспитательной-то не было!) работа с учениками в течение всего дня и ночи, и прежде всего — по общежитию.

У помощника смотрителя казенная квартира в здании училища, первый этаж. Приехал о. Павел с дочкой — Зина — моя ровесница. Училась в гимназии вместе с Катей, бывала у нас в доме, в саду.

Я с первого класса после о. Неофита его ученик. Поразил он нас необычным для наших мест костюмом: под рясой у него брюки навыпуск и башмаки, а у нас духовенство носило сапоги особого покроя и порты забирало в голенища. Волосы у о. Павла подстрижены как у дьякона. На службе он возглашал:

— и во веки векооууу! — вероятно на украинский манер: он родом из губернии с примесью украинского населения (Курская, Воронежская, Харьковская?). <...>

Не любил он своего преподавательского дела, не любил он учеников. И все это чувствовали и платили ему тем же. Не глупый был человек, но не сумел найти в жизни своего призвания. Папа объяснял это ленью. У нас бытовало представление о «хохлах» как очень ленивых людях, типа Пацюка у Гоголя. Когда в 1918 г. закрыли ДУ и на его базе устроили школу второй ступени, о. Павел остался учителем психологии. Ходил еще в рясе, с академическим значком. Скука на его уроках. Вместо объяснения, рассказа, лекции, после краткого указания темы заявлял: «Профессор Челпанов говорит...» и читал по учебнику.

Печальна судьба о. Павла. Учителя уговорили его снять сан, ибо понимали — как священник он только благодаря директору Рыкову держится в школе. Снял сан, т.е. отказался от сана священника, уехал Рыков, и его все равно выгнали. Тяжело переживал посыпавшиеся невзгоды, считал их возмездием за отказ от сана. Совсем упал духом, опустился. В начале 20-х годов он сторож в детском саду в доме И.М. Федотьева. Там был пожар, говорили — по его вине... Помню его в 20-е годы: прямой и стройный, он медленно ходил по городу весь в лохмотьях...

С ним все время жили дочь и жена. Жена никогда и нигде не служила. Зина работала в библиотеке. Тяжелая жизнь в тяжелой и материально, и морально обстановке. Входит она, заведующая библиотекой поднимает нос: «Что-то ладаном запахло!»... Зина — хороший работник, любит свое дело и любима читателями. Знает весь город и всех во всех деталях — и внешних, и внутренних. <...>

Иван Михайлович Федотьев — учитель русского языка. Уже пожилой, в наше время лет за 50. Вера Белицер говорит, что он «значительно старше» ее отца, родившегося в 1871 г. Ходил И.М. всегда в форме — черное, малиновый кант, темные бархатные петлицы, ясные белые пуговицы. <...> Ученики любили И.М. Добродушный, он ко всем относился любовно. «Н-н-ны, н-н-ны...» — начинал и перемежал он свою неторопливую речь глуховатым голосом. Объясняя, любил стоять прислонившись к стенке между двух окон. Получалось — около моей парты. Лонгинов говорит: И.М. был глухой, по крайней мере последний год он почти не слышал. А я не замечал этого.

И.М. — лучший среди всех наших учителей. Преподавал умело, все писали грамотно, постепенно втягиваясь, хорошо писали изложения и сочинения. Слишком заметна была разница с женской гимназией: там девочки и писали неграмотно, и «сочинять» не умели. И вот всегда так на свете: всякий раз, когда приезжал ревизор, замечания записывали лучшему учителю. Пользуясь его добродушием, смотритель без зазрения совести отдавал его на съедение.

И.М. хорошо относился ко мне, всегда хвалил в разговорах с папой; однажды подарил мне какую-то грамматику, прислав ее с папой. Очень она ему самому нравилась и считал ее для меня полезной, вероятно, предполагал, что я старательно учу по учебнику и потому успеваю. Но грешный человек: отдал я ее в переплет Асманову и берег не открывая, как не любил открывать и свой обязательный учебник, — язык и грамотность давались мне как-то без усилий с моей стороны. <...>

Я писал без ошибок чуть ли не с первого класса, изложения и сочинения давались успешно, даже любил «сочинять». И.М. меня почти не спрашивал. Но вот однажды потребовал подсказать не ответившему соседу. Оказалось — таблицы коренных слов я не знаю. Пол-урока не спеша отчитывал: «Ннны! Н-н-ны! Примерный ученик...». Стоял я как дурень и выслушивал одно и то же без конца. Было неловко, но злобы против И.М. не было. Таблицу коренных слов полагалось знать назубок, как таблицу умножения. В таблице слова, в корне которых звук «е» передается буквой «ять».

Весной 1916 г. мы закончили училище. А 31 декабря 1916 г. И.М. умер.

Иван Михалыч жил вдвоем с женой. Детей у них не было. Имел два совсем одинаковых домика на Дровяной улице, близко от нашего. Большой сад одной стороной выходил на Садовую улицу. И.М. любитель садоводства. У него папа брал малину «Мальборо» для посадок у себя. Была и пчела. Был и фотоаппарат, деревянный, большой — 13 × 18. 28 мая 1909 г. он у себя в саду сфотографировал папу, усадив его на самом солнцепеке. А папа любил побывать у него в саду, посмотреть, побеседовать. <...>

После смерти И.М. одинокая вдова Людмила Васильевна осталась владелицей двух домов. Сама в большом, маленький снимал их близкий знакомый Громов, помощник казначея. В первые годы революции большой дом отобрали; в 20-е годы в нем был детский сад. А маленький отнял Громов, сумел, подлец, перевести на себя и оттягать. Вдова очень бедствовала. Николай Васильич Белицер, близкий Федотьевым знакомый, присылал ей посылки из Касимова. Уехала из Скопина к родственникам. Куда? И.М. бывал в селе Урусово Раненбургского уезда. Его родная сестра, похожая на него, была женой священника этого села о. Сергея Зорина. Было у них 9 сыновей. Все музыкальны, все басы. Василий учился в Рязани вместе с Лонгиновым и Арсением Тихомировым. Врач, вернулся с войны и был отправлен в концлагерь, в Воркуту, там погиб. Михаил, тоже врач, пережил всех, хотя сажали и отправляли в ссылку четыре раза. Умер 79 лет в начале 1971 г., жил в Фирсановке, пел в церковном хору, «профундо». Вдова о. Сергея жила в Москве или около с сыновьями.

В 1914–1916 гг. у нас в Скопине все были твердо уверены в победе над Германией. Нас поразило как нелепость, когда дядя Паша в 1916 г. рассказывал о планах эвакуации из Екатеринослава семинарии в случае захвата города противником. Один И.М. был уверен в победе Германии: ясно видел всю гниль государственности на Руси.

Александр Николаевич Богородицкий[3] в Рязанской духовной семинарии учился вместе с Николаем Васильевичем Белицером (1871–1936), значит, год его рождения около 1871, и, с нашей точки зрения, был он человек пожилой. Ходил всегда в форме. Жена Марья Ивановна — учительница арифметики в младших классах гимназии. Бездетные. <...>

[3] Окончил Казанскую духовную академию в 1895; в 1895–1896 — учитель Костромского духовного училища; с 1896 — учитель СДУ.

А.Н. преподавал арифметику, природоведение и географию. У него я проходил в первом классе физическую географию, во втором — четыре страны света, в третьем — Европа. Умелый был педагог. Требовал знания, сообразительности, но не мертвого бездумного зазубривания.

«Посмотри на святую икону и скажи мне: вот на окне много мух, и маленькие, и большие. Что это — мамы и детки?» — отвлекал внимание от учебника и учебной обстановки и задавал вопрос, требующий и знания, и обдумывания. Но не всем ребятам это нравилось. Добросовестно выучил, все помнит, но на так поставленный вопрос в книге ответа не написано. Видели в этом проявление ехидства учителя. А Алеша Лонгинов — «классовый» подход к ученикам. <...> В училище было много таблиц и картин по природоведению, по географии, по истории. Но узнал я это лишь в школе второй ступени, когда их развесили в классах — Рыков сказал: зачем им лежать без пользы? А.Н. на урок их не приносил. Впрочем, по истории та же история. Единственная демонстрация — микроскоп: показывал, клал препарат, ученики по очереди подходили, смотрели. Помню рассказы Сережи и его восторг. И как меня радовало — со временем и я увижу. Но не тут-то было! Начиная с нашего класса А.Н. объявил — сломался! И моя первая встреча с микроскопом оказалась отложенной до физического практикума в университете.

У меня никогда не было хорошей памяти. Не удерживалось в голове то, что не обдумано, не понято. Тяжело давались языки, заучивание наизусть сведений типа таблицы коренных слов или катехизиса на уроках Доброхотова, даже стихотворений. И мне очень по душе были уроки А.Н.: требовал знать содержание, а не текст страниц учебника. Да и самые предметы Б. я любил. Арифметика давалась легко, решение задач переживалось как своеобразная игра в одиночку. В игре, напр., в шашки могут увлечь два момента: первый — желание оказаться выше противника, побить его, победить; второй — игра ума, разобраться в положении и найти разумный ход. Вот это второе я и видел в задачах по арифметике.

Природоведение — уроки без картин, таблиц, опытов. Но и без этих стимулов меня очень интересовали все сведения о мертвой и живой природе. Любил я рассматривать звездное небо, совсем особые переживания. По физической географии требовалось знать Большую медведицу и Полярную звезду. Но я знал много созвездий летнего вечера. Пособие — карты в старых сытинских календарях (их дедушка покупал каждый год и сохранял, их привезли из Журавинки), но больше книга Чижова «Тайны и чудеса Божьего мира»[4] — чудесная книга, много раз жалел, что не сохранил. И теперь возможность видеть звездное небо — одно из очарований сада в Покровке.

География — любил я путешествовать по белому свету. Для меня во втором классе купили новое издание учебника — приложена история открытия и исследований стран света. Хотя это не задавалось как урок, я основательно проштудировал, следил по карте. Да и без чтения часто рассматривал карту, любил — чтоб висела предо мной, и хорошо знал очертания материков, моря, горы, реки... еще до уроков. <...> У Богородицкого мы учили *географию.* А в четвертом классе у Романова требовалось знать *тексты учебника* по географии России.

Одно из доставивших мне много удовольствия заданий по географии — вычертить карту. За четыре года полагалась одна. Продажных контурных карт тогда не было. Еще когда чертил Сережа, я наблюдал с большим интересом. Начертил я рамку, параллели, меридианы совсем как на картах в учебнике. Рисовать не умел и не умею. Карту Азии перенес шаг за шагом по сетке... Получилось хоть куда, лишь Аравия почему-то шире, чем надо (вот до сих пор помню!). Пятерка. Конкурентом со мной выступил А. Суханов — принес совсем художественное произведение: меридианы и параллели представлены как мольберт художника, на месте картины — карта. Я догадался — творчество старших сестер. <...>

Богородицкий — «воспитатель» нашего класса. В училище было обычаем: ленится мальчик, учится плохо, — учитель говорит ему — пастухом будешь! Говорил и Б. Пастух — последний человек

[4] Тайны и чудеса Божьего мира: Земля и небо: Рассказы о разных странах, о земном шаре, о солнце и луне, о звездах и планетах / сост. Е. Чижов. М., 1896 (были многочисленные переиздания).

в селе, мужик, не способный вести свое крестьянское хозяйство, ленивый к повседневной мужицкой работе. Но вот ноябрь 1971 г.: в селе Хатунь пастух получает 300 рублей в месяц. А младший научный сотрудник в музее Москвы, значит, способный человек с высшим образованием — 69 рублей. Актриса обязана дать 28 спектаклей в месяц, зарплата 85 рублей. Руководительница в детском саду 65 рублей, уборщица 60 рублей. Пожалуй, в новых условиях аргумент совсем потерял силу. Переоценка ценностей!

С осени 1918 г. А.Н. Богородицкий начал преподавать математику в младших классах школы второй ступени.

18 января 1971 г.

Иван Алексеевич Суханов[5], священник из Собора, преподавал чистописание и черчение. Оба предмета только в первом классе. Не давалось мне чистописание. Писал-то я чисто, и тетрадка чистая, но секрета владения пером, нажима, я не уразумел и твердости руки при медленном писании не выработал. Были четверки, да и то, вероятно, больше за чистоту. Впрочем, не считал я эти уроки делом серьезным и писал по обязанности, без всякого интереса. Количества не требовалось, и я за год успел исписать не более полутора тетрадок. Зато черчение мне нравилось и удавалось. Скоро о. Иван это заметил и стал эксплуатировать. Урок протекал так. Учитель приносил с собой большой циркуль, линейку, угольник и вычерчивал с пояснениями фигуру на доске. Ученики перечерчивали на четвертушках слоновой бумаги. И вот о. Иван вычерчивание на доске стал поручать мне. Чертили мы те же фигуры, как и Сережа. Сережа собрал и переплел свои, альбом сохранился. <...>

О. Иван по возрасту старше папы. Имел свой дом близ училища на Мяснорядской улице, теперь улица Лермонтова, дом № 7. Сад на краю оврага, склон к северу. Три дочери — Юлия, Нина, Наталья и моложе их два сына — Александр (1902) и Петр. Юлия вышла замуж, в 20-х годах жила в Рязани. Нина — талантливая девушка, художница, умерла от чахотки рано, лет восемнадцати. Наташа и теперь в Скопине в отцовском доме, умерла в 1975 г. Александр

[5] Окончил Рязанскую духовную семинарию в 1889; в 1889 учитель Татищевской земской школы; с 1890 — священник; учитель СДУ с 1899.

учился в одном классе со мной. Петр — на два класса моложе, во второй ступени учился вместе с Катей.

Около 1923 г. власти закрыли Собор под обычным тогда и позже предлогом — опасность обвала (!?!). Собор построен в первой половине XIX в. хорошим архитектором и, по словам дяди Паши, мог служить украшением любого губернского города, а Скопина и подавно. Соборной церковью стала Пятница. Сюда и устроили Суханова. Здесь он служил до закрытия церкви после 1934 г. В 30-е годы власти закрыли в городе церкви все, осталась лишь небольшая на кладбище. О. Иван без места и без средств. Секретно отправлял некоторые требы у себя на дому. Умер 16 марта 1952 г. Похоронили около кладбищенской церкви, к югу, в одной железной ограде могилы трех иереев. Бываю в Скопине — захожу на эту могилу. Мое последнее свидание с ним — на похоронах тети (1934).

Папа знаком со всей семьей Сухановых. Я совсем не знал жены и дочерей. Александр умер в 40-х годах. Петр в Москве, странный, опустившийся человек, одинокий — жена умерла несколько лет назад; без средств; говорят, что помогают знатные земляки — композитор Новиков[6], профессор геодезист Соловьев (Петр Суханов умер 31 декабря 1973 г.)

20 января 1971 г.

Сергей Владимирович Троицкий появился в Скопине, вероятно, по окончании семинарии. Начал работу псаломщиком о. Василия Чельцова у Пятницы. <...> Обучал преимущественно по цифровой системе, за четыре года мы так и не научились сколько-либо бегло читать ноты. Не познакомились мы и с элементами теории. Обучение велось на уровне начальной школы: заучивали напевы на слух, для памяти — цифры. Все проходившееся записывали в тетрадках. Был у нас и «Учебный обиход нотного пения», он цел, переплет потрепан — немало носили на уроки, а страницы чистенькие, пометок мало, хотя у Сережи три года и у меня четыре.

Мысленно, про себя, я хорошо знал все гласы, замечал фальшь у других, петь полным голосом из-за болезненной застенчивости

[6] Анатолий Григорьевич Новиков (1896–1984), родился в Скопине, автор, в частности, многих известных песен (например, «Дороги», 1945).

всегда не решался. Впрочем, дома у нас никто не пел, и понятно — сколько-либо развитого слуха у меня не было. А любил петь, хоть и не пел. Из церковного особенно любил глас пятый: «Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим! / Ангельский собор удивися, / зря Тебе в мертвых вменившася...». Вероятно, на первом уроке С.В. спросил, кто знает воскресный тропарь пятого гласа. Надо было пропеть. Я знал, хотелось поднять руку, но не преодолел застенчивости. Вызвался Васька Нарциссов.

С осени 1918 г. Сергей Владимирыч на советской работе. Заведовал биржей труда, был председателем укома (уездный комитет) профсоюза, уже не помню — быть может, объединения всех профсоюзных укомов, именовавшегося тогда «союз союзов». Учился на курсах бухгалтерии вместе с Доброхотовым и Ваней Фадеевым. Потерял работоспособность, долго лежал в постели больной, вернулся к проповедничеству. Многие приходили к нему в поисках религиозного утешения. Жил только их помощью. Умер 4 мая (21 апреля) 1928 г.

20 января 1971 г. (Кое-где я поставил даты написания.
Перепечатываю в декабре 1971 — январе 1972.
За это время перечитывал рукопись и добавлял.
Отсюда видимая неувязка дат. 16 января 1972 г.)

«Латыш» и «Грек» — так называли ученики учителей латинского и греческого языков. До января 1913 г. оба языка преподавал и оба звания совмещал Владимир Константиныч Черкасов, по прозвищу «морж»: усы опускались вниз закрывая рот, как у моржа. Сережа у него учился латыни во втором классе (1911) и первое полугодие третьего — до 1913 г., греческому — только полгода третьего класса. С января 1913 г. его сменили два учителя — «грек» Романов и «латыш» Григорий Арсеньич Соколов, оба только что вместе окончившие академию, значит, лет этак 25. А. Лонгинов рассказывает: Арсений Соколов[7] был священником в его родном селе

[7] По сведениям, указанным в послужных списках сотрудников СДУ (Рязанские епархиальные ведомости. 1900. № 19), Арсений Соколов окончил Санкт-Петербургскую духовную академию в 1884; с 1884 по 1888 учитель Мстиславского духовного училища; с 1888 по 1894 — учитель Касимовского духовного училища; с 1894 помощник смотрителя СДУ.

Поднаволок. Передал свое место дочери <т.е. зятю>, а сам поступил на должность помощника смотрителя СДУ. Был одновременно «членом-секретарем», проще сказать, делопроизводителем, Скопинского уездного отделения по церковно-приходским школам. У папы сохранилась подписанная им справка от 31 августа 1900 г. о назначении законоучителем.

Кстати, зять Соколова священник Борецкий служил в Поднаволоке до закрытия церкви. Умер в Архангельской области от брюшного тифа. Туда попал не по своей доброй воле. Около 30-го года Скопинский уезд относился к Тульской области. Крупская проверяла работу судов в Туле, и Борецкий был оправдан. Он — крестный отец Алексея Лонгинова и Николая Гришкина. <...>

Учился я у Соколова один год — второй класс (1913–1914). Сережа — с января 1913 г. до своей болезни. <...> Вначале у меня и у других ребят был чисто детский интерес: открывалась возможность обычное, столь привычное и всем понятное выразить в иных словах — новых и не всем доступных. Это детское сохраняется у некоторых на всю жизнь. <...> Как латинисты у нас в классе позже выделились Ваня Фадеев и Ретюнский. У меня детский интерес быстро прошел, и науку сию воспринимал как дело неизбежное, но тяжелое и несерьезное. <...> Не знаю, почему и куда Гриша уехал. Но с осени 1914 г. у нас новый «латыш» — Вячеслав Федорович Зыков, вероятно, тоже только что окончивший Академию. Небольшого роста, худой, коротко остриженный брюнет, в очках, с усиками. Одинокий и беспомощный в жизни человек. <...> Работал старательно, даже с увлечением, но... жалко его было. Кажется, он преподавал нам и церковную и гражданскую историю, но этих уроков я совсем не помню.

В 1918 г. В.Ф. остался в новой школе, преподавал латынь. Понятно, не мог заинтересовать ею, особенно гимназисток: все укорял Катю ее «примерным братом»... Годы войны 1941–1945 застали Зыкова учителем начальной школы в деревне Стрелецкая Дубрава, близ Павельца, известной у нас под старинным именем Вонючка, измененным еще до революции. В последние годы войны Вячеслав Федорович погиб от голода. <...>

Александр Яклич Романов — «грек», с января 1913 г. Совсем молодой человек, лет 25, только что вместе с Г.А. Соколовым окончил

Академию. Женат, но детей еще не было. Жил на квартире рядом с нами, в угловой части дома Стахия Полянского. <...> Сережа учился у Романова во втором полугодии третьего класса и начале четвертого, до болезни, 1913. Помню своеобразный округлый четкий почерк Романова и отметки в Сережиных тетрадях яркими красными чернилами — они, чернила, нам так нравились. Я прошел у Романова весь двухлетний курс сего столь важного предмета.

Стригся Романов наголо и... сухой был человек, большой формалист. И это особенно наглядно было на уроках географии. Дома в свободное время он увлекался решением арифметических задач, не думал ли перейти на преподавание арифметики? Да! Как посчитаешь теперь, свободного времени у молодого человека много было. В неделю на класс не более четырех уроков греческого, не больше трех уроков географии. Значит, за полную ставку в неделю около 10 часов. А теперь обязательно 18 часов, да разные прочие нагрузки вплоть до мытья полов в качестве воспитательной работы. А в вузе — 6 часов в день, не считая подготовки к занятиям. И зарплата несравнимо ниже.

Романов уехал в Сибирь, вероятно еще до закрытия ДУ.

19 января 1971 г.

<...> Гимнастику как обязательное занятие ввели, когда я учился в ДУ. Занимались раз в неделю в западной половине церкви. <...> Преподавал офицер Зарайского полка, стоявшего в Скопине, поручик Павел Павлович Слицкоухов. Его брат тоже был офицером Зарайского полка. Приехала с двумя детьми и его овдовевшая сестра. Семья бедствовала. Сестра сняла верх дома Филипповых на углу Садовой и Дровяной, сдавала комнаты одиноким, держала нахлебников. Сын Федя учился в реальном, за невзнос платы был уволен, перешел в Духовное — бесплатно! Успел до осени 1918 г. окончить первый класс РДС. Дочь, Леля Камышан, — близкая подруга Кати, училась в одном с нею классе, с осени 1918 — в Первой школе второй ступени — бывшем реальном. Очень живая, шаловливая и умная девочка. В 20-е годы семьи в Скопине уже не было, судьба ее неизвестна. <...>

Самая комичная личность среди учителей — смотритель училища Николай Семеныч Доброхотов. Да! да! именно комичная.

Занял он свою должность начальника училища еще в 90-х годах, примерно в 1891 г. В наше время он жил в здании училища с женой, детей у них не было. Кухня для его квартиры сделана ниже, в полуподвальном этаже. Неудобно. И он отгородил себе под кухню угол большой спальни общежития, против своей квартиры, изуродовав палату. Он и жена любили хозяйничать. В нижнем этаже пристройки, в южной части, где папа когда-то сидел в приготовительном классе, у Н.С. был курятник. По северу двора — сараи, коровник. <...> Молоком жена торговала в вестибюле, ученики брали стаканами, кружками, приплачивая смотрительше лишнюю монету против других торговок. Совсем близко от училища, чрез дорогу, Н.С. имел собственный дом, кирпичный, двухэтажный. В верхнем — квартиранты. Нижний снимала Федосья, пускавшая к себе учеников ДУ — стол и койка. <...> При собственном доме — небольшой сад. <...>

Грубый он человек. Очень возмущала Липеца надпись «Не хлопай дверью», Н.С. поместил ее над дверью черной лестницы близ своей квартиры. Почему не «не хлопайте...», — спрашивал Липец. <...>

Однажды во время урока вошел он к нам в класс, все замолкло, вызвал меня за дверь и в коридоре, устремив на меня сверху вниз сквозь очки взор, грубо и напористо приказал: «Скажи отцу, чтобы он завтра пришел в 7 часов!» Я невольно повторил: «Завтра в 7 вечера?» — «Вечера? Нет! Утра! Утра! Ты что?..» — и дальше мне досталось. А ведь повторить приказ для точности необходимо. В армии, где многословие не у места, это даже требуется дисциплиной... <...> Заседание правления или отделения. Годовой отчет. Почему-то полагалось — отчет составляет председатель (быть может, только дает основные моменты?). Но это дело не по силам Н.С. Собирал членов; с 6 до 11 шла ругань, и так — много вечеров. Не знаю, как из ругани и злобы составлялся отчет. Уразумев дело, папа по отделению сам писал и на собрание приносил «проект». На отчет стал требоваться лишь один вечер.

Однажды приехал из села иерей навестить сына-ученика, встретил на дворе Н.С., возившегося в коровнике и одетого соответственно. — «Служитель, как пройти к смотрителю?» — Тут же досталось ему за служителя! Чрез несколько лет история повторилась. Уже школа второй ступени. Директор П.С. Рыков работал с учениками в палисаднике, сажали цветы. Тоже иерей, но другой, отец одного из учеников, вопрошает его: «Служитель, где можно увидеть директора?» — «Пожалуйста, по коридору дверь направо. Входите и подождите: он сейчас придет». — Вымыл руки, поправил одежду и вошел: «Что вам угодно?» — Иерей был поражен...

В 1917 г. из Режицы в Скопин эвакуировали мужскую гимназию: ученики старших классов, учителя, директор Павел Сергеевич Рыков — ученый археолог, волевой человек, прекрасный организатор, выдающийся оратор. С сентября 1918 г. в здании ДУ начала занятия Вторая скопинская единая трудовая школа второй ступени — четыре старших класса средней школы. Ученики — остатки гимназистов из Режицы, ребята, только что окончившие четыре класса ДУ, семинаристы — бывшие ученики ДУ, часть скопинских гимназисток — в основном из параллельных классов и разные случайные. Уже летом 1918 г. в здании ДУ хозяйничал Рыков. Вероятно, папа участвовал в процедуре передачи, с Рыковым у него установились близкие отношения, были откровенные разговоры. Рыков сообщил папе, что ему удалось оставить в новой школе всех учителей ДУ, даже П.М. Попова, носившего тогда рясу. Но не Доброхотова. И рассказал такую историю для доказательства его непригодности к работе с молодежью. Учителя стояли группой в коридоре, некоторые в фуражках. Вошел Рыков, Н.С. мгновенно, воровским движением скинул фуражку... <...> Не потребовались новой школе учитель чистописания и черчения Суханов, учитель пения Троицкий и оба надзирателя — таковых теперь уже не полагалось.

Остался Н.С. без места, значит, на старости лет без куска хлеба. Ибо если были сбережения, то в первые же дни советской власти все вклады в банках и сберегательных кассах у всего населения конфискованы. Наличные деньги очень быстро обесценивались. Печатный станок работал без отказа. «Керенки» — маленькие бумажки в 30 и 40 рублей — стали выпускать большими, как газета, холстами, не разрезая... Доброхотов, Троицкий, Ваня Фадеев позже поступили на курсы бухгалтерии. Ваня не одолел мудрости. А Николая Семеныча Арсений видел счетоводом в гостинице. Умер в Скопине 17 марта 1923 г. ст. ст., думаю — лет 60-ти, 65-ти. <...>

Он преподавал Катехизис и Церковный Устав в 3 и 4 классах. Первые рассказы Сережи о его уроках — с осени 1912 г. Особенно

запомнились тогда часто повторявшиеся Сережей и поражавшие меня своей необычностью его слова — «мораки фали», как мне неточно слышалось от Сережи. Н.С. на уроках обзывал учеников по-гречески «мора кефали» — глупая голова.

Мой первый урок — сентябрь 1914 г. В очках, высокий и прямой, поджарый и гибкий, задрав голову, властно влетает в класс Н.С. Дежурный читает молитву. После команда: «Сядь!» — в единственном числе. Урок начался категорическим требованием, чтобы пред каждым учеником лежал учебник, но закрытый, во время урока открывать нельзя. Дальше последовали «объяснения», сопровождаемые жестами и кривлянием такого рода, что сразу же поднялся гомерический хохот. В бешенстве бежит Н.С. усмирять в один конец класса. Там давятся, удерживают себя. А в другом конце хохот еще сильней. Все мы боялись грозного смотрителя, но от смеху просто надрывались. И так три первых урока. А потом привыкли — мечется человек по классу, кричит, кривляется, и как будто так ему и надо. Требовал, чтобы книгу учили наизусть:

— Лучше книги не скажешь!

— ...А я думал... — оправдывает свой неудачный ответ ученик.

— Ах, ты думал! Ты знаешь, кто думает? Думают индейские петухи!.. — перебивая, с напором, как командир в роте, кричит смотритель. Ругает ученика за плохие ответы — не выучил урока.

— Я учил, — пытается тот оправдаться.

— Учил! А я Царь-колокол подымал! Ухватился за край да поднимал!.. Не поднял!..

Верен себе Н.С. — лучше книги не скажешь: думающие петухи есть у Островского («Горячее сердце», действие 1, явление 6: «Наркис: ...Думают-то петухи индейские»). Не знаю, откуда Царь-колокол. Неужели все-таки сам выдумал?

Недоволен ответом ученика, кричит:

— Вались! как корова на баню — там трава хороша! — это значит: садись!

Часть церковной службы праздников называется полиелей, в переводе с греческого — «многомилостивое». Когда поют «Хвалите имя Господне», звонят в особый колокол — «полиелейный». Но все называют колокол полуелей, большинству учеников слово в такой редакции знакомо с младенчества. Доставалось же за полуелей от смотрителя! <...>

«Вспоминал я о Доброхотове», — пишет Ваня Фадеев, поздравляя с новым 1973 г. — «Если во время урока смотреть на него, он, бывало, скажет: что на меня глаза вытаращил, а если смотреть на потолок или на парту, скажет: что там написано?»

Еще одно, последнее сказанье. Носится Н.С. по классу, спрашивает Алешу Лонгинова. Тот по своему обычаю монотонно и спеша начинает сыпать старательно заученное, по-лошадиному кивая в такт головой:

— Та, та, та, та... — по обычаю слишком поспешил, ошибся, начал не из той оперы.

— Стой! Стой! — завопил Н.С., перебивая, но трудно прервать Алешу. Остановился смотритель, подогнул колени и изобразил, будто из всех сил натягивает вожжи:

— Тпррруу!.. Тпррруу! сивый мерин! Стой! — Дикий хохот: Алешу ребята прозывали «сивый мерин» за белесый цвет волос (дети не прощают отклонений от среднего!) и за дурную привычку, отвечая урок, как лошадь кивать головой.

Конечно, комедия, а не урок.

Папа считал обязательным одинаковое отношение ко всем ученикам, и его очень возмущало, что у Н.С. бывали любимчики. Обычно они ничем из среды не выделялись, и совсем не ясно, почему оказывались в фаворе. <...>

декабрь 1970 — январь 1971 г.

<...> Конечно, при таком руководителе о какой-либо воспитательной работе говорить не приходится. Ее совсем не было. Надзиратели выполняли только полицейские функции — следили за тем, что считалось «порядком», одергивали, распекали. Около времени моего поступления был введен институт классных воспитателей. В нашем классе — Богородицкий. За это прибавка к жалованью. <...> Разбирали доносы надзирателя и прочие жалобы. Да начиная с моего третьего класса стали бывать на вечерних занятиях — общежитные учили уроки. Просто удивительно: все наши учителя — бездетные. Только у Суханова были дети. Но он преподавал лишь в первом классе и второстепенные предметы. А главное — он не имел и не мог иметь по своему характеру никакого влияния на жизнь училища. Была одна дочка у о. Павла Попова. <...> Конечно, такому составу педагогов чужды интересы детей, чуждо и пони-

мание особенностей детской психики. Значит, и обращение с детьми и оценка их поведения не могли быть нормальны. Не давалось необходимого простора детской жизнерадостности. Наоборот, все подавлялось, невинные детские шалости не отличали от действительно серьезных проступков. Был в училище и карцер, где-то внизу. Сережа о нем много говорил. Правда, я не помню, чтобы кто-либо сидел.

А как мало нам было надо! Переживался как радостное событие, как большой праздник жалкий «вечер», устраивавшийся раз в году пред рождественскими каникулами. Помню восторги Сережи по поводу такого вечера, пока я не учился. Сам помню только один «вечер», вероятно, в первом классе. Главный руководитель Троицкий. «Сцена» в северном конце коридора, а класс в северо-западном углу — помещение для «артистов». Зрителям поставлены стулья поперек коридора. Где-то впереди — учителя. Ребята играли на балалайках, пели, что еще? Говорили наизусть стихи, басни... В антракт всем подарки — кулек с орехами, пряниками... <...>

18 января 1971 г.

Приходилось слышать и читать обвинения по адресу духовной школы, будто в ней воспитывали в духе квасного патриотизма, совсем по Победоносцеву. Но вот 1914-й год. Началась война. Подъем патриотических настроений во всей стране. Даже в Скопине было шествие, теперь бы сказали — демонстрация. Шли по улицам с царским портретом, возможно, с иконой, с национальными трехцветными флагами — белый, синий, красный. Был и я в толпе, возбужденный сознанием начавшейся войны, необычным шествием, воспринимавшимся мною как личное участие в войне. В волнении я не очень осматривался и не помню деталей. Пели гимн и «Спаси, Господи...». <...> Остановились у двухэтажного дома на Третьей Мещанской. Вышел на балкон офицер, что-то говорил, я ничего в возбуждении не слышал, да и не слушал. Помнится, это был командир полка. После передавали его речь так: «Что вы, бездельники, шляетесь по городу! Марш по домам за работу!». Конечно, не дословно, только понятый смысл. Но право, теперь не верится! Был застой, и совсем не было понятия о способах одурачивания и обмана.

И вот в обстановке стихийного патриотического подъема оказалось — мы не знаем национального гимна «Боже, царя храни»,

никогда не учили его наизусть, не умеем петь, несмотря на обилие уроков пения. Да так ни разу, никогда, ни на уроках, ни по какому-либо случаю в училище и не спели. Сейчас кажется даже диким: за все годы войны в училище ни одной беседы с учениками на тему о войне! Как будто ее и не было. Впрочем, и на другие темы никаких бесед не бывало.

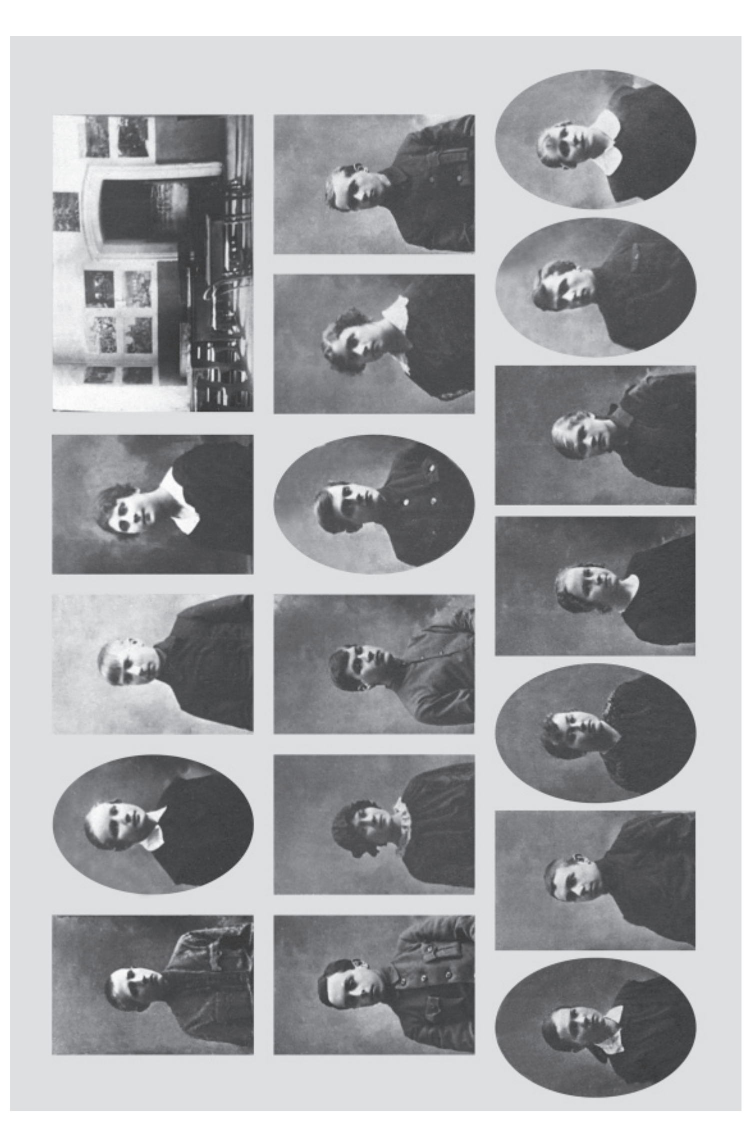
Нет, сознательного воспитания не было никакого. Как жизнь сложилась сама собой, так и влекли ее не задумываясь, формально, день за днем. Основной принцип «Довлеет дневи злоба его», а о большем и не думали.

ТОВАРИЩИ

Сегодня 23 февраля 1971 г. — день Красной армии. А 14 лет назад, 23 февраля 1957 г., вечером в дверь нашей комнаты на Зубовской постучали, и вошел могучий полковник в папахе и шинели. Разделся — светлее стало в комнате: парадный мундир, весь в золоте, орденах, медалях. Такого великолепия и блеска мы близко и не видали. Это был Арсений Тихомиров. Рассказы о пережитом — не встречались лет 30, воспоминания. Тогда же я записал о наших общих товарищах. Чрез месяц приехал из Иванова Лонгинов (31 марта 1957). Тоже вспоминали, пытались даже восстановить, кто где сидел. <...>

Двенадцать человек есть на фото выпусков 1919 и 1920 гг. школы 2-й ступени — тоже в здании СДУ. <...> Вот список всех, кто учился с нами хотя бы только один год. Цифры 1, 2, 3, 4 обозначают классы.

Андросов Александр Иванович, 1900	1 2 3 4 Л
Бессеребренников Николай	1 2 3 4
Бобров Сергей Павлович, 1901	1 2 3 4 Л
Власов Иван	1 2 3
Власов Михаил	1
Волынский	1
Гришкин Николай Михайлович	1 2 3 4
Журавлев Дмитрий Иванович, 1901	1 2 3 4 Р
Зверев Владимир	1 2 3 4 Р
Карташов	1



Фрагмент фото выпуска 1919 г. Д.И. Журавлев в верхнем левом углу

Кедров Николай Константинович	1 2 3 4 Л
Кобозев Анатолий Васильевич, 1901	1 2 3 4 Л
Константиновский Сергей	1 2 3 4 Л
Лонгинов Алексей Николаевич, 1901	1 2 3 4 Л
Мазурин Василий	1 2 3
Машков Дмитрий	
Михайлов Николай Александрович	1 2 3
Нарциссов Василий Алексеевич, 1900	1
Насонов Сергей	1 2 3 4
Нестеров Петр Михайлович, 1900	1 2 3 4
Орлов Борис Александрович	4
Парнассов Владимир Васильевич, 1901?	4
Покровский	
Ретюнский Василий	1 2 3 4
Сервилин Аркадий	4
Смарагдов Василий Егорович, 1899	1 2 3 4 Р
Суханов Александр Иванович, 1902	1 2 3 4 Л
Терёхин	1
Тихомиров Анатолий, 1902	1 2 3 4
Тихомиров Арсений Васильевич, 1902	1 2 3 4 Л
Урусов Иван Алексеевич, 1900	1 2 3 4 Р
Фадеев Иван Иванович, 1898	1 2 3 4 Л
Чермнов	1

Не знаю, все ли, окончившие в 1916 г., учились в семинарии. В Рязань в годы войны эвакуировали Литовскую семинарию из Вильны. Большинство скопинских направлены в Литовскую — буква Л в списке; меньше и я в том числе в Рязанскую — буква Р; но пометил только тех, кого помню. 13 человек из этого списка с осени 1918 г. вновь занимались в здании училища, но уже как ученики Второй Скопинской единой трудовой школы второй ступени. <...> Декрет свыше счел нужным учить детей только 8 лет: 4 года — школа первой ступени и еще 4 года — вторая ступень. Окончившие шесть классов мужских гимназий или два класса Духовной семинарии переведены в четвертый, последний класс новой школы. Окончивших шесть классов женской гимназии в Скопине почему-то перевели в третий класс школы, а в Рязани — в четвертый. Во время войны здание семинарии в Рязани было занято под госпиталь,

а занятия сокращены до четырех месяцев в году. По пройденному материалу нам следовало поступить в третий класс. Кто хотел получить образование и имел возможность, так и сделал. Кому важно было поскорее закончить, поступили в четвертый.

Список мой не заполнен: имена, годы рождения, годы совместного ученья. <…> Иль уж так решительно память фактов, лиц, речей, имен восстановить уже не может?

Но вот яркая страничка сохранилась. Первый класс. Сидим утром до молитвы или ждем на урок учителя. Я на второй парте, ряд у окна. На первой парте среднего ряда живой и веселый Арсений Тихомиров. Как все, коротко острижен, волосы топорщатся ежиком, конопатинки. За одной партой с ним — серьезный, сосредоточенный, без улыбки Алеша Лонгинов. Арсений (сидел слева) повернулся в нашу сторону и, весело смеясь, рассказывает все новые и новые истории о своих похождениях. Как хороший роман кончается веселой свадьбой героев, так события в рассказе Арсения неизменно завершаются поркой героя и смехом рассказчика.

* * *

<…> Я относился ко всем ровно, не было «врагов», не было и близких друзей, кроме Андросова. <…> После смерти Сережи приходил точно к звонку на молитву, домой старался убежать раньше других. Лишь в одну теплую весеннюю пору ходил на вечерние занятия, не знаю зачем. Это было в третьем или четвертом классе. Окно открыто. Лежал я на подоконнике — широкий, стены толстые, смотрел на просторы — Красная горка, долина Вёрды, горизонт западный вечерний… и разговаривал с кем-то, лежавшим около. Влетел Дутый и набросился. Оказалось, будто я мог упасть за окно. Долго ругал. <…> Никаких групп, кружков, хотя бы хорового, музыкального, ремесленного, объединяющих ребят за интересным делом, в училище не бывало.

Дома у нас просторный зал, всегда свободный, разве лишь иногда собирались Катины подруги. В теплые дни — терраса и сад. Было где заняться, поиграть, побегать, повеселиться большой компании ребят. Но никогда не случалось мне пригласить своих одноклассников. И лишь В. Нарциссов и Андросов при Сереже иногда заходили. А после смерти Сережи Андросов стал ходить часто; в каникулы же каждый день.

После тяжелой травмы — смерти Сережи я совсем замкнулся в себе, перестал играть с соседскими ребятами на улице, на плацу, купаться с ними в Вёрде. Кончились для меня и игры в саду — с Ивановыми, с Катиными подругами. Жизнерадостность в семью вносил Сережа. <…>

26 февраля 1971 г.

* * *

<…> Наш класс первый. А старше нас учились в 4 классе:

Преображенский Михаил из Баранова, внук дедушкиной сестры, значит, мой троюродный брат. Его отец Павел Александрыч нам близкий человек. А с Михаилом я был не знаком. Вот какая дикость с обеих сторон.

Лонгинов Петр, брат нашего Алексея. Пел на правом крылосе басом! <…> «Силач» — звал его смотритель: окапывая яблони в училищном саду, хорошо управлялся с лопатой. Позже служил на чугунке. Одно время был начальником полустанка. Орден Ленина. На пенсии жил в Скопине, свой дом. Умер в 1965 г., оставив сына, «директора трех школ», а теперь зава Скопинского районо.

Кобозев Александр Алексеевич, двоюродный брат нашего Анатолия. Позже — врач. Тяжело заболев, в 1960 г. кончил самоубийством. Работал в кремлевской больнице, был членом центральной военной врачебной комиссии — это весьма высокая должность в военном мире.

Насонов, брат нашего.

Вельмин, сын дьякона из Вослебова. Про него Лонгинов пишет: «…Был в милиции на вокзале, попал в Москву, за критику Троцкого был расстрелян». Тянет меня за руку Алеша Лонгинов: «Поди, поди! Что покажу!», подвел к двери четвертого класса: «Смотри, какой страшный!» — показал на Вельмина, а тот брюнет, на мой взгляд — красивый.

Третий класс, в нем братья: мой, Нарциссова, Кобозева, Бессребренникова, Нестерова…

В 1915–1916 гг. наш класс четвертый. Моложе нас — из третьего узнал позже только тех, кто учился со мной во второй ступени. Из второго знал братьев наших — Серафим Тихомиров, Петр Суханов, Василий Бобров, по второй ступени еще нескольких, учившихся с Катей.

* * *

Начну с группы сидевших, быть может, в разные годы, в ряду у окна. Смарагдов Василий Егорыч, 1899 г. Из с. Боршевого, сирота, воспитывала сестра, учился на казенном. Среднего роста, русый, круглоликий, весь в конопатинах, он напоминал кота-ваську не только именем, но и способностью приласкаться. Учился хорошо — на «4» и «5». После двух лет Рязанской семинарии опять в здании СДУ — четвертый класс 2-й ступени. Весной 1919 г. ходил уже в военной форме — Красная армия. <...> Дальше — фронт гражданской войны. По сведениям Фадеева — погиб.

Зверев Владимир, из с. Александрова, тоже на казенном. <...>

Кедров Николай Константиныч. Сын священника из с. Зезюлина, племянник о. Ивана Иваныча Кедрова. А сей последний — иерей церкви Николы в Скопине, муж начальницы гимназии. Сдержанный, воспитанный мальчик, учился хорошо. <...> Как и все мы, до осени 1918 г. успел закончить два класса семинарии — Литовской, и 1918–1919 гг. вместе с Арсением Тихомировым, Константиновским и С.М. Лаговым в 4-м классе 2-й ступени в Ряжске. Погиб от тифа в 1919 г.

Константиновский Сергей, приятный мальчик, маленького роста, с миловидным лицом. Было впечатление, будто он много моложе меня. Два класса Литовской семинарии и в 1918–1919 гг. 4-й класс 2-й ступени в Ряжске. Не вернулся с пасхальных каникул (Пасха в 1919 г. 20 апреля н. ст.): сыпной тиф и смерть.

Гришкин Николай Михалыч — тихий, скромный мальчик, болезненно худой и слабый. Единственный ребенок церковного сторожа в Соборе. Жил с отцом в сторожке. Матери, вероятно, уже не было — умерла рано. Семья из с. Поднаволок. Летом жил у дядей, известных в селе как воры по садам. Один из них некоторое время служил в полиции в Москве, и это не помешало ему стать членом партии. Младший имел кличку «жандарм» — за грубость и воровство. Был и дед. После революции он продал все, включая яблони и ветлу пред домом, тем самым озлобив против себя семейных, и на лошади отправился в Сибирь, проехал Волгу и — смерть. <...> Николай закончил два класса семинарии и в 1918–1919 гг. нашу школу 2-й ступени. Сразу же вместе с Лонгиновым весной 1919 г. поступил в контору на Побединке. Это 6 километров от места жительства. Пешком ежедневно туда и обратно. Потом его перевели на 18-ю шахту между Победное и Чулково, добавив еще 4 км. Вскоре сгорела половина села и Гришкин в том числе — все крыто соломой. Шахта мало помогла погорельцам. Николай женился на сельской девушке, без образования. Имел двух дочерей. Одна из них позже — учительница в родном селе. В 1922 г. Николай пел в церковном хоре. А чрез два года вступил в партию, хотя ему и вспомнили духовное училище и семинарию. Лонгинов, письмо которого от 2 апреля 1971 г. я здесь излагаю, по настоянию своей матери видел его осенью 1927 г. — Лонгиновы и он односельчане. <...> Смерть от чахотки в 30-е годы.

6 апреля 1971 г.

* * *

<...> Возможно, что Михайлов Николай Александрыч тоже отстал от нас на один год: в школе второй ступени он учился со мной, а он не из тех, кому хотелось бы заниматься лишний год. Николай — сын псаломщика из Вослебова. После революции его отец перешел на советскую работу, в годы НЭПа и позже был в Скопине начальником уголовного розыска. Человек нашел свое призвание — талантливый сыщик, раскрывал все преступления. Николай, учась в школе второй ступени в одном классе со мной, одновременно работал в ВЧК. Помню, когда я учился в педтехникуме, он ездил по селам уезда, сжигал церковные библиотеки. В 1921 г. Катя, я и он вместе ездили поступать в вуз и вместе ходили в Москве по институтам. Он не поступил, но не позже 1922 г. оказался в Москве, работал комендантом чего-то, поддерживал отношения с Александром Парнассовым (Авдеевым). Погиб в годы войны под Питером.

Окончили вместе с нами переведшиеся откуда-то:

Орлов Борис Александрыч, сын священника из с. Кумина, папина товарища по РДС. По сведениям Лонгинова — погиб от испанки, значит, в 1919 г.

Парнассов Владимир Васильич, 1901, сын сельского священника. Учился с нами один год. В 1919 г. окончил нашу школу второй ступени, и с тех пор в армии. Теперь — генерал. Со мной в этой же школе два года (1918–1920) учился его старший брат Александр (1899 г.), позже принявший фамилию жены — Авдеев, приятель поныне, он в Москве.

Анатолий Матвеич Кобозев, 1901, сын священника с. Журавинки, Лопатино тож. Об этой семье я не раз поминал. Толя был хорошим хозяином и во всяких сельских делах знал толк и умел. <...> После двух классов Литовской семинарии — два года в школе второй ступени в одном классе со мной. Некоторое время жил у нас в зале. В 1920 г. весной вместе с другими моими товарищами мобилизован в армию. Позже был учителем в селе.

Петр Матвеич Нестеров, 1900, сын дьякона того же села, поступившего на место дедушки Дмитрия Федоровича. Симпатичный жизнерадостный паренек. Поступал в первый класс еще в 1911 г., но провалился по арифметике. Все, что я знаю о семье Нестеровых, сообщила мне А.В. Кобозева в 1963 г. Тогда старуха дьяконица жила в с. Александрове, откуда Нестеровы переселились в 1910 г. в Журавинку. <...> Наш товарищ Петр убит на фронте в 1942 г. После двух лет семинарии Петя один год пробыл в нашей школе второй ступени. Окончил в 1919 г. Под псевдонимом «Пьер» он писал стихи в школьном журнале 1918–1920 гг. Номера этого журнала у нас сохранились.

* * *

Вот еще группа. Никого из них не видел я после 1920 г., иных — после 1918, быть может, даже 1916.

Урусов Иван Алексеевич, 1900, сын псаломщика в с. Чурики. Отцы Урусова и Лонгинова учились в ДУ вместе. Высокого роста, красивый брюнет, миролюбивый и ласковый с товарищами. Старательный, поразительного трудолюбия ученик. <...> Первый класс окончил вторым учеником, второй класс первым. <...> Я считал его умным парнем и удивлялся полному отсутствию интереса к содержанию того, что он так старательно заучивал. В Рязани я читал научно-популярные книжки, хотелось поговорить о прочитанном. Разговорился как-то с ним — он тоже был в Рязанской семинарии. Был он удивлен: «Да что ты?! Брось все это!..» — и, рекомендуя мне, стал живописать удовольствие от вечеров: танцы, «вальс, сладострастье»... Говорил искренно, с увлечением.

С 1918 г. Урусов исчез с моего горизонта. Лонгинов говорит, что в 1918 г. Урусов поступил в школу второй ступени вместе с ним, но не смог устроиться с квартирой и уехал. Слышал, будто он окончил торфяной институт и работал инженером где-то на торфах подле Иванова, достоверно ли? В 20-х годах торфяного института в Москве еще не было.

Тихомиров Анатолий, 1902, сын псаломщика из с. Лужки, в 12 км от ст. Клекотни. Семья бедна до крайности. Небольшого роста, очень тихий и незаметный на уроках. В четвертом классе был псаломщиком училищной церкви. Говорили — около 1929 г. он был дьяконом в своем селе. <...>

Суханов Александр Иваныч, 1902, сын нашего учителя, соборного священника. Чувствовалось — набалованный в семье мальчик; три старшие сестры, вероятно, его на руках носили... По успехам прочный середняк. Один год в Литовской семинарии. Осенью 1917 г. перешел в 5-й класс Режицкой гимназии, только что появившейся в Скопине. Школу окончил со мной в 1920 г. <...> Сумел поступить в Московский путейский институт. Окончил. Работал в Москве. Умер в 40-х годах после войны. Жил в строжайшей конспирации от Скопина и скопинских. Когда на похоронах тети в июне 1934 г. папа и я спросили у о. Ивана о судьбе сына, он замахал руками и прервал нас. Потом шепотом сообщил: он в Москве, на очень секретной работе, о нем и говорить вслух нельзя. <...>

Ретюнский Василий, сын крестьянина. <...> В старших классах сидел с Ваней Фадеевым. Оба — специалисты по латинскому и греческому. Не помню, был ли в семинарии, но в нашей школе второй ступени его не было. По сведениям Лонгинова, он работал около Побединки. А Фадеев рассказал мне: Василий умер около 1931 г.; жил в Старом Баракове; из зажиточных крестьян. В ссоре ударил активиста; дело раздули так, что могли расстрелять за покушение на убийство «кулаком» «передового». Но суд разобрался в деле.

Насонов Сергей, сын крестьянина из с. Корневого. Мальчик не высокий, но плотный. Не знаю, в какой семинарии учился. Но с 1918 г. во второй ступени в одном со мною классе. Вместе с другими товарищами взят в армию при весенней мобилизации 1920 г. <...>

Бобров Сергей Павлович, 1901, сын священника из с. Желтухина, в первые годы революции расстрелянного каким-то отрядом на глазах семьи. По матери — родственник Жданова, известного общественного деятеля. Сергей среднего роста, живой и предпри-

имчивый, озорной, но достаточно ловкий, чтобы ладить с училищным начальством. <...> После двух лет Литовской семинарии Сергей во второй ступени в одном классе со мной, а Василий в Катином. Весной 1920 г. мобилизация и армия. Затем работа в Москве, занимался распространением книг. В связи с работой поехал в Краснодарский край.

Искал могилу брата, погибшего в годы гражданской войны. Женился на казачке и остался там. Во время гитлеровской оккупации Сергей и вся его семья угнаны на Запад. Теперь, очевидно, в диаспоре.

21 декабря 1964 г. я был на американской выставке средств связи в Сокольниках. Любопытствуя, листал телефонные книжки. В одной увидел: Bobrov Sergey Rev 124 BN Alexandrin 661 — 4262 Los Angeles — 213. Rev. — Reverend, преподобный... В 50-е годы в американских журналах по физике встречались статьи с подписью «Бобров» и отчество на букву «С». Тогда же думал — не встреча ли чрез печать с потомством одноклассника?..

* * *

В общежитии страсти кипели. Ребята разных темпераментов, разных интересов и способностей, вырванные из семей, да еще семей разного достатка, в совместной жизни как-то должны приспособиться друг к другу, да еще под «началом» господ Дутых. <...> Приведу здесь отрывок из письма Лонгинова <...> Правда, у Алеши совсем нет трезвости взгляда на вещи. Очевидно, с детских лет он угнетен сознанием воображаемой «низости» своего происхождения, переросшего в годы революции в сознание «преступности». От 17 ноября 1970 г.:

«В первом классе (1912–13) была в интернате борьба между Арсением и Кедровым за лидерство. В баловстве Арсений был лидером. Но в быту меньше — побеждал математик Кедров. К тому же он учился музыке, и ему Троицкий заочно ставил то ли 4, то ли 5. <...> В классе меня тянуло к сильным мира сего — Суханову (1912–16), Богородицкому (1918–19). Эта “дружба” не подтвердилась потом. Слишком была велика разница в положении отцов. Был я на дому, вернее, забрел к Суханову сад посмотреть. Меня удивил тот переполох, который начался в семье Суханова: “Кто пришел?” А мне казалось, что все дети одинаковы.

<...> Весной 1920 года я получил письмо от Николая Богородицкого — он пытался уехать в Ташкент, и все. Если дружба бывает настоящая, то люди потом стараются как-нибудь обменяться письмами, приветом».

<...> Алеша все воспринимает крайне субъективно. Ни в каком отношении А. Суханова нельзя отнести к «сильным мира сего», разве лишь в насмешку. <...> Переполох в семье Сухановых нельзя увязать с «подлым» происхождением Алеши: отцы-то из одного сословия, столь презираемого аристократами. Николай Б-ий своей воспитанностью выделялся в нашей серой среде. Позже он профессор Электротехнического ин-та в Питере. Года два назад умер ректором этого института. Отношение к нему воспитанного человека Алеша, видевший кругом только грубость, принял за проявление дружбы. <...>

С первых дней совместных занятий (сентябрь 1910) <...> и Сережа Нарциссов бывал у нас. Милый, скромный мальчик, лицом весь в мать. Чрез него и знакомство с Васькой наладилось, когда я с 1911 г. оказался в одном с ним классе в приходской школе. Василий и умом, и всей фигурой в отца. Отчаянный уличный мальчишка, озорной до наглости, интересно, когда изредка бывал у нас, он както свертывался, одолевала застенчивость... <...>

Вероятно, после смерти отца — дьякон Алексей умер 15 сентября 1914 г. — Вася поступил послушником в Богословский монастырь под Рязанью. Бывал в Скопине с иконой Ивана Богослова.

В годы гражданской войны — в Красной армии. Вот его открытка от 5 мая 1919 г. с видом Петровской улицы в Полтаве:

> «...Я в настоящее время по милости Божией жив и здоров, того и тебе желаю, и нахожусь сейчас в г. Полтаве. А 9-го мая с. г. уезжаю в Одессу на фронт. Итак еще раз пожелаю вам всего наилучшего, а в особенности здравия. Остаюсь В. Нарциссов.
>
> Дорогой батюшка о. Иоанн — помолитесь обо мне грешном.
>
> Прощайте».

Крик души! В хозяйственных частях — перевозка снаряжения и проч. Был свидетелем дикой сцены: Деникин под Орлом мобилизовал крестьян. Мужики не хотели воевать за бар, сдались в плен. Этих бородатых и безоружных людей засекли шашками...

Из армии в Москву. 10 июня 1921 г. прислал открытку из Рязани:

> «Добрый Митя! Что значит твое молчание? Почему ты не даешь о себе и обо всех весточки? Сообщаю свой адрес: Москва, Большой Казенный пер., д. 1, кв. 6. В. Нарциссов».

Приютили его родственники, похоже, у себя на кухне, «важные» — по словам В. — что-то вроде адвоката, сочиняли стихи... и квартира старая московская, не по-нашему скопинскому меблированная. С 1922 г. я в Лялине пер., он в Б. Казенном, минутах в трех ходу. Служил он где-то по канцелярской части. Занимался конфискацией реквизированного имущества. Называл это — «заиметь». Часто бывал у нас. Стучит: Кто там? — Вэ Эн! Приносил белого хлеба, а мы тогда здорово голодали. Снабжал нас перьями, резинками, электрическими лампочками — тогда их было очень трудно добыть, алюминиевыми мисками. От него у нас энциклопедия «Просвещение», дубовый стул — стоит ветхий у меня в комнате, а тогда был красивый с сиденьем из сафьяна. Заплатили ему в Скопине медом...

Васька был поглощен церковными событиями того времени — всяческие живцы и обновленцы. «Митя, зачем все это? — рассуждал он, — как верали, так и надо верать!» (веровали, веровать — скопинское народное произношение). Часто слушал проповеди Антонина Грановского, бывшего тогда митрополитом Московским, и с его слов кстати и некстати любил повторять: «Такие-то дела творятся на Руси!», «Жизнь наша на земле временная!». Чрез В. узнал я об Антонине, бывал на его службах, слушал его проповеди-беседы. Оратор поразительный: без украшений, простым рассказом захватывал слушателей без перерыва на час, на два, и даже до четырех часов. Слушаешь и не оторвешься. Речь шла обычно о церковных беспорядках того времени. Но говорил и о прошлом, событиях 1905 г., сам он при царизме был в числе гонимых. В 1905 г. он был членом комиссии Кобеко.

Ссора с Васькой: при частых приездах в Скопин досаждал папе... Вскоре исчез из Москвы. В Скопине примерно среди 20-х годов мы узнали: его ищет уголовный розыск, вместе с кем-то ограбил в селе церковь. Это — последнее о нем сведение.

Фадеев Иван Иваныч, 1898, скопинский мещанин, его отец слесарь, имел ларек в торговых рядах около обжорки: железная

мелочь, старье, замки, ключи, починка... Старше всех нас по возрасту — учился с запозданием из-за болезни глаз, всю жизнь был подслеповатый. Крупный парень, представительный, но сутулился, да вот глаза все щурил! Отвечает урок, и все оправляет рубашку, одергивает сзади. Живо вижу его у доски за этим делом. Учился средне — «3», «4», «5». Добродушный парень, любитель пошутить. После СДУ — два года Литовской семинарии. С осени 1918 г. — в четвертом, последнем классе второй ступени вместе с Лонгиновым, Тришкиным... В 20-е годы, приезжая на каникулы, видел его на толкучке в ларьке — занялся ремеслом отца. Раза два разговаривал, но он все старался отшутиться, отделаться. Я понял — стыдится ремесла. Вот глупый! нашел перед кем стесняться! Сам я никогда никакого полезного дела не стыдился — выступать ли с ученым докладом или чистить сортир. А дальше — длинный перерыв встреч и сведений о нем.

25 июля 1959 г. я был в Скопине у Россихина. Тот рассказал, что Ваня был директором магазина сельхозоборудования; он помещался где-то около бывшей церковно-приходской школы. Россихин указал, где живет Ваня, но не хватило времени побывать у него. Зашел только через год, 17 сентября 1960 г. <...> Ваня живет в доме своего отца, в нем и родился. Маленький садик. Окна на запад. Домов против нет — обрыв и долина Вёрды, широкий простор, вид на Виниково, за ним заводы и большой новый поселок, церковь Журавинки на горизонте... Совсем рядом был Никольский сад и наша школа. Адрес: улица Макс. Горького, дом 65. <...>

Ваня заполняет свое время чтением газет, журналов на иностранных языках: выучил английский, занимается французским. Не случайно, значит, был латинистом в ДУ. В рамке висит хорошо сохранившаяся карточка выпуска школы 1919 г. <...>

3 февраля 1971 г.

ТРИ ОСОБЫХ ТОВАРИЩА

После двух-трех лет перерыва в день именин Ани 16 февраля 1974 продолжаю.

Три особых товарища, к троим лишь могу применить термин друзья, один — друг только юных лет. Второй — долголетний, но из тех, к кому так идут слова философа Сковороды: «... луна издали свет-



Слева направо: А.Н. Лонгинов, А.В. Тихомиров, Д.И. Журавлев, 21 апреля 1957 г.

лее, музыка — вкуснее, а приятель — приятнее». И третий — друг теперь, только в старости свела нас судьба близко, ближе всех.

Андросов Александр Иваныч, 1900 г. Из скопинских мещан. Отец — церковный сторож у Успенья, мать — торговка, сидела день на базаре со своим лотком-сундуком, торговала... не знаю чем, только съедобным, овощи и проч. Саня — старший сын. Было еще три — Николай, Иван, Анатолий. Марья Андревна — вторая жена, много моложе мужа, глава семьи она, дома хорошо пела, хороший слух и голос. Саня тоже с голосом и слухом. От первой жены были дочери, кажется, уже замужние, когда мы только ребятишки. Иван Степаныч был рядовым в турецкую войну 1877 г. Со слов Сани запомнился мне один из его рассказов. Видел он, как конные казаки на всем лету с одного маху рубили туркам головы. И такой человек, в цвете здоровья и сил лишившийся головы, прежде всего вскидывал обе руки к шее и лишь после падал...

На моей памяти Иван Степаныч — старик. Ходил по церкви, по-стариковски шмыгая ногами, ссутулившись. Ребята — Нарцисовы Васька, Славка и им подобные, беснуясь вокруг, дразнили его на улице, не давая проходу, дразнили и в церкви: скворец! скворец!.. Лицо у него не русского типа — большой горбатый нос, черный, правда, уже с проседью. Сильно злобился старик, в церкви все старался пырнуть ребят кулаком... Бывал я у них в доме иногда, но его не заставал.

Имел свой домик, три окна на улицу, на Мяснорядской, теперь Лермонтовской улице. Если идти на восток от Садовой — третий или четвертый дом слева. Усадьба неудачна — на северном склоне оврага.

Судьба братьев. Николай решительно не хотел поступить в ДУ. Учился, помнится, в городском. Служил на почте сперва в Скопине, позже где-то еще. Анатолий, самый младший, тоже не в Скопине — партийный работник. Иван один-два года учился в ДУ, в 20-е годы был псаломщиком у Пятницы. Служил с папой. Очень они сошлись, и папа дорожил им. Серьезный парень, религиозно настроенный. В сентябре 1972 г. в Скопине А.В. Кобозева рассказывала Кате городские новости: «Ванюшка летом приезжал. Две службы регентовал хором». Оказалось — это Ив. Андросов. Он бухгалтер в Волоколамске. Женат на скопинской и иногда приезжает к родне жены. Но не к брату!

Я учился вместе с Саней еще в приходской школе. В третьем классе (1911–1912 гг.) мы сблизились, вместе поступили в ДУ. Учился он всегда хорошо, четвертый класс окончил первым учеником. Два года Литовской семинарии. В Рязани мы не встречались, ибо занятия в Литовской не в одно время с Рязанской — курс по случаю войны сокращен до 4 месяцев в году. Жил он у родственников в Троицкой слободе. Два года школы второй ступени в одном классе со мной. Мобилизация весной 1920 г. Армия. Ведал хозяйственными делами. На фронте против Врангеля. Закончил поход южным берегом Крыма. <...> Помню его рассказы про жизнь на фронте, свой более поздний визит к нему, когда приехал из Москвы на каникулы, вероятно, в 1922–1923 гг. Но «визитам» и дружбе конец.

Александр вскоре женился, снимал для себя комнату у нашей соседки через дом — Марьи Григорьевны, где-то служил. Приехали мы на каникулы, тетя жалуется: власти придираются к каким-то

неточностям в оформлении Агафьи в качестве домашней работницы, и подстраивает это Андросов. Не поверил я тогда. Ведь папе он обязан и образованием, и моральной поддержкой, и материальной. Однажды встретился я с ним в вагоне, вместе ехали из Скопина до Кремлева или наоборот — он работал в Бобриках. Побеседовали как друзья.

В 1941 г. Андросов в Скопине — начальство. Все пищевые предприятия были в его ведении. Катя, Аня, папа, Нюша эвакуированы в Скопин. <...> Пытаясь устроиться на работу, Катя посылала к Андросову <...> работы в городе не нашлось.

В 1954 г. после 20 лет перерыва я был в Скопине. Расспрашивал об Андросове. Иван Никитич, улыбаясь, напомнил давно прошедшее. В 1914 г. выдавали Машу Кормильцеву замуж. Смотрины были у нас. Сидели гости за чаем в столовой. А я и Андросов — в зале. Выйти к гостям нельзя — и по дикости, и по этикету. Подсматривать нельзя. Так мы придумали, как обойти запрет: наводили на жениха зеркало и рассматривали его в отражении. Жених — Иван Никитич — конечно, это заметил. Совсем свой Саня был человек. Мне хотелось встретиться со старым приятелем, и в сопровождении Ивана Никитича я пошел к нему на квартиру, но не застал дома — он был в районе, думал, и он рад будет со мной увидеться и зайдет, вернувшись. Но не зашел.

А был тогда Андросов начальник ОРСа (отдел рабочего снабжения) — организации, охватывавшей все прилегающие к Скопину районы с угольными шахтами. В годы войны Донбасс занят немцами, позже полуразрушен, и роль подмосковных шахт очень велика. ОРС Андросова снабжался несравнимо лучше, чем областной город Рязань. Начальник ОРСа, не подчиненного городским и районным властям, большая шишка в городе: ведь от него зависит материальное благополучие и всякого местного начальства. Бойкая подруга Инны Палишиной рассказывала, как молодежь устраивала экскурсии. Заходят в шахтерскую столовую, где посторонним и за деньги пообедать нельзя, и к заву: «С нами сын Андросова, не покормите ли вы нас?» — и получали сытный обед в задней комнате, конечно, бесплатно. Сам Андросов всегда был щепетильно честен. Жаловались на него мои родичи: плохо заботится о матери, нуждается она в топливе и прочее. А у обывателей в Скопине точка зрения такая: если ты начальник, то прежде всего обеспечь себя,

свою семью и родню и лишь после интересы службы. «Там ничего не возьмешь!» — сказал Михаил своей внучке, отговаривая от профессии медсестры. Конечно, практическая деятельность могла изменить человека, мог пойти на вынужденные сделки с совестью. Но жажда непосредственного личного обогащения не вяжется с моим представлением об Андросове.

Позже были в Скопине я и Катя. На улице в стороне от нас идет с кем-то Андросов. Катя настояла, чтобы я подошел. Разговор был кисло-сладкий: я расспрашивал про его родню, он с удовлетворением говорил про братьев Николая и Анатолия, а на Ивана рукой махнул: этот-де совсем сбился с пути и где-то пропадает. Задал мне несколько вопросов, между прочим — нравится ли мне современный Скопин. Как-то двусмысленно был поставлен вопрос, можно было понять — как я отношусь к разрушению так украшавших город великолепных скопинских церквей, неприятный осадок от встречи, и я поспешил распрощаться.

Теперь Андросов получает партийную пенсию, каждый год ездит на курорт, работает в составе парт- и совконтроля — «воров ловит», как выразился Михаил. Кажется, неизменно избирался то ли в гор-, то ли в райсовет. Не любили его в Скопине. Однажды на собрании выдвинули его кандидатуру, но все резко запротестовали; пришлось долго уговаривать публику, прежде чем добились своего.

А близки мы были. После смерти Сережи часто бывал у нас, а позже приходил надолго неизменно каждый день. <...> Дома в двух маленьких комнатах четверо ребят, старик отец, женщины, и он любил провести время у нас, на просторе. Он много читал и у нас, и брал книги с собою. Читал он быстрее меня раза в три. Перечитал все, что у нас было, включая «Звонарь» (увлекался им даже), и пожалуй — «Душеполезное чтение». Читал бабушке и из книг и больше газеты — военные известия, играл вместе с нами и бабушкой в карты.

Много времени провели мы в душевных разговорах. Пробуждалась мысль, обсуждали прочитанное, делились впечатлениями, мечтали, пытались уяснить себе смысл происходящего, — ведь на время нашей юности пришлись годы первой войны и революции. Саня умный парень. Всем интересовался, я бы сказал — интересовался с увлечением. Способный ученик, все давалось ему без на-

пряжения. Но как-то не хватало самостоятельности, умственной, творческой инициативы. Во второй ступени в школьный журнал, напр., при всем желании ничего не мог написать сам. Досадно мне было: другие же пишут, не умнее его. И я подталкивал, указал и тему из его же рассказов. Да и редактировал. Его пера скопинские предания о Пращенском колодце. Жажда знаний громадная, но и любопытство чисто бабье: всякие пустяки с жадностью слушает, да еще подгоняет: «Без тебя знаю! Ну? Ну?». Мальчишкой эту бессмысленную пред вопросом фразу всегда наспех твердил в виде какого-то заклятия. Вот этим мелочным любопытством пахнуло и в наше последнее свидание. <...>

* * *

Лонгинов Алексей Николаевич, врач, кандидат медицинских наук, сын псаломщика из села Поднаволок. Вот дети этой семьи в порядке возраста. Ольга, окончила Епархиальное училище и до 1918 г. учительница церковно-приходской школы в своем селе. Когда-то, помогая папе, писал я ведомости на выдачу зарплаты, была там и она, «жалованье» получала у папы в его комнате сама или ее мать. Позже заочно окончила Моск. обл. пед. ин-т, преподавала в Скопине, где и живет в собственной половине дома на пенсии одна, старая и больная, замуж не выходила. <...> Дмитрий — преподаватель физики в Орске. О самом младшем брате (имени не знаю) Алеша 14 апр. 71 г. писал:

«Последний брат у меня был физик в Елатьме. Окончил Рязанский ин-т. Звал его в Иваново. От жены и сада он не поехал. Испугался трудной жизни в Иванове. Через год мобилизовали в Харьков, затем в Ромны...»

Убит в Севастополе. Живы жена и сын.

Алеша — четыре года в СДУ, два года в Литовской семинарии и один год в нашей школе второй ступени. Трудно мне писать об Алеше Лонгинове. Мы редко виделись, но переписывались больше сорока лет. И все же из-за его скрытности я многого о нем не знаю, из-за его обидчивости о многом не считал возможным его расспросить. Так пусть его письма заменят мой собственный рассказ. Проставлю в скобках годы и некоторые дополнения и замечания.

«Я родился 10 февраля 1901 г. ст. ст., по-новому 23 февраля. Назван я в честь митрополита Алексея, соратника Ивана Калиты.

Отец — Николай Михайлович — родился в 1870 г., умер в 1930 г. в ссылке, на принудительных работах, где-то под Иркутском, — инфаркт сердца. Мать — Анна Петровна — моложе, умерла приблизительно 70 лет после войны в Скопине, без меня. Отец был больной человек, погубил сад, боялся пчел, хотя дед по отцу был пчеловод. <...> Нас выучила фактически мать. (Только ею держалась эта очень бедная семья...)

<...> По окончании средней школы (весна 1917) на второй день я стал работать конторщиком Побединского рудника. У меня была протекция — муж зубного врача Яблоневой. Это 6 + 6 = 12 км ежедневно, с горы на гору, в любое время года, в грозу, метель. Один раз в метель заблудился. <...> Работа была — ни уму, ни сердцу. На второй год, весной (1920) схватил сыпной тиф. Осенью (думаю, это 1919 г.) в порядке профсоюзной мобилизации вынул билет “фронт” на Врангеля. <...> По болезни — легкие — был отстранен.

В декабре (1920) командирован на курсы маркшейдеров в Горную академию. В том же числе — Насонов-старший. Младший, учившийся с нами, был в армии. Попав в Москву, в феврале (1921) поступил во 2-й МГУ на химико-фармацевтический факультет. Поскольку мы «не слушали курсов с первого сентября», нам не разрешили профессора сдать все экзамены и спокойно оставили снова на первом курсе. <...> Работал сторожем в ун-те, раздатчиком. Правда, в сторожах со мной был один сын лавочника и три в звании Кедрова (т.е. дети священников). Это и спасло их во время чистки, из них теперь один — академик химик, двое — научные работники... Перешел в 1922 г. на медицинский факультет, окончил в 1927 г. По окончании третьего курса работал по сифилису в Тамбовской области (там после усмирения антоновщины массовые заболевания). После такой практики сифилидологом решил никогда не быть участковым врачом. Вот почему я решил стать малярийным врачом. Летом на четвертом курсе работал фельдшером на Истре, на кирпичных заводах, потом врачом на болоте под Истрой. <...> 15 июня 1928 выбыл в Архангельск, в Северный полярный химико-бактериологический ин-т. <...>

Студентом два года был в кружке эндокринологов у проф. Шерешевского, впоследствии директора института эндокринологии. Его как беспартийного выставили из директоров, и он заведовал кафедрой эндокринологии в институте усовершенствования вра-

чей. Я был старостой кружка, посещал иногда Шерешевского на дому. Доклады мои в кружке были по омоложению. <...> Проф. Богомолец — я к нему пытался устроиться аспирантом в 1927 г. — в Архангельске отрицал самую идею омоложения. За омоложение был проф. Кольцов в Москве, директор одного института.

Лекции рабочим я читал в Секирино, окончив два курса медфака, по профдвижению.»

В Иванове Алеша работал ассистентом на одной из кафедр медицинского института. Много совместительствовал. Ежегодно на лето уезжал на болота Ивановской области — врач на разработках торфа. Там частая болезнь — глисты. Увлекся изучением червей-паразитов. В годы войны в Казани защитил кандидатскую диссертацию. С присущими ему энергией и трудолюбием принялся за докторскую диссертацию, считал, что подходит к концу. Но не довелось завершить: в стране был проведен разгром биологических наук, его объявили «вейсманистом-морганистом» и выгнали из института. Возможно, сыграла здесь свою роль и почти готовая докторская диссертация: зав. кафедрой сам был только кандидат. Возможно, и манера Алеши раскидываться и без меры спешить действительно делала его мало пригодным к занятиям со слабыми студентами. И вот человеку, маниакально преданному науке, пришлось перейти на работу простого врача, совсем не дававшую ему удовлетворения, да и тогда низко оплачиваемую. Подавал он на конкурсы во все города страны, но места в вузе или научном институте не получил.

С 2 янв. 1969 г. Алексей Лонгинов на пенсии. Продолжает работу над докторской диссертацией. Всюду, где ни бывает, ходит по больницам и амбулаториям, собирает сведения по глистам. Ставит опыты по их разведению в почве при разных условиях. Сидит у нас в саду и признается, что обдумывает, как хорошо было бы зарыть яички червей здесь в саду и в ближайшем лесу — опыт! Пишет и посылает на конференции доклады. В Москве всегда спешит в «червивый» (его выражение) ин-т читать очередные диссертации... «В этом — моя жизнь!» — пишет он.

Жил Алеша с семьей в трехкомнатной квартире в ветхом деревянном доме медицинского института. При доме «огород»: сливы, кусты — смородина и прочее. <...>

16 марта 1965 г.

Теперь еще из писем Лонгинова — воспоминания о СДУ. Письмо от 14 апреля 1971 г.:

> «<...> Из всех нас Кедров был буржуазным — часто грязнил пальто уличной грязью и никогда не чистил. Одно время в мае у него исчезло 50 копеек. Другой бы, чтобы не позорить коллектив, смолчал бы, а Кедров пожаловался всем <...> мелкие кражи из шкафов в коридоре были, и попался один из Лужков. Тихомиров Анатолий торжествовал, ведь этот был на один ранг выше, чем Анатолий (он сын псаломщика, а в воровстве попался сын дьякона Серегин)...
>
> Можно ли уважать Богородицкого, когда он за уши держит Кедрова, у которого тетка имела отношение к школьным делам? <Л.М. Кедрова — начальница гимназии.> А Насонову он говорил: "С Богом!". Это значит 2. Другим он боялся так сказать — сочтут за кощунство. <...>
>
> "Яклич, Яклич, — говорил Кедров, — сразу видно, что из мужиков." Сейчас это ценится, если пробивается из низов. А тогда всех ценили только по отцу. <...> Едем мы с матерью весной на пасхальные каникулы. Грязь непролазная. Обгоняет нас Кедров то ли на паре, то ли на тройке хороших коней и кричит нам: "Что вы, с молоком, что ли, едете?". Куда же нам скакать по весенней грязи на одной лошади! <...>
>
> Кто-то застрелился из купцов Черкасовых. Кедров: "Теперь будут мещане болтать!".
>
> Про Тихомирова (Арсения), Боброва нельзя было сказать, из какой они среды. О Кедрове всегда можно было сказать. Чувствовал он себя крепким хозяином, и это подчеркивалось. У шкафа Кедров заявляет, что у него стало мало пышек. Дело было после Пасхи. Я стоял рядом, ведь мы были в одном шкафу. Смарагдов мелким бесом: "Это Лонгинов съел, Лонгинов!"». Я сохраняю абсолютное молчание. Кедров не догадывался, что Смарагдову хочется попробовать пышек. После нескольких таких убеждений и полного моего молчания Смарагдов просто просит пышку у Кедрова. Тот не торопится, возится, считает пышки и наконец молча подает. <...> Социальный момент был в школе, хотя это мы и не чувствовали...»

Учитель арифметики хорошо относится к ученику, который «всегда решал задачи хорошо», и плохо к тем, кто входил в число «мы у него списывали». Родня же здесь не причем. И всё отцы! Не-

верно это. К Юркову, учившемуся с Сережей сыну бедного крестьянина, все учителя относились хорошо, я бы сказал — с большим уважением, он отличник. К Андросову, сыну церковного сторожа, ни в коей мере не хуже, чем и Кедрову, ко мне. Нельзя путать отношения в училище с отношением к народу дворянского отребья. А дворян в училище не было.

«Буржуазность» Кедрова. Это жаргон времен революции, имеет здесь смысл «зажиточность». И запачканное пальто. И обычная шутка обгоняющих по адресу обгоняемых. И пышки. Не попробовать, а съесть пышку хотелось Смарагдову. Он сирота, учился на казенном, есть всегда хотелось. Как я его теперь понимаю! В весеннее полугодие 1919 г. Анатолий Кобозев жил у нас. Спал в зале. Случайно тронул я его подушку — под нею пышки! Засосало под ложечкой, схватил одну и тут же съел. Голодный у нас был этот год. Чрез некоторое время в зале сидели я и Андросов. Обоим так хотелось есть, я не удержался и... еще двух пышек не досчитался Анатолий. Так что «мелкий бес» просто теленок: просит, да еще только намеками! И все же черты быта в общежитии здесь выступают. <...>

<...> Отрицаю я пристрастие со стороны наших учителей. В основном их отношение к ученикам определялось успеваемостью, а не зажиточностью родителей ученика, не его происхождением. Русская духовная школа — школа демократическая, другое дело взаимные отношения учеников в общежитии. Очевидно, бедняки приносили с собой чувства неприязни, зависти к более зажиточным. Положение родителей действительно резко различалось. Священник в селе по благосостоянию — крестьянин-середняк. И лишь некоторые особо умелые и увлекавшиеся сельским хозяйством или имевшие состояние по наследству были по-деревенски богаты. Псаломщик — крестьянин-бедняк, и бедность некоторых семей доходила до крайности. Церковь занимала рабочее время, а заработок в три раза меньше заработка священника. Конечно, в быту отчуждение, неприязнь, зависть неизбежны, особенно со стороны наиболее близкой детям женской части семьи. И это приносилось детьми в училище, а там не изживалось, ибо ребята предоставлены самим себе: воспитательной работы в СДУ не было. Алеша и другие замечали хорошее отношение к успевающим детям священников, но не обращали внимания на хорошее же отношение к успевающим детям псаломщиков — к Урусову, напр., к Андросову — сыну сторожа. Обращали внимание на плохое отношение к слабо успевающим детям бедноты, но не замечали плохого отношения к более зажиточным. Сам же Лонгинов пишет, что Арсений только из-за войны не исключен из училища.



Здание бывшего духовного училища в Скопине, 1954 г.
Фото Д.И. Журавлева

28 февраля 1974 г.

* * *

Арсений Васильевич Тихомиров. День рождения 5 марта 1902 г. н. ст. Родина — село Куровщина, Столпово тож, в трех с половиной верстах от большого села Журавинки Ряжского уезда. Отец — священник Василий Игнатьич, человек энергичный, очень хороший хозяин, пчеловод, садовод, полевод... Родился 2 августа 1874 г. ст. ст., окончил РДС в 1896 г., т.е. ровесник и однокурсник папы. Отец матери — купец в Ряжске, главный мануфактурный магазин города; композитор, на свой счет содержал в церкви хор с хорошими голосами и регентом был сам.

В семье Тихомировых много детей. И крестный отец всех — Константин Кедров из Зезюлина. Выросли пятеро: Арсений, Сера-

фим, Антонина, Нина, Мария. Арсения, очень живого и шаловливого мальчика, строгий отец поспешил отдать в училище в 1911 г. досрочно — 9 лет. Принимали в возрасте 10–12 лет, но делались и исключения. Много болел Арсений в первом классе, пришлось остаться на второй год. Вот здесь-то в сентябре 1912 г. мы и встретились. Однако в училище близки не были.

Тяжко было веселому, жизнерадостному мальчику в условиях СДУ. Избыток энергии, свойственный возрасту, деть некуда, только шалости. Но за невинные шалости постоянно влетало от начальства, постоянно снижены оценки за поведение в четверти. В третьем классе за первую и вторую четверти Арсений ухитрился получить двойки по всем предметам и четыре по поведению. О. Павел на билете с отметками сделал для родителей предупредительную надпись. Отец запретил Арсению в течение всех каникул выходить из дома, запретил обедать с семьей — обед в кухне с работниками, запретил и всем домашним с ним иметь дело. Тосковал первые дни, отсиживаясь один в комнате, потом нашел Гоголя «Как поссорился...». Заинтересовался, прочел. Открылся целый мир увлекательного. Вторая — «Капитанская дочка» Пушкина. Книги незаметно клал отец. А потом привез Купера, Майн-Рида... Каникулы прошли в напряженном чтении. Писали в классе сочинение — «Как я провел святки». А Арсению Федотьев заявил: «Ннннны... у кого списал?». На следующем уроке посадил на кафедру и задал писать ему одному. И опять: «Кто тебе подбросил?». И в третий раз писал. Тогда поверил Иван Михалыч, поставил «4» и все три показал смотрителю. Тот на всех трех написал «хвалю».

Четвертый класс Арсений закончил хорошо. 1916–1918 гг. — два класса Литовской семинарии. Эти два года много дали для развития, и Арсений с благодарностью вспоминает своих рязанских учителей. Некоторых наведывал чрез много лет.

1918–1819 гг. — четвертый класс Ряжской школы второй ступени; вместе с ним Кедров, Константиновский, О.М. Лагов. 1919–1921 — учитель в сельской школе. Осень 1921 г. — поступление в 2-й МГУ на ФОН — Факультет общественных наук. Окончил его по психологии в 1925 г.

В то время в психологии научным считалось только физиологическое обоснование психических явлений. Чтобы вполне овладеть физиологией, поступил на медицинский факультет Казанского университета; в Москве не удалось устроиться — нельзя было оканчивать два вуза. Года чрез два Арсений перевелся в Москву и здесь завершил свое медицинское образование. Специализация — невропатолог.

В 1924 г. выстрелом из обреза в окно убит о. Василий. Убийца — бывший церковный сторож. Семья осиротела; младшая дочь — еще ребенок, старший — Арсений. Энергичный, умеющий ладить с людьми, он много работал и в студенческих организациях, и ради заработка. Так, заведовал лесной школой под Москвой, где и жил. Перетянул брата и сестер и помог им устроиться. Разыскивал своих товарищей и тоже помогал обосноваться в жизни. Приехав, жили сперва у него в школе. Еще в 30-е годы Лонгинов рассказывал в качестве веселого анекдота, как он ночевал у товарища и вдруг утром с изумлением увидел: сама собой открывается дверца шкафа и из него... вылезает девица. И только лет чрез 30 стало нам известно, что было это в школе у Арсения, его сестра студентка Антонина спала в шкафу. Такой Алеша конспиратор!

Разыскал Арсений и меня и был у нас в Лялине пер., дом 20, кв. 6, вероятно, несколько раз. Я писал Кате, работавшей на сахарном заводе: 27 октября 1929 г. забегал минут на 10 Арсений Тихомиров. Я совсем не помню об этих встречах, они прекратились, близких отношений не завязалось.

После медицинского ф-та год военной службы, но не как врач, ведал какой-то лабораторией в авиационной части. Затем медицинская работа в Москве, много совместительствовал, начинал делать ученую карьеру. 21 июня 1941 г., накануне начала войны, мобилизован и срочно отправлен в армию. Сперва отступал на Украине, затем наступал, заведовал госпиталями, прошел наш Юг, Румынию, Венгрию, Болгарию, был в Югославии, в Австрии. После войны оставался в наших войсках за границей. Жил в Софии и ведал делами по своей специальности в Болгарии, Румынии и Венгрии. Объездил эти страны основательно, особенно Болгарию.

Много пережито, много видел, со многими имел дело. При хорошей памяти и любви поговорить многое может рассказать — ритор! но жаль — не писатель, его мемуары были бы очень ценны: живой свидетель многого исторического. В 1953 г. в чине полковника вернулся в Москву и до выхода на пенсию в 1964 г. заведовал невропатологическим отделением в главном военном госпитале.

Я уже писал — 23 февраля 1957 г. Арсений разыскал меня. Очень жалели мы — чрез пять месяцев после смерти папы И.Д.Ж.: у них много больше было общих знакомых в прошлом. Мать Арсения переселилась в Москву около 1930 г., умерла 11 марта 1960 г. Арсений был женат в годы войны на румынке. Она осталась в Румынии. Дочь от нее училась в Москве, теперь тоже в Румынии.

Сад в Покровке Арсений приобрел в 1959 г. Получил пустой участок, очистил от ельника, сделал все посадки, построил дом, кухню. Очень любит садоводство и знает в нем толк: все сажает вновь и вновь, умело лечит болячки, подрезает сучья, опрыскивает, поливает. В 1960 г. завел пчелу. Когда-то отец Арсения дал племяннице в качестве приданого несколько ульев. Ее сын Петя, Петр Васильич Федотов, механик на все руки в каком-то институте в Песках под Коломной, подарил Арсению две семьи именно в тех старинных тихомировских ульях. Пчельник — наше общее с ним увлечение. Совместно обсуждаем все пчелиные события и помогаем друг другу. <...>

Сегодня 3 марта 1974 г.,
а 5-го Арсению стукнет 72 года.
11 марта 1974 г.

Глава девятнадцатая

Новый дом



Скопин, 1928 г. Фото Д.И. Журавлева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Скопинская городская управа, согласно своего постановления, разрешает священнику Пятницкой гор. Скопина церкви Иоанну Дмитриевичу ЖУРАВЛЕВУ постройку деревянного сарая 6 арш. по улице и 26 арш. вглубь двора, на правой стороне усадьбы, в 17 квартале под № 21, с разрывом на 12 арш. от существующего дома. 1910 года мая 26 дня.

Так началась летом 1910 г. постройка сарая. Артель плотников возглавлял и был главным строителем Тимофей Корневич (умер в 1914 г.). Он — подрядчик, но и сам работал как десятник. Я помню одного плотника. Высокий, с большой бородой. Я пристроился на верстаке близ него, строгал доску, шаршепка все забивалась стружками. — «Дай я тебе ее поправлю!» — сказал он и продолбил широкую щель у железки. В таком виде шаршепка и теперь у меня в саду. Помню и его разговор с папой, вероятно, по поводу моей работы. У него в деревне тоже мальчишка и тоже все хочет мастерить. Купишь ему фунт гвоздей, хватишься — уж нет их!..

<...> Сарай поделен перегородками на части. От улицы: амбар, погребица, коровник, курятник, дровяной. <...> Осенью из Журавинки привезли два логуна и положили вдоль уличной стены. Логун — длинная бочка с большим вырезом, служили для ссыпки муки и проч., у нас были с просяной лузгой, но больше пустые. Амбар всегда на запоре. Складывали книги, зимние рамы, пустые ульи, магазины, ящики всякого рода... Зимовали теплые руты с пчелой. Весь решетник постепенно утыкали гвоздями: на каждый вешалась одна магазинная рамка суши... Овес для кур. Яблоки, пока нет морозов... Около 1916–1917 гг. я сделал верстак и столярничал там. Здесь же на стене весь инструмент. Но работая в амбаре, мечтал приспособить под мастерскую и все пчелиные нужды старый амбар. Преимущество: не двор, а сад, и пчела на глазах. <...> Затея не состоялась: нужны были средства.

Под крышей от амбара до южного конца — сеновал. <...> Не сделали пола из досок на сеновале — экономия денег. Застелили ольховыми жердями из журавинского хозяйства. <...> Жерди — для сена достаточно, но человеку на сеновале рискованно. Так однажды и случилось со мной, уже без Сережи: провалился и повис над раскрытым для просушки погребом. Бревнышки зажали подмышками,

подтянуться вверх нельзя, спрыгнуть вниз тоже: яма. Долго звал на помощь своих. Услышал сосед и не сразу решился прибежать: подумал — порка. Но потом, обсудив на семейном совете, решили: никогда не пороли; пришел, папа помог выбраться. <...>

СТРОИМ ДОМ

1911-й год. Постройка дома. Разрешение управы давалось свободно. Проверяли, есть ли земля, где строить; требовали выполнения мер против пожара — расстояние от соседних зданий, при надобности обязывали сделать кирпичную стену... Совсем не требовали инженерного проекта, вычерченных по правилам строительной техники планов и прочей ненужной по существу дела бюрократической чепухи. <...>

В подготовке к стройке дома мы активно участвовали: измеряли свою квартиру, чертили планы. <...> В основу положен план старой квартиры. <...>

Сам папа ничего не чертил и вел переговоры с подрядчиком Крутовым, имея в руках листок с Сережиным планом. Крутов все пересмотрел и с согласия папы кое-что изменил с точки зрения строителя. <...>

Не могу уяснить себе, почему папа и тетя не выносили кухонных запахов; ведь выросли в деревенской избе с русской печкой. В начале 30-х годов пришлось уехать из своего дома, папа жил у нас в Москве, а больная тетя лежала в комнате, снятой на Второй Мещанской. Был я и не обратил внимания — донесся запах из кухни, в Москве у нас иногда пахло гуще. А тетя очень возмущалась и страдала... Очень ценили наши то, что в старой квартире из дома в кухню ход был чрез холодный коридор. <...>

На какие деньги строился дом? Вероятно, были сбережения у папы, у бабушки. Помню, папа на извозчике возил тетю в казначейство. Очевидно, родители на имя дочери положили «капитал». Это естественная забота о дочери, не вышедшей замуж и, значит, в старости одинокой, необеспеченной. Я писал: из оставшихся от мамы денег папе досталось немного, остальные — детские — пропали в революцию. <...>

Я не помню точно, сколько взял Крутов, что-то вроде 760 рублей. Но не уложился в эту сумму и на нашем доме потерпел убыток.



Дом Журавлевых в Скопине на Первой Новой улице. 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

Ни слова не сказал, даже не намекнул. Папа знал по своему учету и по слухам: он говорил где-то на других стройках. У Крутова было несколько артелей, и он строил одновременно несколько домов. Несмотря на выяснившийся убыток, Крутов все сделал очень добросовестно. И папа ему заплатил лишних сто рублей.

Интересный человек Крутов, уже не помню точно имени: Михаил Матвеич? Он крестьянин из Спас-Клепиков, как и все в его артели. Образование — сельская школа. Все расчеты по стройке — в уме. Был такой случай. В Духовном училище что-то случилось с крышей, с перекрытиями. Пригласили скопинского архитектора. Составил проект ремонта на 10 000. Такие деньги правление должно было испрашивать у высокого начальства и, быть может, не один год. Позвали Крутова. Тот полазил, постучал молоточком, сосчитал в уме и назвал небольшую сумму, в пределах того, чем правление могло распорядиться. Он же за эту сумму и отремонти-

ровал. Самородок. В наше время сам не работал топором, но бывал на стройке ежедневно, все проверял, давал указания.

Был и десятник. Не помню его. Хорошо знали мы главного столяра, делавшего двери и рамы, Ивана Максимыча. Его верстак под навесом. Отборные доски он клал на балки старого амбара для подсушки... Трезвый, искусный и добросовестный был мастер. Не мог он допустить ни малейшего изъяна в работе. Точность и чистота работы поразительные. Филенки дверей, например, могли бы служить чертежными досками. Теперь я удивляюсь, зачем такая точная и аккуратная работа. Теперь делают грубо, с изъянами, в расчете зашпаклевать, закрасить. Иван Максимыч заходил к нам и после. Одно время вели с ним переговоры о постройке ульев. <...> Помню его приходившим в последний раз: покашливал. Чахотка. Умер, вероятно, в конце 1915 г.: записан у папы без даты между 1915 и 1916 г. Скромный, милый, душевный был человек, талантливый мастер. А фамилии так никогда я и не знал.

Стройматериалы. Добывать не приходилось. Были бы деньги. Все можно купить спокойно, по выбору, без просьб и разрешений начальства. Покупатель — желанный гость, а не враг и злодей, с которым лишь возня и хлопоты продавцу и начальству. Камень папа запас до стройки: он добывался в Журавинке. Покупал понемногу у крестьян, перевез имевшийся у наших. Все железо, гвозди, ручки и прочее брал у Алексея Черкасова. Кончили стройку, и Черкасов прислал нам на выбор бесплатно премию, мы взяли кофейник. Долго служил он нам, и теперь валяется на чердаке в саду...

Нижний венец дома дубовый. Дубы куплены заранее. Часть дубов — из журавинского хозяйства. <...>

Сперва плотники в стороне поставили сруб. В это время на месте будущего дома земляные работы и фундамент. Весь дом строился с большим запасом прочности. В глубокие канавы под фундамент заложили каменный бут, камни залили известкой. На нем воздвигли фундамент толщиной около аршина (71 см). Добросовестная кладка, в средину битый кирпич, залитый известкой. Теперь все это цельный камень.

Закладка оформлялась торжественно, по традиции. Служился молебен. В порядке аврала на работу закладки бревен ставилась вся артель, от дорого оплачиваемых столяров до последнего плотника. На фундамент клали первый венец — дубовый. Под углы по-

лагалось положить монету. Богатые люди даже золотую. Папа — новенькие гривенники (10 коп.), подобрал 1911 г., говорил — со временем люди узнают, когда строился. А дальше занумерованные бревна уже разобранного сруба водворялись на место постоянного жительства, каждое на подстилку из пакли...

* * *

Мы, дети, часто ходили на стройку. <...> Помню приходившего Крутова, невысокий, плотный, в картузе... Помню его племянника, — молодой человек учился в каком-то строительном. Сам неученый, дядя давал ему образование. Терся парень около, — но без дела, значит, приглядывался. А в воскресенье рабочих нет, и мы с Сережей ошаривали все, лазили, бегали по строительным лесам. Конечно, не на глазах у взрослых. Помню, у тетиной комнаты стену сложили до верху, я забрался с помоста и бегал по бревну. Нравилось: очень высоко! И верно: пола не было; мог я свалиться с 7–8-аршинной высоты (5–6 м). Но тогда голова не кружилась!.. Забрались мы с Сережей в дом, ни пола, ни потолка еще не было. У Сережи в руках банка с охрой и кисть. Принялся он красить стену в прихожей. Любил он красить! «Стой! зачем!? ведь останется!» — кричу я. — «Состригают!» — «Да уж стены начисто сделаны!» Только тут Сережа сообразил. Осталось до конца это желтое пятно за сундуком в прихожей: дом мы так и не оштукатурили, стены остались бревенчатыми.

Папа часто посылал Сережу, иногда со мной, к Черкасову купить разные мелочи — шурупы и проч. Однажды Сережа соблазнился камертоном. Это давнишняя наша мечта. А теперь у Сережи и уроки пения. Купил без спроса за 20 коп. И теперь хранится в древнем пенале. Камертон с шариком на конце ножки лучше, но на него Сережа не решился — дороже, 25 коп. Папа не ругался за самовольный расход. Он очень любил Сережу и не всегда был к нему строг. Камертон — событие для нас историческое.

Ходила на стройку и в сад и бабушка. Приветливый была человек. Приносила с собой горшок молока и, помню, разговаривала однажды и угощала каменщика. Тот даже горшок пополоскал и воду выпил. Поразила меня такая бедность. Самому мне так тошно было и парное молоко пить. Рассказал дома. Папа: «Не бедность! Хорошо зарабатывает, но пропивает!».

* * *

Вероятно, уже в августе дом был готов. <...> Большие рамы в окнах с полукруглым верхом. В каждой комнате, кроме столовой, форточка: открывалась вся верхняя фрамуга. <...>

Окрасили пол, проолифили потолок, двери, рамы. А притолоки окрасили в кирпичный цвет — смесь охры с мумией. Папа позже сам удивлялся, зачем в темный цвет? Впрочем, предполагалось вскоре, после двух-трех лет осадки, дом внутри оштукатурить и оклеить обоями, все покрасить в белый цвет, снаружи обшить тесом.

Но не получилось: война, революция, обнищание... Лишь конопатили два-три раза, последний раз в октябре 1928 г. <...>

Печи обложены кафелем в зале и в папиной комнате... Громадная русская печь в кухне, и два окна совсем рядом, поменьше, чем в комнатах.

Под папиной комнатой по ее размеру — глубокий, не менее 3,5 аршин (2,5 м), подвал, кирпичные стены и пол. Широкий люк с тяжелой крышкой — в папиной комнате. Сюда в четыре этажа ставили ульи на зимовку. Опускали на веревках, приняв тяжелую лестницу. Здесь же яблоки в зиму, в двух горнушках[1], и на двух полках бутыли — наливка, но больше тетины заготовки. Лестница заменяла теперешний холодильник. <...>

Вот финансовый итог:

Усадьба куплена в 1906 г. — 1200 руб.

Сарай построен в 1910 г. — 399-36.

Дом в 1911 г. — 3574-34.

Ворота и погреб в 1911 г. — 146-44.

Окрашена крыша на доме в 1924 г. — 81 руб. 60 коп.

<...> Погреб сделан из дубовых бревен, поставленных вертикально. Уже к двадцатым годам подгнили, вываливались, проваливался верх. На кирпичный или каменный не хватило средств. Вероятно, в 1912 г. вымостили камнем двор и тротуар пред парадным, калиткой и воротами. Дело совсем необходимое на скопинском черноземе. На старой квартире мы очень страдали от грязи на дворе. <...>

[1] Одно из значений этого слова, видимо, самое подходящее в этом случае, — горшок.

* * *

Когда переселились в новый дом?.. Смутно рисуются в старом зале брошенные диван и два кресла — развалины... Но помню впечатление первой ночи в новом доме. Папа, Сережа и я постелились на полу в папиной комнате, где после стояла его кровать. Проснулся, открыл глаза, а потолок необычно высоко: на пол-аршина выше старой квартиры, да еще спали на полу. И наверху угол белого узорчатого карниза на кафельной печи...

НОВОСЕЛЬЕ

Еще не обжились в новом доме, но уже 18 сентября 1911 г., в воскресенье вечером, праздновали новоселье. Дата сохранилась на чайной серебряной ложечке: нацарапал на ней и подарил ее «земляк» — П.И. Пустовалов. Она и две серебряные круглые десертные ложки — подарок дьякона Ильинского — у нас сейчас в ходу. В руках у меня барометр. На обороте нацарапано: «На добрую память от Прудкова». Всегда он, барометр, на самом видном месте: в Скопине у папы пред письменным столом, в Москве рядом с численником и будильником. Пресс-папье — бронзовый мишка на черном камне — подарок Н.Г. Неокесарийского, тоже у меня на столе. Вот прошло 58 лет, мало кто из людей жив остался. Быть может, уже никто из тех, кого я здесь вспомню и перечислю. Да и дом давно ушел в чужие руки. А памятные вещи, свидетели того времени, — предо мной.

Цел серебряный набор в футляре: сетка для чаю, совочек, вилка для лимона и щипцы-пинцет для сахара. Подарок В.Т. Власова, но я помню нетвердо. Цела, хотя разбита и склеена, большая хрустальная ваза (она в саду) — была прислана с красиво наложенными фруктами. Помнится, Худеков прислал на племя породистых кур — крупные желтые мясные и мелкие ноские; этих называли минорки. Кто-то подарил индюшек, и бабушка ими так увлеклась, что несколько лет сама разводила. Присылали торты, заменявшие традиционные хлеб-соль. На некоторых солонки с сахарной пудрой. Съели торты, гости и сами, остались две хрустальные солонки — сохранилась одна: я взял ее в Москву разводить в ней тушь, — и две серебряные — они пошли в 30-е годы в торгсин. Туда же пошли два бокала в виде рюмок. <...> Народу собралось много. <...> Григорий Иваныч, Иван Ефимыч, дьякон Владимир Иваныч

Ильинский, Н.Г. Неокесарийский, В.Я. Виноградов, Самышкин, смотритель Доброхотов, Богородицкий, о. Василий Чельцов... Эти все с женами...

Квартальный — никто его не приглашал, зашел, по его словам, «на огонек». Человек совсем не близкий, очевидно, оправдывал частушки того времени:

Вот идет квартальный,
Вид такой нахальный.
Видно по походке —
Думает о водке.
Видно по ухватке —
Думает о взятке...

Но папа иначе объяснял: не могут оставить без надзора, если люди собрались вместе. <...>

Стряпать и обслуживать стол пригласили повара и официантов из лучшего в городе трактира, теперь бы сказали «ресторана». В качестве горячего блюда после всяких совещаний со специалистами из «ресторана» выбрали неслыханное для нас: сосиски с капустой! Сосиски у нас покупали на завтрак, отваривали и ели с булкой. А тут вдруг вон как! Конечно, на мой теперешний вкус я предпочел бы жареное: поросенка, индюшку, гуся, украинские битки (чудесные делались под руководством тети из свежего мяса), даже котлеты, голубцы... Но все это для собравшихся слишком обыденно... А из закусок я запомнил консервы — бычки в томате. У нас их никогда не покупали, бывали только кильки и шпроты, и совсем редко, случайно, сардины. А острый запах бычков, вернее, томатного соуса, был слишком знаком: сильно пахло из дверей и окон каждого трактира...

Сережа на голову выше меня, как взрослого мальчика его пустили к гостям. Был после разговор — папа похвалил Сережу: он угощал фруктами жену своего учителя Богородицкого и кисть винограду опустил ей в ридикюль. Я болтался в папиной и бабушкиной комнате (там гостей не было) страшно возбужденный. <...>

Прием званых гостей у нас никогда не практиковался. Это в первый и последний раз. <...> А чрез день-два пришли портнихи Рудаковы, сосед сапожник с женой и кто еще? Те, кому общество собравшихся прежде было бы в тягость. Люди попроще и поближе тете.

6 февраля 1970 г.

В НОВОМ ДОМЕ

1 ноября 1974 г.

Вся обстановка привезена из старой квартиры и год назад из Журавинки, хранилась в амбаре. Купили только мягкую мебель в зал. У наших была теория: можно покупать лишь подержанную, ибо новая часто рассыхается. <...> Диван, два кресла, шесть стульев. Тетя сшила на них чехлы, купила гардины в зал и сшила кремовые занавески из сурового материала для террасы, обшив их красной полоской. Первые годы на лето их вешали, потом перестали: разросся виноград.

Войдем с улицы и пройдемся по комнатам. По случаю такого торжественного осмотра войдем не через калитку и крыльцо на дворе, но чрез уличное крыльцо — крыша над ним на двух фигурных столбах — войдем в «парадную» дверь. Столяр Иван Максимыч очень постарался, сделал эту дверь как произведение искусства. Покрашена под дуб. Всегда заперта только на английский замок, и надо позвонить. Справа почтовый ящик — с улицы только щель в металлической рамке с надписью на заслонке «для писем и газет».

Входим в коридор. Рисунок рам в клетку — ромбы, не открываются. Это все, что Крутов оставил от планировавшейся Сережей «галереи». <...>

Не только в планировке дома, но и при расстановке мебели основное стремление — восстановить привычную картину старой квартиры. Мне эти старые порядки казались столь обязательными, столь наилучшими, что когда Липец, примеряя, рассуждал — узкие простенки между окнами на улицу, здесь нет места для зеркала, — я думал: «Как это он не понимает, что зеркало ставить там нельзя. Оно должно быть здесь», т.е. на коридорной стенке, где оно было на старой квартире и куда мы его и поставили. По освещению днем место Липеца имело, конечно, все преимущества.

В прихожей две вешалки, старая проволочная слева, новая — железная полоска с крюками — по стене зала. Очень высоко прибиты. И старая история — Липец маленький, не доставал, как и мы — ребята, всегда возмущался, зачем так высоко. А папа большой, одежки длинные. Для детей вбиты в стену крюки и гвозди в углу против печки; открытые дверки зала и столовой прикрывали

одежки — своего рода шкаф. В прихожей слева — большой мамин сундук.

Далее — дверь в папину комнату. В углу топка папиной печи. Входная дверь запиралась изнутри на крючок необычного типа — толстый, на петельке, приделан к дверке и, чтобы не болтался незапертый, накидывался на шуруп; а петля — в притолоке. И вот до сих пор иногда вижу сны: опасность, я вбегаю дом, с силой тяну к себе ручку двери и спешу накинуть этот крючок, но уже подошли к двери и рвутся в дом; я напрягаюсь, удерживая дверь, но изнемогаю, силы слабеют и все же в последний момент с трудом успеваю запереть.

Папина комната. В переднем левом углу иконы в киотах. Нерукотворный Спас — из зала старой квартиры (цела, но без киота). Божия Матерь — из папина кабинета. Четыре святителя — из Журавинки, вырезано из кипариса. В киотах большие иконы и рядом по стенке — небольшие образки. Лампада. В год 30-летия папиной службы у Пятницы прихожане поднесли папе икону Иоанна Предтечи, в память его папа получил при крещении свое имя. Эта икона поставлена ниже. Под иконами круглый столик — Библия, «Правило», завернутый в епитрахиль требник... Справа от икон на стене — кипарисный крест.

У окон — папин стол. На нем и над ним все так, как было на старой квартире и как я описывал в главе «Детство». Только фото мамы умершей папа не повесил. Слева — железный сундук, справа стул. Все это воспроизводило папин кабинет старой квартиры. Но вместо этажерки у стенки бабушкиной комнаты — ломберный стол, на нем папины бумаги, над ним какие-то фотографии и в грубой самодельной рамке из Журавинки портрет императора Александра Третьего. Его очень уважали в журавинской семье: единственный царь, при котором не было войн. Ведь несколько поколений молились: «Мира мíрови у Господа просим!» Когда-то дедушка нам, малышам, дарил по серебряному рублю, но обязательно с изображением Александра Третьего. Припоминаю, в эту рамку портрет (он из газетной бумаги) вставил Сережа с моим участием. А в годы войны здесь две карты — русский фронт и западный, утыканные булавками с флажками по линии фронта, — этим делом занимался я. Карты эти — приложение к «Ниве»; одна — русский фронт —

цела. Примерно в 1919 г. сюда поставили громадный книжный шкаф, стулу уже не было места у окна.

На двери бабушкиной комнаты — карта Скопинского уезда, издание Пустовалова. Красными чернилами я залил кружочки сел, где были церковно-приходские школы и куда приходилось писать и посылать разные деловые «отношения».

Папина широкая кровать — по кухонной стене. До лета 1914 г. я продолжал спать на одной с ним кровати. Рядом — крюк с папиными одежками и в углу у двери гардероб с разным добром наверху, переселившийся сюда из старой прихожей, — в нем только папины и позже мои одежки в левой половине, папины бумаги и книги — на полках правой. Наш кот Рыжий предпочитал спать на печи, она не достигала до потолка. С кровати по одежкам на гардероб, по наличнику двери и — прыжок на печь. <...>

Занавесок на окнах не было. <...> В 20-е годы папа пристрастился курить. На ночь курил, открыв окно и высунувшись. Но тянуло дым в дом...

На окнах — цветы. Не помню, когда завели «тараканью лапу» (эпифиллум). С годами цветов у нас все меньше, в голодные и все 20-е годы у папы осталась лишь «тараканья лапа». Зимой она на столе, в иные святки — с цветами, но много бутонов осыпалось, не распускаясь. Побег привезли в Москву. Посреди комнаты — лаз в подвал. <...>

Угловая комната — бабушки и Сережи. <...> В переднем правом углу — иконы. Их было больше, чем во всех других комнатах. В углу высокий узкий киот, в нем две иконы одна над другой, без риз, потемневшие, — благословение дедушки и бабушки при их свадьбе. Кругом на стене большой медный крест и масса образков, больше бумажные, наклеенные на фанеру. Все это устраивалось постепенно, значительная часть, вероятно, после смерти Сережи моими силами. Целый иконостас, пред ним лампадка. Крест старинный, у дедушки он был в горнице. Я считаю его фамильным — вероятно, еще от Федора, дедушкина отца, быть может, и старше. После ликвидации скопинского гнезда крест был у Маши. После похорон папы, не спросив меня, его вделали в деревянный крест — памятник на могиле[2].

[2] Вскоре крест пропал. — *Примеч. автора.*

В комнату поселились письменный стол — Сережин и мой; этажерка из папина кабинета. Постепенно каждый обзавелся фанерными ящиками от чая, у бабушки с ее тряпичным имуществом, чулки, клубки шерсти: она вязала. Сережин ящик — с разными коробками и подобным добром — его личной собственностью. У меня — в основном с общими книгами. На свой же я поставил и хорошей столярной работы ящик с книгами (Достоевский, Тургенев и проч.). Постепенно приспособляясь, Сережа и я устроились с удобствами. <...> На столе 10-линейная простая лампа — источник света (слабый) и тепла для разных опытов.

На стене над фанерным ящиком и кроватью Сережа сделал полку для своих книг, в основном учебников. Широкая некрашеная доска положена на два гвоздя, вбитых в стену; на внешнем краю тоже два гвоздя; к ним привязана веревка, перекинутая чрез гвоздь на стене повыше. Сам изобрел. <...>

Папины бумаги из этажерки переселились в его комнату, в гардероб. Там же на книжной полке лежали и книги духовного содержания. Одно время Сережа и я затеяли упорядочить нашу библиотеку. Составляли список. <...> Сережа писал ярлычки, и наклеивали мы их на корешки. Сохранились они на томах Достоевского до сих пор. В Скопине наш клей для бумаг — только камедь с вишен и слив. Собирали, разводили водой и, чтобы не плесневело, совсем немного карболки. <...>

Судьба комнаты. В 1914 г. на место Сережи переселился я.

В углу и у бабушкина окна стали хранить мед: банки глиняные, литовки, магазины с сотовым медом. В годы нужды и голода переставили бабушкину кровать к внутренней стенке, приткнув к печке и закрыв одну створку двери в столовую, — здесь бабушке теплее.

А после смерти бабушки (1922 г.) комната именуется Митиной. <...> Постепенно с ростом пчельника комната все больше заполнялась пчелиным. Здесь качали мед, стояла посуда с медом, весы. А в среднем ящике стола — ножи, маточники, кормушки...

Столовая — прохладная комната, во всех четырех стенах двери. Дверь-окно на террасу, по бокам узкие не открывающиеся окна. <...> Топка тетиной печи. В первую зиму чрезвычайное происшествие: топили щепками и стружками, выпала из печи горящая щепка — вспыхнули стружки; тетя совсем героически чуть ли не села на огонь и придавила своими юбками...



Е.И. Журавлева. Скопин, 27 июля 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

В переднем углу небольшая икона Спасителя — из столовой старой квартиры (она у нас в Москве) и икона Толгской Божией Матери — из Журавинки, она в блестящей ризе из белого металла, вероятно, алюминий. <...>

В верхней фрамуге окна уличный термометр (я рано начал три раза в день записывать температуру — пчельник!), против на стене в прихожую комнатный термометр, отрывной календарь и позже

из зала перевесили журавинские часы. И еще одно измерение — у притолоки бабушкиной двери мы измеряли свой рост и делали на ней отметки.

После смерти Сережи стол передвинули на средину комнаты — холодно сидеть у окон; в угол под образа поставили журавинский ломберный стол, под ним зимой махотки с молоком, с хохлацким молоком — бабушка готовила и так называла варенец или ряженку.

14 ноября 1974 г. Покончив со столовой,
повез сдавать пустые бутылки, 20 пол-литровых,
выручил 2 руб. 40 коп., затратил времени два часа.
Но воздух свежий, тучи, ветер — замена прогулки.

Тетина комната. <...> Расстановка воспроизводит старую квартиру. Новость — простой некрашеный стол из Журавинки с одним большим ящиком для Кати. Здесь она занималась — читала, учила уроки. Под кроватями у тети ящики с разным добром, у Кати ящик с

Слева Е. Журавлева, справа Е. Зимина, 14 августа 1927 г.
Фото Д.И. Журавлева



игрушками и второй с ее бельем, хороший ящик из орехового дерева с плотной выдвижной крышкой — в таких когда-то присылали чай, позже только в фанерных. Занавески на окнах. На перекрестке Садовой и 1-й Новой — мощный газокалильный фонарь. Вечером и ночью на печи играют свет и тени. <...>

Зал. Есть несколько снимков в зале — Сережа 1914 г. и наши 20-х годов. Они дают некоторое представление — как выглядела эта наша самая парадная комната. <...>

Передний угол — иконы: святитель Алексей, мамина Иверская (теперь в Москве), преподобный Сергий. Лампада. Круглый столик, под ним бутылка с маслом для лампад.

Зеркало между двух окон в коридор. Далее у окна ломберный стол. На этой же стене в углу картина в золотой рамке. <...> На западной стене в углу журавинские часы — заводить их было моей обязанностью.

15 ноября 1974 г.

Из всех комнат меблировка зала оказалась наименее устойчивой. Зал — самая холодная комната. Очень рано к печке приставили

Е. и Д. Журавлевы, 14 августа 1927 г.



раскрытый ломберный стол; за ним по вечерам заседали то Катя с подругами, то я с Андросовым. <...> В зиму 1916–1917 гг. в зале жил офицер Чумаков, поляк. В 1918 г. задешево купили старинный громадный рояль, поставили вдоль стенки тетиной комнаты; занял много места от окна до печки. Училась Катя, есть даже мой снимок: она за роялем. <...>

Во время гражданской войны привели к нам на постой офицера, впрочем, тогда их называли «командир». Обязаны были дать ему жилье, по соглашению с хозяевами за плату ему ставили самовар, что-то готовили. Однако накануне отъезда командир проигрался в карты и ничего не заплатил, бросил лишь у нас казенную койку. Позже на ней у себя в комнате спал я. В эти голодные и холодные годы мамин сундук поставили в левый при входе угол зала, закрыв одну створку двери. В 20-е годы Федосеев, хозяин древообделочной мастерской — резьба по дереву, иконостасы и подобная такая работа, — ожидал конфискации и последующих репрессий. Как человек деловой решил скрыться из Скопина и роздал на сохранение знакомым свою мебель. К нам привез зеркало.

Кухня. <...> Иконы в переднем углу. Под ними некрашеный стол. Две широкие лавки — журавинская и со старой квартиры, скамейка, табуретка. Громадная русская печь заняла много места. Полати. Часы-ходики. Кадка с питьевой водой стояла в черном коридоре, но на морозы вносилась в кухню.

Сыро бывало в кухне — стирка, мылись, стряпня. Пол скоро сгнил и провалился. Сделали новый.

Второй выход из кухни — в «черный» коридор. Он вдоль стены кухни, а ширина всего 2 аршина. <...>

Чулан — в большом коридоре. Полки по стенам слева и прямо, маленькое слуховое окно. Здесь на полках продукты — мука, крупа, масло, варенье. Чулан всегда заперт на замок.

* * *

Общее впечатление. В комнатах много воздуха и света, но стены бревенчатые с законопаченными пазами, потолок только проолифили — блестит, двери, рамы в окнах — только олифа. <...>

Не только дом внутри, но и вся обстановка на уровне приличной бедности. Быть может, лишь зал в свои лучшие времена, по



Е.И. Журавлева, 1927 г. Фото Д.И. Журавлева

праздникам (сняты чехлы с мебели, мамины скатерти, ковер) выглядел более или менее по-городскому. У всех нас было стремление устроиться поудобнее, но стремления к изяществу не заметно, да и возможностей не было. Папа расплачивался с долгами. А осенью 1913 г. тяжелая болезнь и в марте 1914 г. смерть Сережи. Летом 1914 г. началась война, а с нею быстро пришли хозяйственные невзгоды. Впрочем, и привычки у нас всех не было жить среди обстановки со следами эстетических требований хотя бы на некотором уровне. Папа относился ко всему пассивно, его удовлетворяло старое, привычное. Дурной черты — подражать другим — у него не было. Так что и этот мотив отпадал. Больше всех хлопотал Сережа; ему хотелось из имеющегося устроить покрасивее. Развеска портретов и картин в зале, расстановка мебели и цветов проделаны в основном его трудами.

Тетя заботилась. Но у нее и горизонты были узкие, и денег в руках не было. Бабушка всю жизнь прожила в обстановке бедной деревенской избы и ко всяким таким проблемам была равнодушна.

18 ноября 1974 г.

Каждый день обязательно пол подметался, каждую субботу мылся, — было чисто. Не сорить на пол тетя нас приучила, да и взрослые были аккуратны. Но вот беречь в доме все ненужное, для чего был хороший амбар, — это осталось до конца. Особенно моя комната — пчелиное хозяйство. Правда, мед в экономике семьи был очень важен, а надежно, без риска порчи, хранить его следовало в доме.

Наша хозяйка-тетя уже с 1916–1917 гг. стала постоянно болеть... Постепенно с палочки она перешла на костыли. А с 1924 г. совсем слегла в постель. Хозяйки в доме не было.

18 ноября 1974 г.,
переписал с черновиков в феврале 1977 г.

Глава двадцатая

Пчела. Конец



Сокольники, 1970-е годы. Фото В.Т. Стигнеева

Воскресенье. 11 апреля 1965 г.

Приступаю к заключению. Я работал в НАТИ. Зимой 1930–1931 гг. начал преподавать физику в мединституте у В.А. Корчагина. В мае 1931 г., собираясь идти на занятия, я получил из Скопина от папы открытку. До сих пор начало ее у меня перед глазами: «Вчера увезли пчелу...». Как заходило сердце! Как прошли занятия!.. Слишком много сил было вложено мною в это дело, трудовое дело. И слишком резко врезается в психику поэзия труда и природы, непосредственное восприятие жизни, переживания радости жизни, сопровождающие работу на пчельнике. До сих пор я вижу сны: пчела, рои и тревожное, щемящее чувство заброшенности пчелы, не сделанной вовремя работы.

Известие было неожиданным. Предыдущее письмо, сообщавшее предысторию, пришло позже. События развертывались так. Обстановка вынудила папу оставить работу. С 4 февраля (новый стиль!) по его просьбе он отчислен за штат, узнал об этом 13-го, а 15-го служил последний раз там, где начал молодым человеком летом 1900 г. Душили налогами. Фантастические размеры налога. По уплаченным присылались повторные повестки, и снова надо платить под страхом стандартного наказания: три года тюрьмы (отправляли на лесозаготовки, где люди в основной массе гибли), два года ссылки. Выкарабкаться пока удавалось за счет помощи со стороны людей, уже в то время нищих, я и Катя высылали почти всю зарплату, сами голодали. Надо было кончить, пока не дошло до «репрессий».

А в марте амбар опечатали, папу арестовали, остригли, допросы, комедия суда с приговором «три года тюрьмы, два года ссылки». Продержали в тюрьме пять дней и после такого приговора выпустили. Узнав об аресте, я поехал в Скопин; был у Липеца: арестовано много, в том числе зубной врач Бергер, сделать ничего нельзя. Вернулся в Москву. Помню ожидание поезда на скопинском вокзале. В углу забитого народом 3-го класса (теперь там кассы) неряшливые вооруженные люди в папахах охраняли толпу арестованных. Их отправляли в областной тогда город — Тулу, иных безвозвратно. Там казнили. С каким чувством я всматривался в лица! Судьба папы была неизвестна. И все люди в тревоге. И всюду грязь, грязь.

Почти тотчас же мы получили известие об освобождении папы. Снова поехал в Скопин и привез папу в Москву. На скопинском

вокзале, ожидая, мы сидели у старого места, у кассы — она была у входа. Папа завернулся, чтобы его не узнавали. Подошел Липец и, не здороваясь, долго всматривался. Оба мы делали вид, что его не замечаем. Возможно, он и сам не мог решить, кто перед ним. Нельзя было папе говорить — собралась бы толпа, его все знали. <...>

Мы были непрактичны и не разбирались в общей обстановке. Советовался я в платной консультации. Юрист мне заявил: «Вы пришли просить у меня совета, но сами все говорите о законах. Поймите, что сейчас законов нет». Он указал на бесполезность жалоб на местные власти; совет один — перевезти отца и семью под Москву. <...>

Обстановка общей разрухи. Больную тетю — она только лежала — перевезти в поезде нельзя: едва силою втискивались здоровые люди. Деньги обесценились и нужны большие. Продать? В Москве к папе приезжал (или в Скопине?) бывший вослебский псаломщик Александр Михайлов, ставший начальником уголовного розыска, предлагал продать ему дом за сумму большую по стоимости денег в 20-е годы и ничтожную по рыночным ценам 31 г. Уже поздно. Массовое бегство населения из города.

Налог на доход от проданного дома мог превысить полученную сумму. Такое было тогда обложение.

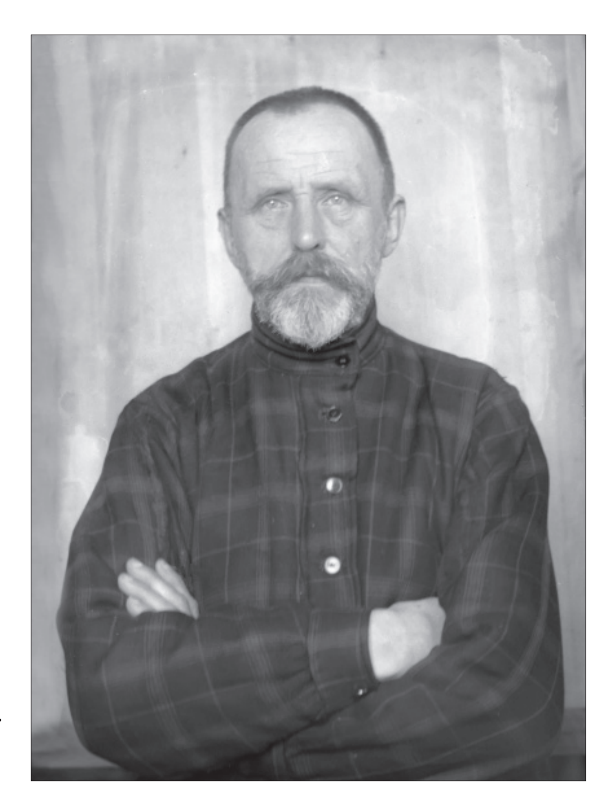
Пчелу отобрали под маркой покупки для садово-огородного техникума. Даже деньги заплатили: пустяковые. Впрочем, и за ними пришлось много ходить и получать частями. Ходил П.А. Преображенский, папа стеснялся. Акт составлен 2–3 мая. «Покупка», но о стоимости ни слова, заранее опечатанный амбар с пчеловодными принадлежностями, выражения в акте: «найдено». Был обыск и конфискация. Папа предварительно всем запуган, сопротивления не было.

Отобрали 25 семей: Даданы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, Сережин, Митин, руты 3, 7, 8, 9, 10, 11.

В акте написано: «Найдены следующие принадлежности. Подержанная медогонка, 6 пустых ульев, сушь гнездовая и магазинная до полного комплекта, дымарь, 8 маточников, 2 колпачка, 4 кадушки, крючок, 1 сетка и 2 пружинки —“удалитель Портера”». В акте указано: «семьи сильные, меду вполне достаточно».

«Под свою ответственность пасеку в 25 ульев получил пчеловод А. Лакчеев. 4.V.31». <...>

Напали, «нашли» и отобрали. Так кончился пчельник. <...>



И.Д. Журавлев, 28 марта 1931 г. Фото Д.И. Журавлева

До сентября папа жил то в Москве, то в Скопине. Летом в доме опять прошлогодние «дачники». Приезжал на несколько дней и я — последний раз у себя дома. Как сквозь сон припоминаю пустое место там, где была пчела и где так бурно летом кипела жизнь. Мертво. Тоскливо. Я быстро уехал, и тяжело было оставлять тетю.

Катино служебное положение было прочнее, чем мое. Ликвидировать дом, ходить в горсовет поехала она. 15 августа 1931 г. она подала в горсовет заявление о бесплатной сдаче дома и просьбу об ордере на квартиру на имя Е.Д. Кормильцевой <сестры отца, Елизаветы Дмитриевны>. Раньше папа подал заявление о передаче дома с 1 сентября.

Перевозил тетю на квартиру и ликвидировал все Ваня Кормильцев.

Так вслед за пчельником кончилось и свое гнездо.

Приложение

М.В. Левитов
Народ и духовенство



Храм Михаила Архангела в Криволянье (у Скопина), 2011 г.

Михаил Васильевич Левитов, проживший трудную жизнь священника в бедном и преимущественно старообрядческом селе Данковского уезда Казанской губернии, был одаренным публицистом и много печатался[1]*. Желая обновления церкви, М.В. при этом пытался учесть и обсудить нежелательные последствия некоторых возможных реформ: см. тогда же в более консервативных «Рязанских ведомостях». «К вопросу о выборном начале духовенства» (1906. 15 июня. № 12) и петербургском «Церковном вестнике»: «“Преграды” для поступающих в духовные академии» (1907. 7 июня. С. 739).*

Видимо, свои проповеди М.В. Левитов печатал как статьи в «Отдыхе христианина»[2]*.*

Самый известный текст автора, «Народ и духовенство», который в последнее время цитируется, мы помещаем ниже, некоторые другие статьи Михаила Левитова — на сайте В.Н. Некрасова и А.И. Журавлевой (www.vsevolod-nekrasov.ru).

«Русский народ Богоносец», «религиозность отличительная черта русского народа»; «наш крестьянин беззаветно предан матери Православной Церкви»; «крестьянство не интересуется,

---

[1] Например, в известной своими либеральными тенденциями казанской газете «Церковно-общественная жизнь» («Несколько мыслей по поводу воззвания “Союза русского народа”» — 1906. № 50. С. 1653–1654; «Набожность и подвиг любви (Ответ мирянину)» — 1907. 16 февраля. № 7. С. 195–199; «“Непротивление” общественному злу» — 1907. 13 апреля. № 15. С. 450–451; «Крестьяне по вопросу о второбрачии духовенства» — 1907. 22 июня. № 25. С. 768–770; «Некоторые меры к обновлению духовенства» — 1907. 13 июля. № 28. С. 856–858; 20 июля. № 29. С. 880–883; «Народ и духовенство» (перепечатано как отдельная брошюра в Казани в 1907 г.) — 1907. 24 августа. № 34; 31 августа. № 35; «У всенощной (Из училищных воспоминаний)» — 1907. 28 сентября. № 39. С. 1199–1203; «Некоторые мысли по поводу нестроений церковной школы» (перепечатано как отдельная брошюра в Казани в 1907 г.) — 1907. 5 октября. № 40.

[2] «О свободе религиозной печати» — 1913. № 1; «Тайны веры и разум человеческий», «Духовное и материальное» — 1913. № 2; «Живые и умершие. О молитве за умерших и призывании святых» — 1913. № 3; «Больной вопрос приходской жизни» — 1913. № 11; «Недовольство» — 1914. № 1; «Любовь и насилие» — 1914. № 2; «Ужас смерти и радость Воскресения», «Горечь разлуки и радость грядущего свидания» — 1914. № 4; «Спасительное сомнение и мертвая вера» — 1914. № 5.

как злочестивая интеллигенция, благополучием временной жизни — сей юдоли плача и воздыхания; оно чуждается политики; ему не нужны дела общественные, государственные; оно со страхом и трепетом соделывает свое спасение, все попечение о благоустройстве общественной жизни и охранении его законных интересов возложив на властей предержащих и христолюбивое воинство». «Душа нашего простолюдина представляет собою то стройное, цельное, непоколебимое, религиозное миросозерцание, которому должна поучиться утратившая его интеллигенция». — Вот те обычные, ставшие прописными изречения, коими характеризуется религиозность простого народа людьми различных партий и убеждений.

Не столь часто и настойчиво, не так ярко и решительно, но все же в общем в согласии с указанным оптимизмом рисуются и отношения его к пастырям церкви. На страницах не только духовной, но и светской печати, особенно до начала освободительного движения, в изобилии рассеяны выражения в роде следующих: «наше крестьянство православное в противоположность заблудшейся интеллигенции еще доселе высоко чтит своих пастырей», «оно внимает их голосу, охотно и радостно питает их от своея скромныя трапезы». «Для народа не учитель тот, кто не в ризах» (Лесков) и т.п.

Идеализация народа вообще, религиозности, а по связи с нею и отношений его к духовенству в особенности, есть своего рода предрассудок, имеющий свои причины в нашей исторической и социальной жизни.

Страдальцы за народ, защитники его прав и интересов невольно идеализировали его, во-первых, по страстной любви к нему, подобно тому, как любящая мать неизбежно преувеличивает достоинства своего ребенка.

Затем, чтобы склонить на милость сильных мира сего к малым сим, вызвать сострадание к угнетенным, обездоленным, смягчить жестокие сердца, тронуть тупые души крепостников, нужно было убеждать, доказывать, громко кричать, что и крестьянин человек, имеет свои человеческие права, что и его душе не чужды богоподобные свойства. Такая защита прав народа и его человеческих достоинств не могла, конечно, не перейти границ строгой справедливости; идеализация его духовных свойств вытекала с силою физической необходимости.

Гораздо позже тем же оружием с противоположными целями стали пользоваться люди иной, враждебной народу категории. Не столько бессознательно, сколько сознательно они начали превозносить религиозность крестьянства с тем, чтобы воспользоваться ею как самым веским аргументом защиты status quo или реакции. Их логика такова. Раз крестьянство, «со страхом и трепетом соделывая свое спасение, обладает несравнимым сокровищем, "единым на потребу", так чего же еще нужно? Раз оно счастливо в довольстве малым и по стройности, цельности, стойкости религиозных убеждений само может служить образцом и учителем для мудрых века сего, так зачем ему мирское образование, гнилая культура запада; зачем реформы, разрушающие сложившийся уклад его православной жизни? Давши ему культуру, новый общественный строй, вы отымете его душу, его покой, его счастие».

Грозные события последних двух лет рядом вопиющих фактов, забастовок и насилий, от которых пришлось пострадать и духовенству, поколебали предрассудок. Теперь уже в суждениях печатных и устных в данном отношении можно встречать частички той правды, какая прежде или не сознавалась, или замалчивалась. Ценность набожности крестьянства оказалась сомнительной, а его добрые сыновние отношения к священнослужителям скорее иллюзией, чем фактом. Эти отношения, не приближавшиеся никогда к идеальным, в последние годы обострились до крайней степени.

Предрассудок сильно поколеблен, но не разрушен окончательно. Для многих все еще тяжело и страшно признаться, что там, где бы должны быть взаимные любовь и доверие, давно царят ненависть и подозрительность. Все еще живы мужи, по-видимому, официально мудрые, полагающие в мире гниющего болота «мирное соделывание спасения со страхом и трепетом».

Уж слишком много у нас было и есть толков о враждебном и презрительном отношении к духовенству интеллигенции. Из личных сношений с людьми разных общественных положений и культурного уровня я вынес убеждение, что здесь много лжи и преувеличения. Правда, интеллигенция в значительной степени презирает пастырей, но в общем отношение ее к ним лучше, чем просто-

народья. Во-первых, такое презрение не всецело несправедливо: оно имеет для себя немало достаточных оснований. Во-вторых, интеллигенция, не особенно уважая священный сан в его реальных проявлениях, в то же время умеет уважать человеческую личность в носителе его, а в некоторой степени и образовательный ценз. Не то крестьянин. Уважать личность саму по себе он — сам вечный раб — не привык. Образованность для него по меньшей мере есть нечто безразличное, а внешняя культурность, жизненная опрятность, если она, по его убеждению, отражается на его кармане, положительно ненавистна. Священный сан он чтит, но более теоретически, чем практически; почтение это внешнее в страшнейшем противоречии с внутренним. Он принимает от вас благословение, с наслаждением целует руку, но при случае готов за полбутылку в качестве лжесвидетеля принять против вас ложную присягу. Приглашает священника служить водосвятие, присаживает, угощает, платит, льстит, благодарит, называет отцом и благодетелем, а ночью к нему же залезает в амбар с хлебом. Предложите вопрос интеллигенту: почему он не расположен к духовным, и он даст вам сравнительно обстоятельный ответ, в котором, быть может, будет заключаться много и неправды, но зато немало и горькой правды. Спросите о том же любого крестьянина, и каждый из них скажет одно и то же: «да дюже они хапают».

Мне кажется, во имя блага церкви, следовало бы наконец признаться, что простонародье, крестьянство в особенности, враждебнее относится к духовенству, чем интеллигенция. И такое явление представляется тем более малопонятным, что требования, предъявляемые крестьянами к пастырству, и по объему и по содержанию, по-видимому, слишком малы по сравнению с требованиями интеллигенции. Простота обращения и образа жизни, громкий голос, незамедлительное исполнение треб, неопустительное совершение богослужений в дни праздничные, бескорыстие — вот те желаемые ими качества священника, коими обычно исчерпывается их идеал священника. Но центр этих требований — бескорыстие. Без этого самого основного качества — все прочие его достоинства, в их мнении, обращаются в ряд нулей без единиц впереди. Отсутствие или недостаточность других добрых качеств легко ими извиняются, и сами по себе редко вызывают порицания. Мало того. Некоторые

недостатки духовенства, в особенности пьянство, как будто симпатичны им. Трезвые священники пользуются меньшими симпатиями, чем выпивающие, а горькие пьяницы чаще вызывают к себе любовно сострадательное отношение, чем осуждение.

Крайне снисходительные во всем, что не касается экономической стороны, в последнем отношении крестьяне отличаются требовательностью и беспощадностью. Если священник целые месяцы не исполняет своих обязанности по болезни, а тем более по нетрезвости, они лишь слегка негодуют. Но набавление пятака за дешево оплачиваемую требу, хотя вызванное гнетом нужды и необходимости, как искра, брошенная в горючий материал, быстро воспламеняет приход гневом и мщением, вызывает бурю негодования, и если дело не уладится миром, ценою со стороны причта позорного отступления, то собираются сходы, сочиняется прошение. И здесь уже вспомянутся все прегрешения священника, если не от утробы его матери, то уже наверное от дней юности, ведомые и неведомые, вольные и невольные. Сотни голов словесного стада припомнят все промахи, опущения, погрешности своего пастыря, исказят их, преувеличат, прибавят, и в результате громкое дело, следствием которого является или улаживание всякими постыдными средствами с «миром» и консисторией или необходимость искания нового двора овчего. Бывает и хуже. Самосуд крестьян в форме уложения платы за требы, над размером которой постороннему зрителю можно от души рассмеяться[3].

Ненависть крестьян к экономическому благосостоянию священнослужителей и преувеличение его поразительны. В их сознании духовный сан и деньги настолько срослись, ассоциировались, что сделались почти синонимами. Поп — это в их понятии бездонный денежный мешок, каким-то волшебством ежечасно привлекающий и всасывающий в себя деньги из неиссякаемого источника — мужицкого кармана. «Русские банки отказываются принимать поповские деньги, не вмещают, лопаются», — даже такой парадокс,

[3] Плата за требы периодически все же увеличивается. Нельзя же жить и довольствоваться платой, установившейся сто лет назад. Но какие позорные средства пускаются здесь в ход! Можно написать целую диссертацию на тему: «Искусство наилучшего эксплоатирования шерсти словесного стада». — *Примеч. автора.*

сочиненный кем-то, не всем крестьянам кажется нелепостью. Когда в 1882 г. лопнул Скопинский Рыковский банк, то, кажется, это событие не было бы столь сенсационным, не возбудило бы к себе такого интереса в обществе, если бы там не погибло множества вкладов духовенства. Последнее обстоятельство вызвало всеобщее злорадство. Сотни курьезных рассказов, анекдотов, характеризующих жадность этого сословия, изображающих комическое положение отцов, лишившихся своих сбережений, передавались из уст в уста и служили неисчерпаемым источником толков, шуток, остроумия и насмешек. И теперь еще вопрос: «а чьи деньги лопнули в Рыковском банке» — употребляется как самый увесистый аргумент богатства духовенства.

Каждый клок земли во владении причта крестьянам представляется громадным поместьем; скромный домишко — дворцом; рубль — сотней; блин, яйцо, клок холстины, краюха хлеба, полученные с них, — несметные сокровища.

Как бы ни мал и беден был приход, им кажется, что таких приходов еще поискать. «Нигде нет попам такой жисти, как у нас», — говорят они. Как бы ни была ничтожна плата за требы, им она представляется неимоверно высокой и несправедливой. Уже целые столетия духовенство православное служит в известном отношении «притчей во языцех», вместилищем и олицетворением богатства, жадности и корыстолюбия. Известную поговорку «с живого, с мертвого дерет» духовному лицу приходится слышать с детства до могилы.

Вспоминаю свои детские годы, игры с товарищами, сверстниками, их ядовитые, внушенные родителями, замечания: «а у твоего отца руки загребущие, глаза завидущие». Такие комплименты семи-восьмилетних малышей по адресу того, в ком я видел образец веры и благочестия, на всю последующую жизнь положили неизгладимую мрачную печать и значительно парализовали призвание к священству.

Тема «о жадности поповского отродья» любимейшая крестьянами. На сходе, вокзале, в общественной бане, в поле, — достаточно малейшего повода, и начинаются нескончаемые толки и рассказы...

Барское поле. До сотни работающих крестьян. В ближайшем селе ударили к вечерне.

«Слышь, слышь, ребята! О. Иван деньгу-то кует! Ишь выковывает, ишь выковывает», — говорит, перекрестившись, веселый крестьянин. Всеобщий смех. Горячие суждения о том, сколько теперь о. Иван денег наковал и куда он их девает.

«И я вот, как свят Бог, хоть вот глаза лопни, скажу тебе, у нас вот что ни день, то поминки, что ни день, то опять поминки, что ни поминки, то рупь, а пирог само собой вынь да положь»[4], — повествует мне другой крестьянин. Появление духовного лица в вагоне, наполненном простонародьем, редко не служит толчком подобных же разговоров. Попасть в вагон, набитый подвыпившими рабочими или рекрутами, для нашего брата истинное несчастие. Почти неизбежно становишься мишенью насмешек и пьяного остроумия. В подтверждение сказанного достаточно указать на факт, кажется, в прошлом году сообщавшийся во всех газетах. Священнику пришлось ехать в вагоне, набитом солдатами. Вероятно, под влиянием их обычных насмешек он допустил нетактичность и был приговорен ими к повешению здесь же на месте. Лишь какие-то случайные обстоятельства спасли его от гибели.

Когда я в бытность семинаристом езжал по железной дороге вместе с крестьянами, то, под влиянием их враждебных толков о духовенстве, мне приходила на ум мысль: если у нас когда-либо возникнет нечто подобное пугачевскому бунту, то первыми жертвами его станут духовные. С той поры прошло около двадцати лет, и теперь тогдашнее мое предположение приобрело силу и твердость убеждения. Пугачевского бунта у нас не случилось, но бывшее народное движение не ослабило моей мысли, а укрепило ее.

И пусть российское духовенство православное знает и примет к сведению, что, в случае полной революции и анархии, оно первое погибнет.

Борьба с общественной неправдой мирными нравственными средствами — вот единственный путь для предотвращения возможной опасности.

Впрочем, надо сознаться, что отношение к священнику как к собирателю денег в меньшей степени не чуждо и лицам всех сословий. При проездах по железным дорогам много раз приходилось

---

[4] Очевидцем этого факта я был в то время, когда служил сельским учителем. — *Примеч. автора.*

мне вступать в беседы с соседями по месту, и не было случая, чтобы кто из них обратился ко мне за советом, за разрешением недоумений из религиозной жизни, чтобы кто предложил вопросы: а каков религиозный уровень вашей паствы; на какие темы говорите проповеди; как они действуют на слушателей; успешно ли преподаете в школе Закон Божий? Нет! После обычных расспросов о месте жительства неизменно следует: «а велик ли у вас приход? Сколько душ? Хорошо ли платят? А почем у вас берут за свадьбу? Сколько церковной земли? Получаете ли казенное пособие? А за законоучительство?» и проч. Обидно становится! Собеседники видят в тебе не христианского пастыря и не человека даже с его духовными интересами, а только поповское брюхо. И думаешь: и какое дело до моего кармана какому-то случайному встречному из Смоленской или Оренбургской губернии?

Где же причины всеобщего нерасположения к духовенству, преувеличенного мнения о его алчности, экономическом благополучии и враждебного отношения к последнему? Слишком ли дорого, несоответственно ни с его званием и общественным положением, ни с образовательным цензом оплачивается труд его? Или оно настолько уронило свой нравственный авторитет, что в глазах народа стала грош цена ему? А может быть и наоборот: само христианское общество, будучи таковым по названию, столь мало проникнуто христианским настроением, что не может и не хочет ценить и уважать своих пастырей? «Глас народа, глас Божий», и в общенародном суждении о духовенстве нет ли доли правды? Противоестественный, постыдный способ его содержания в течение столетий не действовал ли на него развращающим образом, систематически воспитывая в нем и наследственно из рода в род передавая то позорное качество, которое по всеобщему признанию составляет характерную черту этого сословия? Поборы духовенства не слишком ли тяжелы для народа, не соответственны с его платежными силами, причиняют ему боль, лишения, страдания? Наконец, нет ли здесь и причин, так сказать, мистического характера? Ведь сказано же: «поражу пастыря, и рассеются овцы»; ведь Христос неоднократно предсказывал, что его последователи, апостолы и их преемники в особенности «гонимы будут», «ненавидимы будут».

Рассматриваемое явление слишком сложное, и причин его множество. Среди них есть главные и второстепенные, ближайшие

и отдаленные. Кажется, в течение столетий диавол сумел создать все возможные условия: исторические, политические, экономические, бытовые, случайные — к тому, чтобы, вызвав всеобщее нерасположение к пастырям, парализовать их религиозно-нравственное влияние.

В ряду ближайших причин, несомненно, первое место занимает бедность народная. Больная кожа чувствительна и к легкому раздражению. С голой овечки трудно взять и ничтожный клок шерстки, не причинив ей страдания.

В воображении рисуется такая картина. Большой трехпричтовый приход Кривополянье[5]. Поминовенная суббота. Обширный храм полон молящихся. Подавляющее большинство женщины. На их изможденных, преждевременно стареющих и состарившихся лицах печать горя, нужды и лишений. Среди храма служится великая панихида. Подается до тысячи поминаний с копейками, семитками, гривнами. Груды меди, горы денег. На столике тесно монетам; падают они на пол, звенят, катятся. Как трупы на Ходынке набились, наполнили собою стоящие здесь стаканчики, кружечки, чашечки с медом. Члены причта монотонно бормочут имена покойников. Слышатся тяжкие вздохи молящихся баб. Вызваны ли они горькими воспоминаниями о дорогих покойниках? Да, это главное; но есть здесь нечто и второстепенное. У бедной, голодной бабы в узелке тряпочки завязан полтинничек. Ох, как трудно достался он; много мест ему. И мыльца купи, и газку <керосину?> купи, и Сереже на рубашку, и девчонке на подметки, и Богу свечку, и попам на поминанье. И лезут ей в голову лукавые мысли, и вызывают они тяжкий вдох. Для мышки нет сильнее зверя кошки. Что ей Ротшильды, что ей Гурко и Лидвали[6]! Вот они здесь, покликают «вешную» и греби деньги лопатой.

Но указанная причина рассматриваемого явления сравнительно поверхностная. Основная коренится где-то глубже. Иначе

---

[5] Храм Михаила Архангела (нач. XIX в.) сохранился и охраняется как памятник архитектуры. В Кривополянье в 1898–1914 гг. священником был Павел Дмитриевич Левитов — возможно, племянник автора?

[6] Несколько неожиданно в таком контексте, но здесь, видимо, имеется в виду известный петербургский архитектор Федор Иванович Лидваль, работавший в стиле модерн. М.В. Левитов может вспоминать его как создателя «роскошных» домов.

почему же крестьяне смотрят иными глазами, измеряют другою меркой, не столь враждебно относятся к экономическому благосостоянию лиц не духовного сословия. Не говоря уже о купцах, помещиках, в каждом почти приходе из среды самих же крестьян есть более зажиточные, чем члены причта. К ним отношение другое: грабителями их не называют, и даже особыми богачами не считают. Очевидно, дело здесь не в одной крестьянской бедности. В чем же?

В одном из №№ «Русского Слова» за прошлый год помещена весьма содержательная статья свящ. Петрова под заглавием «Камо грядеши?», написанная под впечатлением отделения церкви от государства во Франции.

Говоря о всеобщей народной ненависти к духовенству в большинстве западноевропейских государств, автор причину ее видит в том, что духовенство там «играло постыдную роль в царстве хищничества, распутства всякого рода привилегированных тунеядцев». Оно спрашивает: «возмущалось оно, негодовало, восставало против, защищало бесправный народ, обреченную на позор и разорение страну? Нет! Время бесправия народа и тяжкого гнета над страною было для духовенства радостным временем преуспеяния и расцвета их политического влияния». В заключение автор переходит к наличному положению нашего духовенства и делает ему соответствующее предостережение. «Подобное (т.е. враждебное) настроение растет и в русском народе. Поэтому мне и хочется обратить внимание русского духовенства на путь, каким оно доселе шло в своем служении, и поставить пред умом и совестью его в упор вопрос: — камо грядеши».

Я привел суждения о. Петрова не с тем, чтобы всецело согласиться с ними, а лишь с целию чрез противоположение резче оттенить, выяснить собственное обратное мнение. Упреки его к нашему духовенству, по крайней мере к приходскому, неприменимы и лишь могут служить предостережением в будущем. Наше духовенство на поставленный в упор вопрос может со спокойной совестью ответить: «ни камо не грядем». «В наших захолустьях и медвежьих углах, при наличном народном настроении и совокупности всех внешних условий, далеко не угрядеши. Время бесправия и угнетения народа, время рабства не было для нас праздником.

Все удары бича по мужицким горбам отражались болью и на наших спинах. Для нас так же противоестественно быть врагами народа, как уродовать, причинять страдания собственному телу. Мы жили, размножались, подчас голодая, иногда жирея, не благоволением бюрократии, а соками народа. Время его порабощения не было для нас временем расцвета нашего политического влияния. Не только в делах государственных, здесь на местах в приходской жизни оно всегда парализовалось и парализуется влиянием кулаков и мироедов. Мы не “целовались” ни с Луи-Наполеоном, ни с его придворною знатью. Нас собственная, православная знать, или лучше сказать, ее холопы, еще не так давно целовали плетьми на своих конюшнях». Вот что вправе ответить наше духовенство на предостережения о. Петрова.

Итак, главнейшая причина нерасположения к духовенству народа у нас не та, что в западной Европе, а скорее как раз обратного характера.

Существует психофизиологический обман, когда боль ощущается не в месте раздражения нервов, а в другом, более или менее отдаленном. Например, повреждение верхней части позвоночника иногда сопровождается болью в ступне или сгибе колен. И чем неразвитее, несовершеннее организм, тем такое явление возможнее. У детей, особенно младенцев, оно, говорят, дело обычное. Аналогичное наблюдается и в жизни, чувствах собирательных организмов, человеческих обществ, причем чем ниже у последних интеллектуальное развитие, культурный уровень, тем чаще и резче оно проявляется. К чувствам страдания это применимо в особенности, так как они сами по себе имеют свойство, раздражая, ослеплять, затемнять здравый смысл. Змея при невыносимых страданиях, не видя врага, жалит собственное тело. Подобное наблюдается и в отношениях народа к духовенству. Вследствие некультурности, духовной незрелости, непонимания истории и элементарнейших основ социально-экономических взаимоотношений, всю желчь, обиду, озлобление, накопившиеся веками под гнетом нужды, лишений и всяческой неправды, он изливает на того, кто первый перед его глазами, кто особенно часто мозолит ему глаза и надоедает своим попрошайничеством. Не столько сознавая, сколько чувствуя, ощущая тяжесть своего положения, крестьянство, по неспо-

собности видеть глубочайшие причины его, останавливает свой взор, свое внимание на ближайшей, каковой как раз оказывается духовенство. Им неведомо, что там где-то, кто-то получает баснословные оклады из их же трудовых средств, что праздные тунеядцы там за границей проматывают миллионные наследства с знаменитыми европейскими блудниками и блудницами, что член золотой молодежи в модном ресторане иногда в одну ночь прокучивает более, нежели их пастырь получает в год. А вот гривенник за молебен, четвертак за крестины, а тем паче пятерик за свадьбу им очевидны; наглядны, вызывают боль и озлобление. И естественно: ведь эти гривенники и рубли их пот, кровь и мускульная сила; ведь, уплачивая деньги священнослужителям, они осязательно отрывают часть собственного тела. Приход платит, допустим, двадцать тысяч косвенного налога и его не замечает, так как имеет о нем смутное понятие, а вот причт, получающий с него тысячу или несколько сот, торчит здесь на виду всех, и его сравнительный достаток, как болезненный нарост на теле народа, зудит, не дает ему покоя. И некоторая культурность во внешних условиях жизни священника, чистота одежды и обстановки, зеленая крыша дома, светлые, хотя и дешевенькие обои, ясные пуговицы сыновей-семинаристов, шляпки дочек и проч. несравнимо ненавистнее для крестьян, чем действительно туго набитые карманы, амбары, засыпанные хлебом кулаков и мироедов.

Итак, у нас в России основная причина народного нерасположения к духовенству совершенно обратная той, какая имела и имеет место за границей, т.е. всяческое, политическое в особенности, невежество народа, не дозволяющее ему видеть истинную причину его страданий. У нас, если бы и действительно духовенство было сознательным союзником врагов народа, это обстоятельство по указанной причине не могло бы служить объяснением нерасположения последнего к первому. Наши народные массы в общем слишком реакционны, и пастырь-освобожденец в заурядном приходе не вызывает к себе симпатий.

Изложенные суждения, на первый взгляд парадоксальные, каждый имеет возможность проверить личными наблюдениями. Чем выше интеллектуальное развитие человека, тем благосклоннее его отношение к низшему духовенству.

Интеллигенция не по названию только, а по сущности первый друг и союзник пастырей добрых. Никто так не злобится и не презирает «попов», как невежды, тупицы и черносотенцы.

Благодаря постыдному способу содержания православного духовенства оно помимо своей воли сыграло крупную историческую роль миротворца. Оно служило и доселе еще служит громоотводом народного гнева.

А из всего сказанного следует: помимо поднятия экономического благосостояния народных масс широкое всестороннее в христианском духе их просвещение — вот вернейшее средство и прочный залог духовного единения пастырей и паствы.

Документально-художественное издание

Скопинский помянник
Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

Зав. редакцией *Е.А. Бережнова*
Художественный редактор *А.М. Павлов*
Компьютерная верстка: *С.В. Родионова*
Корректор *В.И. Каменева*

Подписано в печать 24.06.2015. Формат 60×90/16
Гарнитура Minion. Усл. печ. л. 24,0. Уч.-изд. л. 16,7
Тираж 500 экз. Изд. № 1847

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел./факс: (499) 611-15-52

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru,
тел.: 8 (495) 988-63-76, тел./факс: 8 (496) 726-54-10



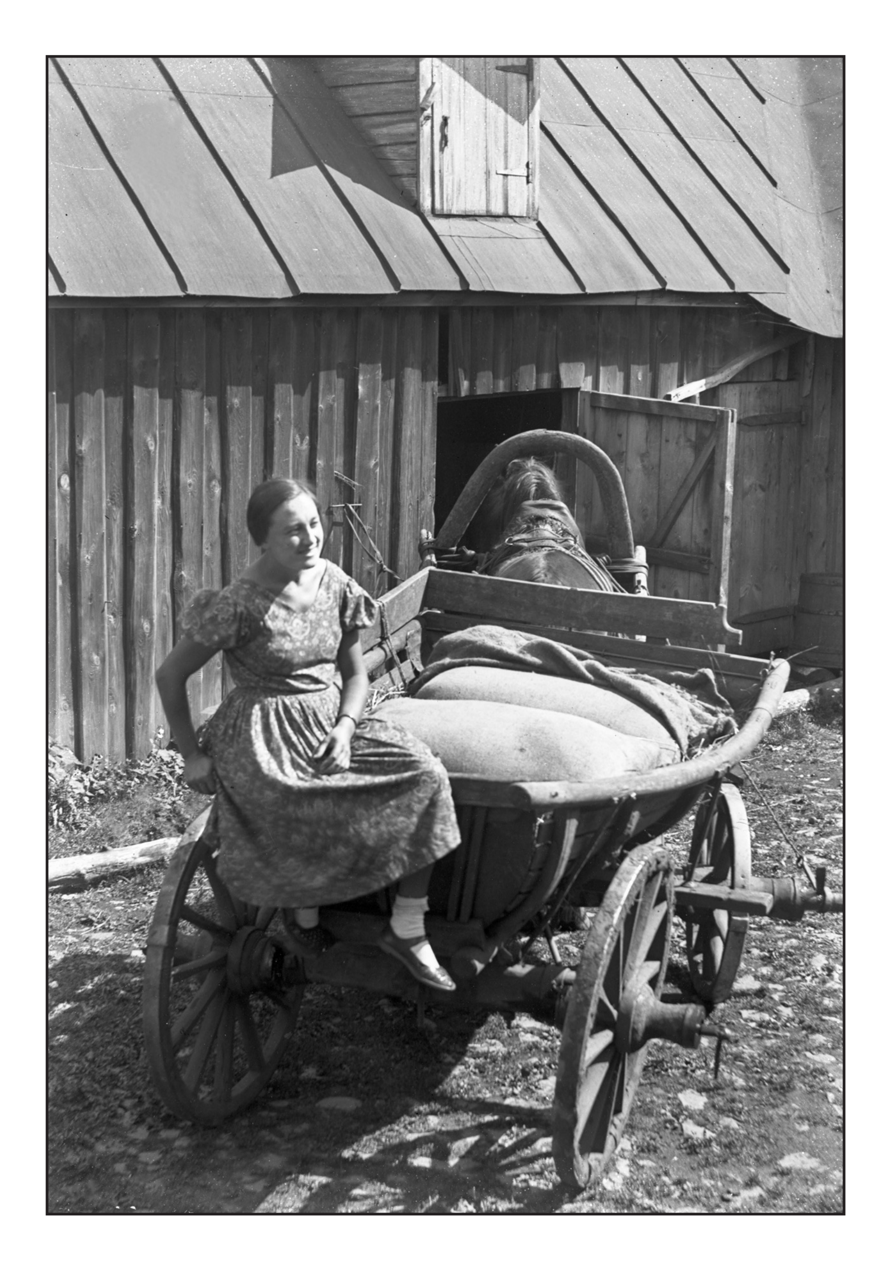
Храм Параскевы Пятницы в Скопине. Вид из мясных рядов. 1934 г.
Фото Д.И. Журавлева



О. Иоанн Журавлев и Анна Васильевна Журавлева.
2 апреля 1902 г. С отпечатка



Агафья Чумакова, прислуга Журавлевых. 1927 г. Фото Д.И. Журавлева.
С негатива (пластины)



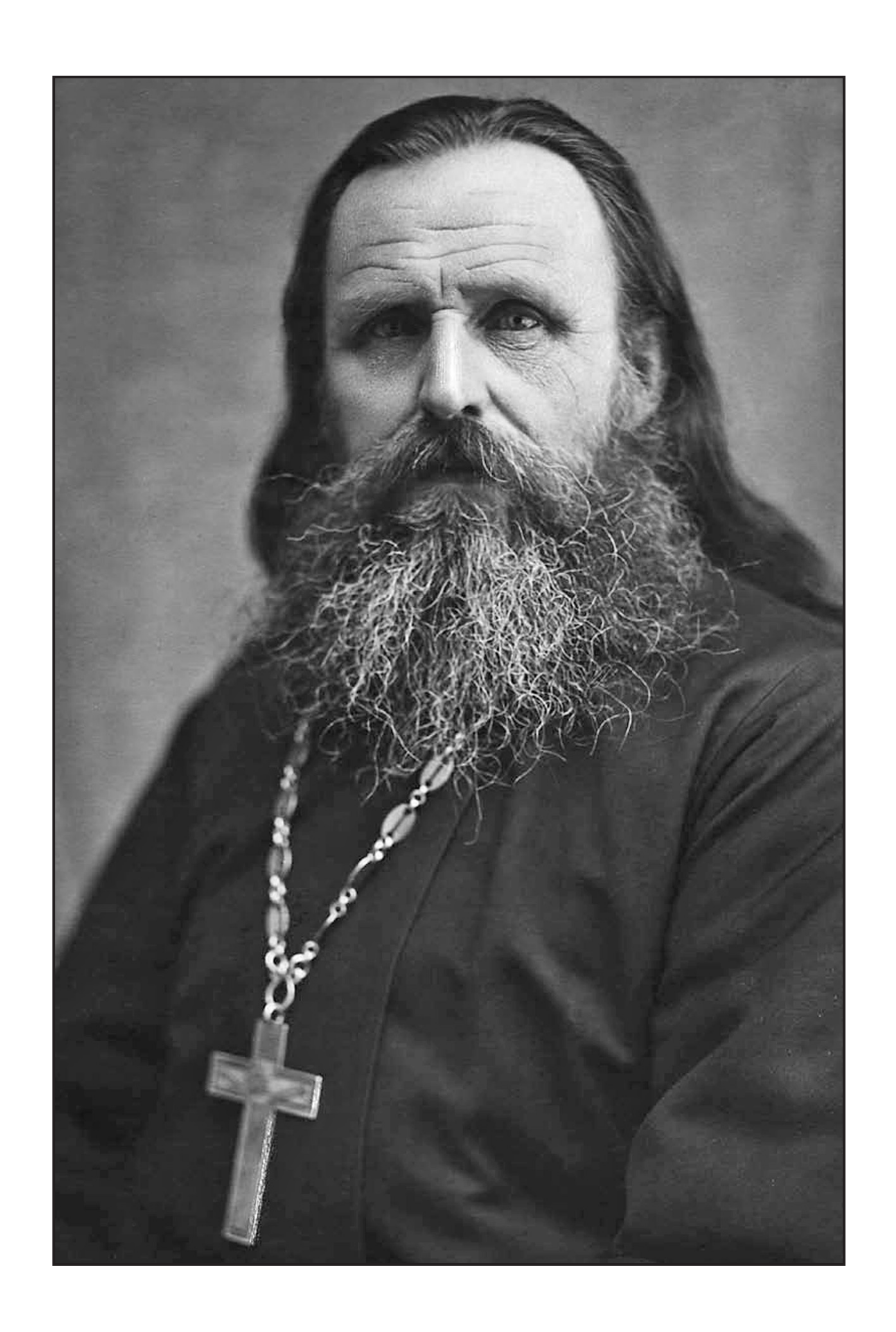
Евгения Зимина. 19 августа 1927 г. Фото Д.И. Журавлева.
На обороте отпечатка надпись: «Огурцей! Огурцей! Кому надо огурцей!»
(характерная черта среднерусских говоров)



Павел Васильевич Левитов на террасе дома Журавлевых. 20 августа 1928 г.
Фото Д.И. Журавлева



Агафья (слева) и Александра Чумаковы. 21 августа 1927 г.
Фото Д.И. Журавлева



О. Иоанн Журавлев. 4 февраля 1926 г.



Первая Новая улица в Скопине. 1 августа 1927 г.
Фото Д.И. Журавлева





Скопинская вторая трудовая школа. 1919 г. (?)





Вороновка под Скопиным. Июль 1959 г. Фото Д.И. Журавлева

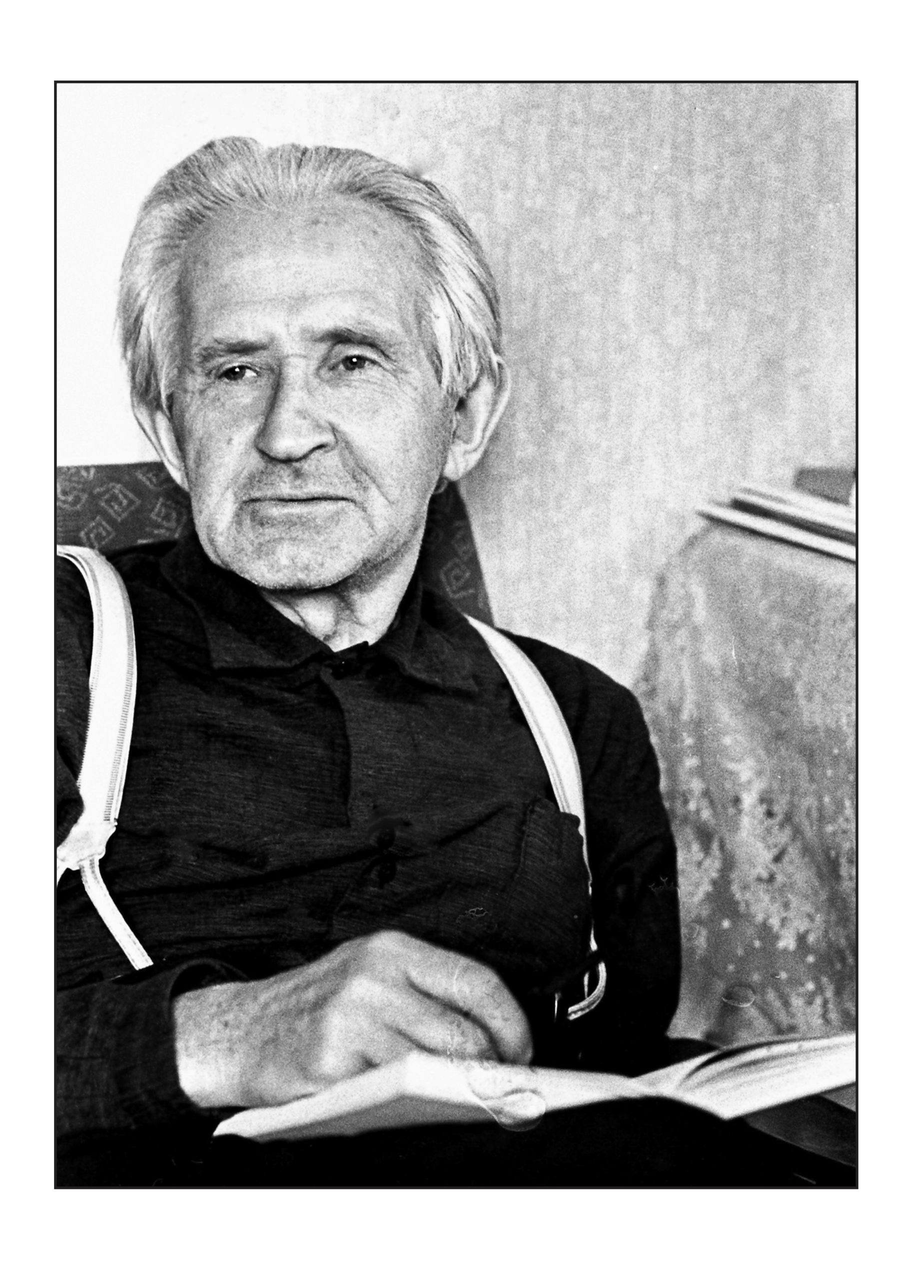




А.И. Журавлева. 13 апреля 1969 г., Сокольники. Фото В.Т. Стигнеева



Вс.Н. Некрасов и Д.И. Журавлев. 1970-е годы. Сокольники.
Фото В.Т. Стигнеева



Д.И. Журавлев. 24 сентября 1978 г. (?). Сокольники.
Фото В.Т. Стигнеева



Ек.Ив. и Дм.Ив. Журавлевы. 24 сентября 1978 г.
Из окна своей квартиры в Сокольниках (Большая Остроумовская, д. 13, кв. 7).
Фото В.Т. Стигнеева